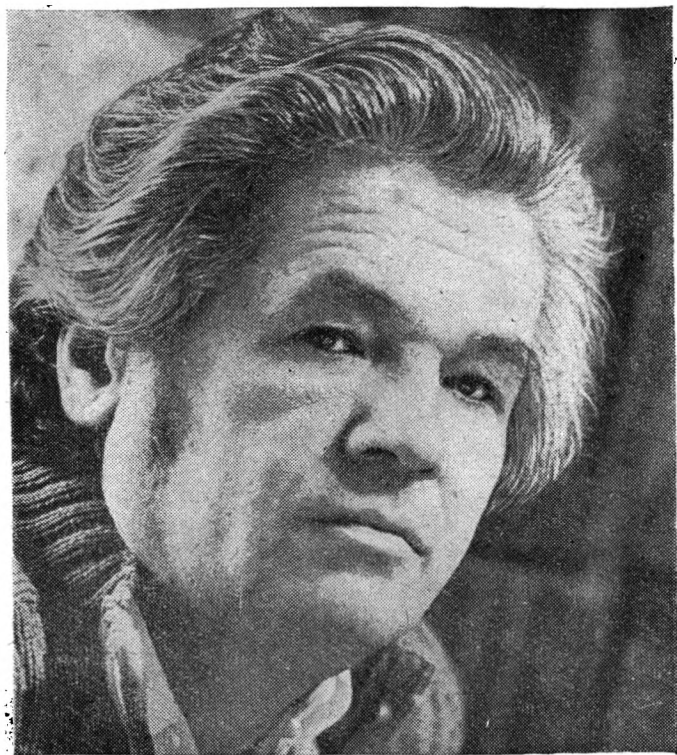


Повести
и рассказы,
Л. ДАВЫДЫЧЕВ







Повести
и рассказы

Л. ДАВЫДЫЧЕВ



ПЕРМСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1978

Р2
Д13

© Пермское книжное издательство. 1978

Д $\frac{70302-32}{M152(03)-78}$ 21-78



ЗАВАРУХА

Я был на практике в поисковой партии. Геологи — сумрачные и раздраженные оттого, что их не посылают на фронт, — не разговаривали не только со мной, но и друг с другом. Худые, небритые, сосредоточенные на одной мысли, они спасались в работе: за день мы проходили не меньше сорока километров.

Поздними вечерами, наполнив желудки в основном водой, мы лежали в избе, вытянув натруженные ноги, дымили самокрутками и слушали тоскливые девичьи песни, невеселый женский смех за окнами. Мы были единственными мужчинами в деревнях, через которые вел маршрут нашей партии.

Женщины звали нас песнями и смехом — без надежды, и, верно, сами бы удивились, если бы кто-нибудь из нас ответил на их зов.

Очень часто голод побеждал все остальные ощущения. Было одно желание — не просто поесть, а набить себя пищей.

Мы с мамой жили очень тяжело. Утром я выходил на кухню, а мама прятала хлеб. Когда приступы голода были особенно сильными, я искал спрятанный паек. Но ни разу не нашел его. (Только после войны мама рассказала, что подвешивала хлеб на окне, за шторой.)

Однажды, вернувшись из маршрута, я увидел на крыльце нашей избы девушку — такую, какими кажутся все девушки в юности, — легкую и светлую. Это была Леля Соколова, со второго курса. В техникуме мы только здоровались.

Здесь же, когда пришлось делить радости и невзгоды трудной геологической жизни, мы быстро подружились. Было в ее отношении ко мне что-то материнское. Сердце сжималось от счастья и сладкого стыда, когда она делила еду на две неравные части.

Ее мать работала в продовольственном магазине, и из города Леля привозила полный рюкзак снеди. И я краснел не от жара костра, на котором в котелке бурлил наш вкусный ужин...

— Все равно на всех не хватит, — успокаивала меня Леля, и я перестал краснеть.

День ото дня, а может, час от часу мы все чаще встречались глазами.

Как-то ночь застала нас в лесу. Я разжег огонь. В его отсветах Лелино лицо казалось бледным. Мне было весело и жутко сознавать, что мы в опасности, что кругом зловещий лес, наполненный таинственными шорохами. Страшнее, но и желаннее их была тишина. Когда она внезапно и ненадолго наступала, нервы в ожидании чего-то натягивались. Стоило протянуть руку в сторону, и ее схватывал холод.

Костер дышал тепло и ровно. У меня чуть кружилась голова — от голода и необыкновенного ощущения близости...

А до утра было далеко.

— Холодно, — сказала Леля.

— Ничего, — ответил я, — не бойся.

— Я не боюсь.

Временами на меня наваливалась дрема, и я словно опускался куда-то.

— Иди ко мне, — услышал я, — холодно.

Под моей рукой билось ее сердце. Она ничего не говорила, не двигалась.

Только когда начало светать, она спросила с сожалением:

— Пойдем, да?

Мы шли быстро, будто бежали от уже содеянного греха.

Несколько дней Леля казалась мне чужой — так бывает после первого обнаружения близости.

И, конечно же, я верил, что самой судьбой мы созданы друг для друга.

Никто не замечал наших отношений. Для геологов мы были просто практикантами, нам давали задания, учили работать и — все.

Нас стали посылать в самостоятельные маршруты. Это значит: рано утром мы уходили в путь и до вечера были вдвоем.

Едва мы сворачивали с дороги в лес или в поле, Леля радостно вздыхала и снимала платье. Была она доверчива и совершенно не считалась с тем, что я, так сказать, мужчина, а она женщина, спокойно шагала впереди. Сильная и гибкая, с гладкой смугловатой кожей, она — среди лугов, цветов и солнечных лучей — словно вместе с платьем снимала с себя будничность и обыкновенность, все, что может вызвать земные желания.

А я с каждым днем все чаще и чаще ловил себя на мысли, что

рано или поздно кровь ударит мне в голову. Думалось об этом чисто и откровенно.

Но Леля ничего не замечала.

Сидели мы однажды в тени, утомленные походом. Неожиданно для себя я спросил:

— А если не сдержимся?

Она покраснела, подтянула колени к подбородку и, помолчав, ответила:

— Не знаю... А почему ты спросил? — Леля нахмурилась, взгляд ее стал испуганным. — Разве можно об этом думать? Да как тебе в голову это пришло? — Голос ее звучал недоуменно, а выражение лица приняло суровый оттенок. — Как тебе не стыдно?

Удивительно, но мне не было стыдно. Не было стыдно даже за то, что не стыдно. Я любил, я был уверен в своем чувстве, не боялся его, не боялся за него. И еще убедился, что сильнее любви нет ничего на свете.

Когда двинулись в дорогу, я сказал:

— Я ведь не хотел тебя обидеть.

Она улыбнулась, и в улыбке проскользнула грусть. Я шел следом и думал, что ведь Леля испытывает то же самое, что и я.

Тропинка, по которой мы шли, вела вдоль глубокого, с крутыми, почти отвесными стенами оврага, называемого почему-то Волчьим. По дну его были ямы, края которых заросли крапивой и малиной. О глубине ям никто не знал. Местные жители предпочитали обходить овраг стороной.

И мне в голову пришла отчаянная мысль: свалиться бы туда, изувечиться и сказать Леле:

— Это из-за тебя!

И не успел я подумать, как земля под моими ногами обвалилась и я поехал вниз на куске дерна. В первый момент я окован от страха. Но вот движение остановилось. В трех-четыре метрах от меня — черный зев ямы. Ухватиться не за что. Я боялся открыть рот, боялся повернуть голову. Боялся дышать, даже думать боялся. Ведь пошевелись подо мной хоть одна песчинка, и я полечу в яму.

— Я сейчас... — раздался испуганный Лелин голос. Вверху что-то зашелестело, затрещало, а Леля говорила:

— Сейчас, сейчас...

Над моей головой показались ветки молодой березки, и я вцепился в них и — полетел вниз. Ладони ожгло.

Я удержался — лег на склоне. Но стоило подтянуть ногу, как она тут же скользила по песку назад.

Руки напряглись до того, что заломило в локтевых сгибах. Вдруг я ощутил, что меня тянет вверх, и стал осторожно помогать ногами. Руки онемели, казалось, их вот-вот сведет судорогой.

И когда я вполз на тропинку, на твердую землю, то лишь тогда испугался — до озноба.

Леля лежала рядом на спине. Грудь ее тяжело и коротко вздымалась. Тело блестело от пота. Не знаю, сколько мы так пролежали. Закрыв глаза, я целовал Лелю, вернее, просто благодарно прикасался к ней губами.

Всю дорогу мы молчали.

Я думал, как приведу Лелю к нам домой, познакомлю с мамой, покажу любимые книги, те, которые мы еще не проели...

В избе никого не было. Записка сообщала, что завтра геологи уходят в далекий маршрут, поэтому сегодня ночуют в соседней деревне. А нас они просили сегодня же принести им, уж не помню какой, инструмент. Вернись мы домой вовремя, поручение бы не смутило меня. Но сейчас я к тому же едва стоял на ногах, у нас не было ни крошки хлеба.

Я лежал на лавке и чуть не плакал от бессилия.

— Пойду я, — сказала Леля. — Ты плохо себя чувствуешь. — И не успел я возразить, как она обняла меня и зашептала: — Ну, разреши мне, ну, отпусти... Утром обязательно прибегу.

Она так и сказала «прибегу», хотя до соседней деревни было больше пяти километров.

— А может, и сегодня вернусь, — задумчиво добавила Леля. — Сегодня... понимаешь? Конечно, сегодня! Ведь мы можем быть одни... я и ты... и никого...

— Нет, нет, — бормотал я, удерживая ее.

— Разреши... отпусти... ну, мне хочется... для тебя... мне приятно...

Она ушла. Я понял: ей хочется совершить что-то очень трудное. Для меня.

Я лежал в сумерках. В теле было столько слабости, что больно было шевельнуться. Верил я, что Леля вернется сегодня, потому что я люблю ее, потому что она меня любит. Она вернется для того, чтобы больше уже не расставаться... Навсегда, на всю жизнь.

...А дорога петляет полем, потом — лес. Там темнота. И сквозь темноту ко мне идет Леля. Моя Леля... Я то казался себе ничтожеством, потому что не я ей, а она мне доказывала силу любви, то, наоборот, готов был торжествовать.

Радость, гордость, сладкая и острая тревога ожидания... Больше ни разу в жизни я не испытал такого.

Я поднялся, вытащил из рюкзака свое единственное сокровище — мыло. Мама просила привезти его домой.

А я обменял мыло в соседней избе на несколько стаканов муки и кусочек топленого масла. Знаете, что это такое? Это мечта. Заваруха!

Большой котелок заварухи — муки, обваренной кипятком. Если есть ее с маслом... Я глотал слюни, внутренности словно склеились, и чтобы хоть как-то обмануть себя, я выпил воды, много-много... Лежал на лавке, борясь с головокружением. Лежал долго. Временами приходилось впиваться пальцами в края лавки, чтобы не броситься к котелку.

Но я верил, что Леля придет, а ее ждет сказочный подарок — заваруха.

Внезапно я почувствовал, что Леля недалеко, бросился к печке, чиркнул спичкой, и сухие щепки под таганцом вспыхнули. Я приплясывал от нетерпения. Иногда мне даже слышалось Лелино дыхание.

И где тут разобраться, от чего кружилась голова — от голода или от любви. Помню только, что я обеими руками оперся о печь, чтобы не упасть.

Оглянулся — Леля стояла на пороге, сзади освещенная луной. Вокруг головы тонкий венчик сияния. Лунный свет мягко, но отчетливо нарисовал каждую линию тела.

А на полу дергалась моя изломанная тень.

Подплясывало пламя, и тень моя подплясывала. Мы обнялись.

Тут я понял, как страшно было Леле идти, как она любит меня.

И чтобы доказать ей, что я ее люблю нисколько не меньше, я поставил на стол котелок с дымящейся заварухой.

До сих пор помню его. Мятый, закопченный...

Из него валил пар с пронзительным запахом съестного...

— Что это? — брезгливо спросила Леля.

Мне показалось, что я ослышался.

— Ешь, — не сказал, а приказал я.

— Ешь? — недоуменно и обиженно переспросила Леля. — Эту гадость? — И рюкзаком отодвинула от себя котелок. — Я достала картошки... — Котелок упал на пол.

Лунный свет безжалостно освещал горькую картину — дымящаяся заваруха расплылась по полу, стекая в щели.

Преодолев тошноту и головокружение, я широко расставил ноги, чтобы не пошатнуться. Правая рука набухла. Но я не ударил Лелю по презрительно искривленным губам.

— Ты что? — испуганно прошептала она. — Это же ерунда... — Она обняла меня, прижалась и зашептала: — Люблю... очень... Насовсем...

Оттолкнуть ее у меня не было сил. Я опустился на пол. Есть я уже не хотел. Но я не имел права позволить погибнуть заварухе.

Леля села рядом. Она гладила меня по голове и что-то говорила.

А я ел, заставлял себя есть заваруху.

И жалел, что мама далеко.

1959 г.

**ЕЛЕНА — РЫЖАЯ ВЕДЬМА —
ГРАФИНЯ —
ВИТЬКИНА СЕСТРА**

У

Елены, Витькиной сестры, были рыжие волосы, да не просто рыжие, а невероятно рыжие, такие, что я ни с чем не могу сравнить их цвет.

Сама она была одной из первых сложных загадок, которые поставила передо мной жизнь. Рыжий — тогда в моем понимании означало некрасивый и смешной. Так я и воспринимал Елену и вместе с мальчишками кричал ей вслед:

— Ведьма, ведьма рыжая! Ведьма, ведьма рыжая!

Потом мне стало стыдно обзывать ее, и чем было стыднее, тем громче я кричал.

Потом я стал бояться ее. И чем больше боялся, тем громче обзывал.

Мальчишки кричали за компанию, или равнодушно, или весело, а я с отчаянием.

Ведь рыжая Елена оказалась красавицей, и я один знал об этом. Я прочитал старинный роман, где из-за графини-красавицы все время стрелялись на дуэлях, и задумался: а что же такое красавица? Я вспоминал всех знакомых девочек и даже взрослых женщин, пытаясь определить, из-за какой я готов насмерть стреляться, например, с Витькой, моим лучшим другом.

Оказалось, из-за Елены.

Из-за рыжей Елены!

Я до того растерялся, что однажды, когда мальчишки закричали:

— Ведьма, ведьма рыжая! Ведьма, ведьма рыжая!

Я перекричал всех:

— Графиня!

Елена остановилась и обернулась.

Я шагнул к ней.

Мальчишки — мои друзья — стояли сзади. Елена смотрела на меня. И мальчишки — я спиной чувствовал это — смотрели на меня. И я должен был сделать выбор. И я сказал громко, так громко, что в горле мгновенно пересохло:

— Графиня!

Голубые глаза Елены чуть потемнели, сузились, полные губы шевельнулись, словно не решаясь улыбнуться, — она пошла, медленно пошла, будто предлагая догнать ее.

Мальчишки за моей спиной сопели, потом фразом расхохотались — это когда я шагнул следом за Еленой. Смеяться им вовсе не хотелось. Просто они требовали, чтобы я остался с ними. И они выдвигали из себя смех. Он был напряженным, твердым и жалким. Оборвался он неожиданно.

Мы ведь не понимали, что такое произошло, мы лишь чувствовали: с одним из нас, со мной, случилось что-то важное. Оно когда-нибудь случится со всеми, но я был первым, и меня следовало наказать. Хотя бы смехом.

И ее тоже надо было наказать. И мальчишки, надрывая глотки, заорали:

— Ведьма, ведьма рыжая! Ведьма, ведьма рыжая! Рыжая, рыжая, рыжая, разрыжая!

Я повернулся и, не выбирая, ударил того, кто стоял ближе. Это был Витька, мой лучший друг, брат Елены... Кулаки мои разжались. Руки опустились.

Я даже не закрывал лица, когда мальчишки начали лупить меня. Больно не было, хотя били они здорово. Я только взглядывал, когда получалась возможность, на растерянного Витьку, который, полуотвернувшись, стоял в сторонке.

— Хватит, — попросил я, почувствовав, что губы мои уже вспухли, — хватит вам...

Не было во мне ни обиды, ни злости. Мне было стыдно. И я ничего не понимал.

И друзьям моим было стыдно.

И они ничего не понимали.

А виновата во всем была Елена.

Мы все сделали вид, что будто ничего не случилось, хотя голова моя гудела, губы ныли, а затылок онемел. Я подошел к Витьке, сказал:

— Случайно получилось.

— У нее жених есть, — ответил Витька. — И не графиня она.

— А я не спорю, — сказал я.

Витька посмотрел на меня, улыбнулся и благодарно, и виновато, сказал:

— У нее вся спина в веснушках. Даже пятна есть. И тут веснушки, — он показал пальцем на грудь, около шеи. — И зазнается здорово.

Витька был моим лучшим другом, и я не мог не согласиться с ним, но понимал, что отныне между мною и им встала Елена, и сказал:

— Веснушки — это ерунда, конечно. Главное, она красавица.

— Главное, она красавица! — возмущенно и насмешливо передрознил Витька. — Посмотрел бы ты на нее! — он даже поморщился. — Смотреть ведь противно! Понимаешь?

И я на мгновение почувствовал, что Витька может больше и не быть моим самым лучшим другом, потому что так говорит о Елене. Но я знал, что сделаю все возможное, все перенесу, чтобы сохранить нашу дружбу, — словно я еще тогда догадывался, что найти друга так же трудно, как и любовь. А потерять — одинаково легко.

— Она спит много, — с отчаянием продолжал Витька. — Папа говорит, что она всю свою жизнь продрыхнет!

— А мы с тобой все равно будем дружить, — сказал я. — А она пусть спит, сколько ей надо. И пусть она вся в веснушках. Не наше дело.

Мальчишки давно разошлись. Мы стояли вдвоем, и настроение у Витьки было такое, словно побили его, а не меня.

— Ну стукни меня, — предложил я, не зная, чем еще утешить его. — Вдарь как следует.

— Ерунда, — он грустно улыбнулся. — Тебе и так попало. А она о себе много воображает. Все время в зеркало смотрится.

— А мы все равно будем дружить, — сказал я. — Она тут ни при чем.

— Конечно, — уныло и недоверчиво согласился Витька.

Он нисколько не походил на свою сестру, как мне раньше казалось. Сейчас же я вдруг заметил, что глаза у них одинаковые — голубые, и вообще, сразу видно, что он ее брат. Я обнял Витьку одной рукой за плечи и сказал:

— Не будем из-за нее ссориться. Это глупо. Не важно, ведьма она там или графиня на постном масле.

Тут Витька громко вздохнул, взглянул на меня почти осуждающе, зашептал:

— Если по правде сказать... она ведь хорошая... — Он долго-долго молчал, видимо раздумывая, достоин ли я знать все. — Понимаешь... она скоро уйдет от нас. Замуж уйдет. А мы к ней привыкли. Мама плачет. Папа кричит. А я ее обзываю... со злости, конечно.

— А обязательно разве замуж выходить? — спросил я.

— Говорят, без этого нельзя. Чтоб дети были.

— Но ведь она еще в школе учится!

Витька пожал плечами, ответил растерянно:

— Ничего я в этих делах не понимаю.

И я ничего в этих делах не понимал. Знал о них только Генка Смородников. Он собирал нас где-нибудь на чердаке или в дровянике и сипловато пел песни, в которых было много срамных слов, значения коих мы толком не разумели, но у нас колотились сердчишки, горели уши, и даже чуть-чуть кружились головы. Нам было стыдно. Нам было страшновато. И еще как-то. А потом — мерзко. Мы расходились поодиночке, приходили домой и виноватыми, и дерзкими. А через несколько дней снова искали встреч с Генкой Смородниковым. Барачный житель, вечно голодный, грязный, битый, он снисходительно посвящал нас в тайны той стороны жизни, которую тщательно скрывали от нас взрослые.

Чем чаще мы встречались с Генкой, тем стыднее нам было за взрослых. И хотя у нас не было доказательств его правоты, мы становились недоверчивыми, настороженными, замкнутыми и — грубыми.

Все это мы вымещали на девочках: дергали их за косички, обзывали, ставили подножки, толкали. Мы делали вид, что презираем их, что нисколько в них не нуждаемся.

А девочки словно все понимали. Они были терпеливы и необидчивы. Они, будущие женщины, уже умели прощать и надеяться. А мы, будущие мужчины, учились обижать и за преданность платить равнодушием и презрением, а сами жестоко страдали из-за собственной неискренности. Девочки были сильны тем, что сознавали свое временное бессилие. Они обезоруживали нас своей добротой.

И нам ничего не оставалось, как притворяться сильными, грубыми и неблагодарными. Мы обижали их зло и изобретательно, отчаянно и примитивно.

И ненавидели себя за это.

А вот появилась Елена. То есть, конечно, она не появилась вдруг откуда-то, а я ее вдруг заметил. Потом-то я понял, что мальчишки часто влюбляются не в сверстниц, а в девушек старше себя. Такая влюбленность всегда носит оттенок чувства к матери, оттого чиста и бескорыстна. Оттого и матери ревнивы, понимая, что часть любви к ним отдается другой... Но почему же первое в жизни чувство к женщине начинается с попыток заглушить его? Вернее, почему первым проявлением этого чувства бывает нечто обратное ему? Почему я кричал: «Ведьма, ведьма рыжая!», прежде чем крикнуть: «Графиня!»?

Сразу оговорюсь: я вовсе не уверен, что мое чувство к Елене можно считать любовью или именно любовью. Да и рассказ этот не о любви.

Я до сих пор не знаю, как называется то, что произошло у меня с Еленой, вернее, из-за Елены. Знаю только, что это осталось во мне на всю жизнь.

Поводом для рассказа послужила моя недавняя встреча с отцом Елены, глубоким стариком. Но мы сразу узнали друг друга, почти столкнувшись на углу улицы. Оказалось, он по-прежнему живет на старом месте, что Витька погиб на войне, в последние дни... Мы уже собрались прощаться, и я, вдруг до хрипоты оробев, спросил:

— А она?

И старик, сразу же больше состарившись, ответил:

— Тоже. Она ведь медсестра... — и опустил голову, не договорив.

Я попытался пригласить его к себе, звал куда-нибудь выпить, но он, вытирая слезы с седых усов, отказывался, повторяя:

— Скоро на поезд, скоро на поезд...

Мне подумалось, что встреча со мной вряд ли его обрадовала: только разворошила забытое или просто припрятанное в памяти, а утешить мне его было нечем.

— А Марья Степановна? — спросил я.

Он мельком взглянул на меня с таким осуждением, что мне стало не по себе.

— Разве не видите? — жалобно спросил он.

— Простите, — уж совсем растерявшись, пробормотал я.

Он церемонно кивнул, подал неподвижную кисть руки и засеменял прочь.

Я пошел на берег Камы и, проваливаясь в мокрый снег, добрел до обледелой скамейки, сел.

Я иногда жестоко стыжусь, что не был на войне, хотя, конечно, понимаю, что стыд этот надуман, неразумен и оскорбителен не только для меня одного.

И все-таки: ведь Витька был старше меня всего на один месяц. Его призвали: а меня — нет... Больше двадцати лет прошло — надо ли переживать?

По-моему, очень надо.

Чем дальше в прошлое отодвигается война, тем чаще и ярче оживает она в памяти. Особенно я замечаю это по старшим друзьям: раньше они реже вспоминали о том, как воевали. Наверное, так оттого, что человеческому мозгу потребовалось много лет, чтобы до конца осмыслить, что же пришлось перенести и каким чудом выжить. До сих пор болят раны. Не все осколки вынуты. И во сне еще воюют воины. И многим болезням, смертям, искромсанным судьбам до сих пор диагноз один: война...

...Я промерз на обледелой скамейке.

Витька погиб на войне.

Елена погибла на войне.

И Генка Смородников погиб на войне, в штрафниках...

А я остался живой. Может быть, из-за этого отказался выпить со мной старик?

Мне стало жарко под холодным ветром. То есть внутренне мне было жарко, а сам я словно вмерз в скамейку.

Нет, война — это не только поле боя. Беды, принесенные ею, неисчислимы и непоправимы. Можно заново построить разрушенный дом, сделать его красивее, чем тот, который до войны стоял на этом месте, но дома, в котором, предположим, прошло твое детство, — уже никогда не будет. Просто появится новый дом.

Опаленное дерево — не восстановить.

И никем не заменить убитого человека. Каждый незаменим и неповторим.

Был Витька.

Была Елена.

И Генка Смородников был...

А я все еще — есть. И я не знаю, сделал ли я хоть что-нибудь, чтобы настоящей ценой оплатить право остаться в живых не только потому, что родился, но и потому, что нужен живым.

Эх, Витька, Елена, Генка... одно могу вам сказать: не забыл вас и не забуду, и если худо, зря проживу свою жизнь, вы — первые, перед кем мне будет стыдно...

А в тот вечер, когда мальчишки отлупили меня из-за Елены, мы с Витькой залезли на крышу сарая, где Генка гонял голубей.

Сейчас голубей много. Разжирили они. Воркуют, верно, не от любви уже, а от сытости. Наглые стали. И презирают, видно, своих кормильцев.

У Генки было три птицы. Любил он их до того, что здесь, рядом с голубятней, становился на себя непохожим. Совсем другим был здесь Генка. Даже помахать шестом нам давал. Но, загнав голубей в клетку и прыгнув на землю, он тут же начинал материться.

— Сегодня отец меня опять отколошматит, — задумчиво сообщил он.

— За что? — спросил Витька.

— Получка сегодня, — объяснил Генка. — Вечером к бабам завалится, а ночью нас с мамкой лупить будет. Такой у него закон. Потом реветь начнет...

— А пойдем к нам спать, — сказал Витька.

— Ага! — насмешливо отозвался Генка. — А мамка? Как она одна-то? Вам хорошо, — в голосе его прозвучали зависть и презрение, и он длинно выматерился. — Я вот скоро к девкам ходить буду, тогда жизнь веселее пойдет.

В тот вечер я впервые пожалел его, словно тогда еще понял, что ему по-настоящему тяжело жить.

Даже мне не захотелось возвращаться домой, из солидарности, что ли.

— В армию бы скорей, — сказал Генка, — в кавалерию бы...

— Я танкистом буду, — сказал Витька, — или летчиком.

— В армии хорошо кормят, — мечтательно сказал Генка, — и сапоги всем новые дают. — Он постоял еще, почему-то резко махнул рукой и ушел.

Мы с Витькой долго бродили по улице, много раз прошли мимо его дома, у которого на скамейке сидела Елена. Витька-то ее не замечал, а я даже не мог разобрать, что он говорил об армейской службе.

— Идите сюда, — позвала Елена, — скучно мне.

Не буду врать: из-за давности лет мне не восстановить в памяти ее лица. Помню только волосы необыкновенно рыжего цвета и глаза — голубые, которые темнели, когда она была чем-нибудь довольна или рассержена. И еще губы помню — полные, всегда готовые вот-вот улыбнуться.

Я сел рядом с ней, да так осторожно, что некоторое время как бы стоял на полусогнутых ногах.

— Кто тебя разукусил? — спросила она меня.

— Это из-за тебя, — ответил Витька, — за то, что он тебя не рыжей ведьмой, а графиней обозвал.

— Молодец. — Елена взглянула на меня, и глаза ее потемнели и сузились. — Прямо благородный рыцарь.

— Ерунда, — еле выговорил я, — они со злости.

Сидели мы долго. У меня от напряжения затекли ноги. Ведь Елена была совсем близко, и стоило мне пошевелиться, и я бы коснулся ее. А я почему-то боялся этого. Я старался не смотреть на нее. И было странное ощущение: я не смотрел на нее, но — видел. А когда она поднимала руки, чтобы поправить прическу, голова моя сама больно поворачивалась в ее сторону, мне становилось стыдно, но я смотрел на подмышки. А потом отворачивался, выпрямлялся, чтобы встать и уйти, и — сидел.

— Ты в клуб пойдешь? — спросил Витька.

— Нет, — ответила Елена.

— А чего твой жених не пришел?

— Во-первых, не твое дело. Во-вторых, он мне не жених. А в-третьих, мы поругались.

— А завтра сама к нему побежишь.

— Как бы не так.

Я побрел домой. За синяки мне попало. Я огрызался на добродушные замечания, получил подзатыльник, разревелся и спрятался

в своей комнатушке. Плакал я обо всем сразу: и о том, что Генку бьет отец, и о том, что я ударил Витьку, и о том, что, когда Елена поднимет руки, видно подмышки, и о том, что у нее все-таки есть жених, и о том, что настукали мне из-за нее. Я силился вспомнить что-нибудь Генкино, чтобы думать о Елене было противно, и не мог ничего такого вспомнить. Зато вспомнил, что Елена старше меня и ростом выше, и — слез прибавилось. И они стали горькими... Одиночество ощущается не только тогда, когда никого у тебя нет, но и когда — есть, но не с тобой. Эх, первые в жизни одиночества — мальчишки! Они как ступеньки к взрослению. Одиночество — значит остаться наедине со своей жизнью и увидеть ее всю насквозь.

И вот когда впервые я испытал это острое чувство, то сначала показался самому себе до ничтожного маленьким. И все вокруг меня было против меня. И я был глупым, смешным и страшно несчастным. И я был против всего и всех.

Но потом, выплакавшись, я ощутил себя не то чтобы сильным, большим и умным, а просто способным к сопротивлению. Подумалось мне с недетской отчетливостью, что я — это лишь я, и все, что выпадет на мою долю, — только мое, и я обязан это пережить. И все стало сразу незамысловатым и ясным. В душе возникла радость. Мир показался разноцветным и дружелюбным. И даже когда вспоминался Генка Смородников, мир не терял своих красок и дружелюбия, потому что Генка вспоминался с голубыми...

И еще мне было приятно оттого, что все спят, а я размышляю в темноте.

Уснул я неожиданно и проснулся счастливым.

Дома никого не было, и это тоже было хорошо. Я долго валялся в постели, хотя меня так и тянуло выскочить на улицу, потом долго умывался, даже позавтракал не торопясь, — убежденный, что сегодня со мной случится что-то необыкновенное, и словно оттягивал удовольствие.

Я ведь не знал, что послезавтра начнется война, на которой погибнут Елена, Витька и Генка. А если бы и знал, то не поверил — тогда! — что их могут убить. Ведь мальчишки и девчонки верят в бессмертие. Только повзрослев, они поймут, что Чапаев действительно утонул.

Был прозрачный и жаркий день, не душный, а просто жаркий.

Впервые в жизни я сам, по собственной воле, облачился в чистую рубашку и причесался. Физиономия моя была украшена тремя синяками, левый глаз припух. Я правым подмигнул себе в зеркале и показал язык.

Мальчишки посмотрели на меня с состраданием: они-то решили, что меня нарядили взрослые.

И Витька удивился: .

— Куда это тебя?

— Никуда, — весело ответил я, — просто так.

— Жди меня. Я за хлебом. Дверь не заперта. Елена ключ потеряла, а сама дрыхнет.

Я вполне мог подождать Витьку на улице, но — подумал об этом только тогда, когда уже поднимался на второй этаж, крепко держась за перила. Я не отрывал руки, будто боялся упасть. И хотя шел я долго-долго, у дверей оказался неожиданно. Стоял я перед ними смятенный, глупо-радостный и какой-то другой, не такой, каким был всего несколько минут назад.

Я проскользнул в комнату бесшумно, чтобы не разбудить Елену, сел в низкое старинное кресло с короткими ножками. В нем приходилось скорее полулежать, чем сидеть.

Прозвенели пружины, и я весь сжался, отчего они еще громче звякнули.

Сидел я неподвижно, а пружины еще долго звенели на разные лады.

А вдруг выйдет Елена?!

А почему я боюсь этого?

А вдруг она сразу заметит чистую рубашку и что-нибудь подумает?

А вдруг она увидит синяки и обидно расхохочется?

Скорей бы вернулся Витька...

И все-таки мне было радостно! И меня смущало именно это ощущение. Я весь был другой, каким никогда не был. Мне захотелось вскочить и громко засвистеть: «Шел под красным знаменем командир полка».

Но тут же я струсил собственной смелости, решил убежать, начал тихонько подтягивать ноги, чтобы, когда буду вставать, пружины не звякнули.

Открылась дверь из соседней комнаты, и вышла Елена. Меня она не видела, остановилась, потянулась, закинув руки за голову, закрыла глаза и счастливо улыбнулась. В один миг я не только увидел, — как это сказать? — впитал ее в себя всю, до каждой родинки, до каждого волоска. А она, повернувшись ко мне спиной, встала перед зеркалом.

Помню, что мне не было стыдно.

Нисколько.

Да и не могло быть стыдно.

То, что я видел, было как бы из другого мира, и если бы я не боялся обвинения в сентиментальности, то сказал бы: из сказки.

И потом генки смородниковы встречались мне в жизни. Но Генка-то был мал и глуп, голоден и бит, а я встречал их — сытых, переполненных самодовольством. Эти генки смородниковы подкарауливали меня в самые смутные моменты моей судьбы, когда, казалось, некуда было деться, кроме как в грязь, предлагали свои услуги. И если хоть в чем-нибудь я не сдался им, то должен быть благодарен Елене, благодарен просто за то, что она жила.

Но об этом я догадался только сейчас, когда ее уже нет на свете.

А тогда она была живая и красивая. И я не знал, что такую могут убить на войне. А если бы мне и сказали, я бы ни за что не поверил.

Я смотрел на нее, видимо, недолго. Но еще раньше, чем она ушла, я уже думал о том, как будет ужасно, если она меня заметит.

Мне хотелось, чтобы она осталась моей тайной.

А она чему-то рассмеялась и убежала на кухню. Я вскочил (и пружины не звякнули!), перелез через подоконник, встал носками на выступ в стене и прыгнул спиной вперед. Лететь было до озноба страшно. И перед тем как больно удариться о землю, я успел подумать: хорошо, что Елена никогда не узнает, что я видел ее.

Мне показалось, что внутри у меня все оборвалось. Сначала я и не догадался, что вывихнул ногу; преодолевая боль, встал на четвереньки, добрался до заборчика и лег на траву.

Через некоторое время я попробовал встать и чуть не взвыл, отдышался и пополз вдоль заборчика, думая только о том, чтобы никто меня не заметил.

Лоб покрылся холодной испариной. С каждым шагом подтягивать правую ногу было все больнее. И лишь взобравшись на скамейку и кое-как положив на нее ногу, я свободно вздохнул.

Но не мог прийти в себя. Бывают события, которые переживаешь не столько когда они происходят, а — потом, и остро-отчетливо. Так было и со мной, хотя совсем недавнее событие казалось мне не то приснившимся, не то просто промелькнувшим в сознании. Я как бы вновь оказался в комнате, сел в старинное кресло с короткими ножками, и — вошла Елена. Вспомнив это, я закрыл глаза и снова увидел ее. И уже тосковал, что такого больше со мной никогда не случится.

Потому что все настоящее бывает в жизни только раз — впервые. Настоящее неповторимо. Истина эта банальна, но банальность не освобождает ее от жестокости. И сколько человек ни обманывает себя, сколько ни тщится повторить неповторимое, а — не получается. С годами, хоть немного, да черствеешь, из чувств хоть немного, да уходит чистота, исчезает наивность, каждый поступок контролируешь жизненным опытом, в основе своей расчетливым и недоверчивым, осторожным и самым искренним душевным порывом. Но зато он и

помогает — конечно с опозданием — определить, что же именно в твоей жизни было настоящим, первым.

А многое настоящее, как ни странно, происходит в детстве. Или в юности.

Разумеется, обо всем этом я думал, сидя на обледенелой скамейке на берегу застывшей Камы, а не тогда, когда после прыжка со второго этажа размышлял о Елене, забыв о вывихнутой ноге.

Если бы не эта нога, я убежал бы в лес. Он был неподалеку. Я любил бродить там, когда со мной случались радости или беды. Сейчас мне хотелось быть одному.

Подошла Елена, и сначала я даже не узнал ее.

— Смешной ты какой-то, — сказала она. — Чего глаза вытаращил? — и рассмеялась.

— Ногу вывихнул, — гордо сказал я и чуть не добавил: из-за тебя.

— А ну... — Елена прикоснулась к моей ноге. — Да не бойся! — прикрикнула она, когда я дернулся. — Я ведь в санитарном кружке...

Боль по ноге проскочила через тело в затылок и... растаяла.

— Вот и все, — сказала Елена.

А мне вдруг стало грустно. В моем сознании никак не могли слиться в один образ та Елена, которую я видел недавно, и вот эта, сидевшая рядом.

— Витька тебя ищет, — сказала она. — А ты откуда прыгал?

— С чего ты взяла, что я прыгал? — грубо отозвался я. — Просто бежал и...

— Ах! — она закинула руки за голову, выгнулась, закрыла глаза. — Какой я сон видела... Но ты маленький, не поймешь...

— Если у меня нет невесты, то еще не значит...

— Не сердись, — она улыбнулась мне, и глаза ее потемнели, — ты лучше всех мальчишек.

И я бросился бежать.

— Куда ты? — крикнула она вслед.

— Никуда! — ответил я, не останавливаясь.

Бежалось необычно легко.

Как я не разбил себе лоб о деревья, понятия не имею. Я пошел шагом, лишь когда стал спотыкаться от усталости. Долго бродил я по лесу; ни о чем не думая или обо всем сразу. Тогда я не знал, что прощаюсь с детством. А в каждой разлуке есть хотя бы оттенок тревожной грусти. Но грусть была светлой и не настораживала. Я был счастлив.

Домой я не возвращался, пока не начало темнеть. И опять, как вчера, в темноте я думал о своей жизни. Что-то в ней очень измени-

лось. Она стала куда интереснее, чем была вчера. И сам я показался себе до того взрослым и сильным, что пощупал мускулы.

Жизнь представлялась мне широкой дорогой, уходящей к далекому горизонту, над которым небо — голубое, как глаза Елены.

Назавтра началась война...

*...Я еле поднялся со скамейки: до того онемели ноги. Руки так замерзли, что не удалось прижечь сигарету. Стыдно мне было: почему я не смог рассказать отцу Елены о ней? О том, что помню ее, о том, что благодарен судьбе за встречу с ней?

Нет, мне многое надо еще сделать, чтобы не было стыдно перед Еленой, Витькой, их отцом и даже Генкой Смородниковым...

1965 г.

**ЛЮБОВНАЯ ДРАМА
У НАС В БАРАКЕ
НА ПРОМПОЩАДКЕ
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ**

Он появился у нас в бараке к вечеру, но уже на другой день и до самой своей несуразной, а для него вполне закономерной, погибёли был на нефтепромысле известной персоной. И забыли о нем нескоро, и многие женщины унесли в себе память о нем, верно, навсегда. Не забывали его и некоторые мужчины — с презрительно-завистливым уважением вспоминали долго.

За большим барачным окном зло и давно уже выюжил декабрь, а на парне была промасленная телогрейка с одной пуговицей, рваные ватные штаны, кирзовые стоптанные сапоги и по брови грязная пилотка.

Плотно и старательно, даже как-то благоговейно притянув за собой дверь, парень постоял у порога, щурясь от тепла и света, осмотрелся и стылым голосом выговорил:

— Хорошо у нас...

Тетя Лида, высокая, прямая, для военного времени — очень полная сорокалетняя женщина, совмещающая обязанности уборщицы и воспитательницы, — вернее, она была уборщицей, а по штату числилась воспитательницей, — вышла из своего закутка, огороженного досками, спросила недружелюбно, настороженно и заинтересованно:

— Откудова и зачем сюда пожаловал?

Он взглянул на нее — сразу на всю, потом ненадолго задержал внимательный взгляд на ее груди, на голых белых ногах, чуть подольше — в глаза ей посмотрел; растянул оттаявшие большие, сильные, немного вывороченные губы в улыбку, наглую и добрую, подмигнул и отвечивал:

— А я, дорогая моя, оттуда, где мне не понравилось. Убег я оттуда, испарился. Даже запаха моего тамо-ка не осталось. Очень уж я... — он долго смотрел гете Лиде в глаза, — качественный. Вот

тебе, милая моя, направление из конторы. И вообще, здравствуйте все. — Он прошел к плите пригнувшись, будто крадучись к живому существу, присел перед огнем на корточки, протянул к нему багровые руки, блаженно зажмурился и заприкрыхтывал.

Пока тетя Лида вертела в руках бумажку, парень снял телогрейку, стянул сапоги, расстелил на полу портянки из цветастой материи, видимо, бывшего платья.

— Дело понятное, — чуть ли не испуганно и ласково сказала тетя Лида, — добра от тебя, видагь, не жди... — Она помолчала, вся сжавшись, выдвинув вперед большие литые плечи и с надеждой, не сводя с него взгляда, виновато спросила: — Так, что ли? Или по-другому?

А парень повернулся спиной к плите, закрикал от удовольствия, будто задышаться начал от жаркого блаженства, ответил не сразу:

— Добра от меня вагон тебе будет, милая, плацкартный. Вот согреюся, все доложу, и всем ты довольная будешь. А пока ты мне, дорогая моя, постельные принадлежности организуй, да чтоб два одеяла, не меньше. Я зябкий. Да кусочек мыльца взаймы предложь.

Был он гладко выбрит, тощая шея — грязно-красная, а поджарое тело — неестественно белое.

Я сразу заметил, как чем-то обеспокоилась тетя Лида, как торпливо вынесла ему полвафельного полотенца и кусочек мыла, как, уже не отрываясь, разглядывала этого парня, хватаясь руками за пылающие щеки. А он нежился перед плитой и под взглядом тети Лиды то садился, то вставал, потом снял штаны и остался в одних кальсонах, обрезанных чуть ниже колен.

— Срамотник, — ласково задыхаясь, сказала тетя Лида, — вон ребята... так никогда.

— Так то ребята, — оттянув резинку кальсон и пуская туда жар от печки, объяснил парень, — ничего они пока в нашем главном деле не кумекают. А я, дорогая моя, мужчина в самом что ни на есть соку... Тазик мне какой-нибудь предложь. Помоюся перед делом. А жить тебе и всем вам со мной будет прекрасно. А уж как ты мной довольная будешь... не бывало еще с тобой так. — Он прикрыл глаза, голову закинул назад, из шеи вылез столь великий и острый кадык, что, казалось, вот-вот распорет кожу.

Тетя Лида принесла таз с водой, поставила его на плиту, небрежно отодвинув наши кастрюльки с едой. Двигалась она суетливо, часто поправляла волосы, одергивала кофту, стремительно оглядывалась по сторонам, а мы прятали от нее глаза, чтобы она не заметила нашего настороженного и острого, почти ревнивого любопытства и тревожного удивления.

— Зовут меня Серега, — напевно, хотя и хрипловато, прислушиваясь к самому себе, заговорил парень, — по фамилии я Стрига-

лев. Отца, грешника несусветного, Пантелеем звали. Шофер я. Жизнь люблю. Чего и тебе, ласточка моя, желаю. Сегодня мне одеться во что-нибудь дай. Верну.

— Все, все у меня есть! — громогласно сказала тетя Лида. Она уже застелила ему койку, а он и глазом не повел, сидел на полу, царапался, говорил, словно кого успокаивая:

— Мужик я очень хороший. Цену себе знаю, потому и не навязываюсь никогда. Меня везде все любят. Кто — даже и без памяти. Зла никому не делаю. Добрый я. Натура у меня такая. Не сердит меня только, и я с тобой помурлыкаю.

— Не на фронте ты почему? — опять громогласно и страстно спросила тетя Лида.

— Инвалид, — с достоинством и лукаво ответил Серега, — ноги у меня плоские. Зато все остальное — дай бог. Пользы от меня не сосчитать — скоко. Сама, дорогая моя, все сама узнаешь.

Мы смотрели не на него, а на тетю Лиду. В наших глазах она до появления Сереги была чуть ли не старухой. А тут она помолодела, раздурманилась, как-то прогнулась в спине, расправила вдруг ставшие роскошными плечи, — будто раньше прятала свое большое тело, а сейчас вспомнила про него, и оно ожило каждой мышцей, каждой округлостью.

И мы почувствовали себя здесь как бы лишними, совсем посторонними, будто бы не Серега к нам заявился, а мы пришли в его с тетей Лидой жилье; мы обидно ощутили себя мальчишками, хотя работали по двенадцать часов в сутки без выходных... И работы наши были не из легких. А тут мы сидели на своих койках, обреченно ждали, что же будет дальше; и заранее чего-то боялись.

— Умывальня у вас за дверьми? — спросил Серега. — Неси, дорогая моя, тазик туда.

Тетя Лида бросилась к плите, схватила таз, отдернула руки, ойкнула, задрала подол — Серега стрельнул одним глазом туда, в белое богатство, — подхватила таз и почти бегом — к дверям, толкнула их плечом.

— Понятливая, — с уважением и задумчиво, словно чего-то припоминая, сказал Серега, сосредоточенно почесывая низ живота, — с такой потом трудно будет... Это когда она ко мне привыкнет, — объяснил он нам, всовывая ноги в сапоги, и направился за ней, помахивая вафельным полотенцем.

Не сразу вернулась тетя Лида, скрылась в своем закутке, хлопнула там дверцей тумбочки, опять убежала в умывальню с бельем в руках.

Настороженность наша пополнилась тревогой. Ведь мы все ждали — каждый свою — любовь. Она мерещилась нам всюду, всегда, во всем. Мир представлялся нам пропитанным любовью, ее было так

много и она была настолько жива и прекрасна, что даже вот эта страшная война не могла ее истребить; наоборот, может, именно война обнаружила для нас, что любовь — сила великая, неистребимая и всевластная. И еще нам казалось, что не только каждый из нас ждет любви, а — вообще, пришло ее время для всех назло войне. Нам чувствовалось, что человечество всегда молодо, как сейчас молоды мы. Ни голод, ни холод, ни сознание смертельной опасности, висящей над миром, над Родиной, над каждым из нас, не могли, — разве что ненадолго, — раздавить, искромсать или хотя бы приглушить неистребимую уверенность в обязательности любовного счастья для всех и для каждого.

Мы и боялись пришествия любви, потому что не мыслили ее будничной, незначительной, а — невероятной; мы и ждали ее...

Так вот, мы ждали и хотели живой любви, которая и есть настоящая, от которой и происходит жизнь. Мы были чисты в помыслах, но в желаниях, оформившихся и резких, мужала греховность, желанная и неотторжимая, самих нас и радующая, и пугающая... Мы уже с искренней усмешкой, если не с презрением, вспоминали свои юношеские влюбленности, не предполагая, конечно, что, как говорится, по истечении срока влюбленности эти сильно возрастут в значении по сравнению с первыми телесными притязаниями...

В тот вечер мы угадали, что теряем нашу тетю Лиду, что она уходит от нас и уже не вернется. Ведь мы, оторванные от дома, призывали к ней и не представляли, как это мы будем жить без ее прежних забот о нас.

Если в чем и заключалась воспитательная работа тети Лиды, так в том, что она самым строжайшим образом следила, чтобы мы экономно расходовали зарплату и особенно продовольственные карточки. В этом она была сурова и даже груба, но лишь благодаря ей мы научились растягивать продовольственные карточки на целый месяц. И еще тетя Лида с непонятным для нас неистовством добивалась, чтобы мы остерегались девчат, не только не приглашали их в гости, но чтоб и разговаривали с ними редко и поменьше.

— Кончится война, — внушала нам тетя Лида, — оглядитесь, приглядитесь и по-хорошему, по-человечески выберите, которая по душе. А то сейчас девки дурные. Знают, что после войны им туго придется, вот и торопятся...

Значит, теряли мы тетю Лиду. Уходила она туда, куда нас до сих пор сама не пускала.

Место, где мы жили, именовалось Промплощадкой. Находилась она на окраине города, выстроенного перед войной. Барак наш стоял прямо у дороги.

Город был необычен — какой-то гибрид без плана разбросанных улиц с нефтепромыслом и бумкомбинатом. Буровые вышки и нефтя-

ные насосы-качалки попадались чуть ли не среди жилых зданий.

Барак наш разделялся на три секции, две семейные и одна — общежитие на двенадцать коек. По военным временам мы — выпускники техникума — устроились совсем неплохо. В бараке даже было электричество.

Посередине комнаты громоздилась большая печь с плитой, которую мы топили углем, приворачивая его на железнодорожной станции.

По двенадцать часов мы работали, не считая времени на дорогу, а они, дороги, были в десятки километров, а добирались мы — как повезет. Всегда мы хотели есть и спать, особенно зимой. Вернешься с мороза (а военные зимы были на редкость злыми) в общагу, где от плиты исходит густой жар, который почему-то казался мне мохнатым, и сразу начинают слипаться веки, но заснуть не дает острый голод...

В тот вечер, когда состоялось наше с Серегой знакомство, я блаженствовал: у меня была такая высокая температура, что меня освободили от работы. У нас в электроразведке был так называемый ненормированный рабочий день. Это значило, что меня могли вызвать на базу в любое время суток на любой срок, да еще без еды. Вот, бывало, лежишь под одеялом, от плиты — африканское тепло, глаза слиплись, в животе — полкотелка овсянки и литр кипятка, а за окном — сквозь любой сон услышу — машина остановилась: мне ехать на буровую. Я одеваюсь у плиты, чтобы забрать в себя как можно больше тепла, вздеваю на себя, кроме рубашек, фуфайку, пиджак, телогрейку, полушубок, брезентовый плащ, еле-еле залезаю в кузов. Километров сорок в ледяной ночи на ветру...

И вот я лежал, и никто не имел права вызвать меня на работу! Никто!

А если к этому добавить, что из-за температуры я не очень хотел есть, а весь день проспал, то можете поверить, что мне было как в сказке. Да еще под подушкой — книга «Алые паруса»... Чего еще надо?

...Тетя Лида вернулась из умывальни, прошла по комнате, как еще никогда не ходила — все тело ее ожило, играло, что ли, веселилось. Никого не видела она, села к столу и умиленно-стыдливо говорила:

— Моется... — И застенчиво, красиво улыбнулась.

А надо сказать, что в нашей умывальне холодно было как на улице, и тетя Лида затратила много сил, терпения и голоса, чтобы приучить нас умываться каждое утро и после работы. Серега же там пробыл больше получаса, вернулся сияющим, разгоряченным и как бы одновременно продрогшим; короткие волосы торчали мокрым ежиком. На парне было чистое нижнее белье с завязками вместо пу-

говиц. Он сел у плиты уже не на пол, а на подставленную тетей Лидой табуретку, негромко попросил:

— Портянки мне постирай скорее. Кипяточку мне плесни. Карточки я ведь только к завтраму получу. А не жрамши я давненько. Уж пожалей ты меня, милая моя да хорошая...

И опять засуетилась, зашпешила, зашпотыкалась почти на каждом шагу тетя Лида, а он все, даже кусочек хлеба и две вареные картофелины принял как должное, без тени удивления или благодарности, громко прихлебывал кипяток, куда тетя Лида бросила несколько кристалликов сахара, шурил голубые пустые глаза, в которых мгновениями — это когда он задумывался — появлялось что-то ласково-хищное.

— Из каких же ты мест? — тоскливо спросила тетя Лида, будто спрашивала о своей судьбе, и он ответил, аккуратно откусив и тщательно прожевав дольку картофелины:

— Потом, после все узнаешь, моя дорогая. Всем довольна будешь, моя милая. А в местах я во многих бывал. И ни в одном долго побывать не удавалось... Ублажу я тебя, дорогая моя, аж на всю жизнь.

— Больно уж скор ты на посулы-то! — испуганно, видимо поверив в обещание, шепнула тетя Лида.

Он кивнул, сказал:

— А я знаю, что сулю-то.

Роста он был чуть выше среднего, костист и мускулист, сутулился немного, вернее, пригибался, как боксер или боец перед атакой. Была у него странная привычка — часто и быстро ощупывать себя бережными, но беспокойными прикосновениями.

...Ребята стали собираться в столовую: котелки на плите принадлежали тем, кто придет с первой вахты. А те, которым во вторую, в ночь, торопились в столовую.

— Столовка во скоко закрывается? — спросил Серега и подробно разузнал у нас, как зовут официанток, что они из себя представляют (мы разведенными руками пытались создать представление о их габаритах) и в поведении чем они отличаются: веселые, гордые или, как он выразился, брыкливые. На эти вопросы мы, человек шесть, еще ответили, но затем Серега стал допытывать: ноги у них какие, шаг широкий или узкий, плечи там какие и прочее... тут мы только могли удивленно переглядываться: в столовку мы ходили есть.

— Да ты на них, официанточек-то наших, больно-то не располагай, — насмешливо и явно ревниво сказала тетя Лида. — Вашего брата у них сколь угодно. Да они себе лишнего-то с вами-то не позволяют. У их такие ухажеры есть...

— А мне лишнего и не надо, — объясняюще ответил Серега. —

Зачем мне какое-то лишнее? Мне только самую меру. Правда, мера у меня сильна. Ну, а ухажеры... тут я самый главный.

— И врать ты горазд... — упавшим голосом выдохнула тетя Лида.

— Нет, моя ненаглядная, — сказал Серега. — Все, узнаешь, моя ласковая, и меру мою узнаешь, и все такое, и всем довольная будешь.

Сквозь тревогу и недобрые предчувствия я еще ухитрился наслаждаться покоем, возможностью лежать в тепле, зная, что и утром — лежи сколько угодно... Но в желании счастья человек не знает пределов, и я уже мечтал о том, как меня придет навестить Любка-шоферка.

Кстати, подошло время рассказать о нашей замечательной Любке... Все мы пережили любовь к ней, никому она не ответила взаимностью, но никого и не обидела хотя бы словом. Умела она будто бы не замечать и будто бы не понимать, отчего это на нее глазают, и не видеть в наших взглядах того, как мы мечтаем о ней...

Когда-то она работала в столовке хлеборезкой — лучше места и должности не придумаешь. От каждой порции крошки, и то сыта будешь, и кроме всего прочего можешь золотое кольцо на пальце занять, а чуть погода и золотые часики, и сережки тоже не медные. У Любки, правда, ничего этого не было, жила она как-то странно — очень уж скромно для такой должности. Говорили, мать ее сбежала еще до войны с каким-то грузином, потом грузин ее бросил, и она лишила себя жизни.

Любка жила в маленьком домике с отцом, который больше так и не женился и все перед Любкой оправдывал ее мать. Погиб он на фронте в третий месяц войны. Любка пустила в свой домик эвакуированных. Ее, конечно, и не спрашивали — в том смысле, пустит или нет, но вот перед кем двери открыть, Любка выбирала сама. И тут она удивила всех, приведя в домик к себе трех женщин и пятерых малолеток. Промучилась она с ними целый год и ушла в общежитие. В огород те женщины-матери Любке не позволяли даже и заглядывать...

Но как это в жизни бывает, все потери и несправедливости вывели Любку на счастливую тропинку, о которой она только смутно подозревала. Любка и раньше говорила, что очень любит кататься в автомашине, но однажды кто-то из шоферов не просто ее прокатил, а дал ей руль поддержать, скорости попереключать, посигналить и немного проехаться почти самостоятельно.

Мало времени и прошло, а Любка уже водила грузовик, а потом — все только ахнули — стала шофером. Это из столовки-то! Из тепла-то да от еды!

Значит, жила в Любке ей одной предназначенная страсть, кото-

рая не сразу обнаружилась, но когда открылась, Любка отдалась ей вся.

И села наша красавица за баранку в кабину самой задрипанной полуторки, от которой отказались все шоферы, и в жару, и в стужу, в пыль и слякоть затряслась Любка по бездорожью, копалась в полудохлом моторе, часами валялась под своей машиной.

А шел ей тогда девятнадцатый год. Когда она летом вдруг появлялась не в замасленном комбинезоне, а в обыкновенном платье и белых прорезиненных тапочках, казалось, что война кончилась...

Размышления мои, смутные и жаркие, вспугнули громкие голоса — ребята ушли в столовку. Я отвернулся к стене, закрыл глаза, уверенный, что сейчас в моем сознании возникнет живая Любка, но вдруг задремал, вдруг тут же проснулся и услышал голос тети Лиды, восторженный, но одновременно и жалкий, и обиженный, и опять же — счастливый:

— Полоумный, стара я для тебя... да не сходи с ума-то... ишь, какой умный... да ученый... бессовестный... не получишь... не на такую нарвался... нельзя со мной так... я серьезная... пошли отсюда... пожалеешь, псих... пожалеешь, говорю... пожалеешь...

В голосе ее возникло столько ласки и благодарности, восторга и тревоги, счастья и недоверия, бессильного возмущения и радостного согласия, что этот впервые в жизни услышанный мною любовный лепет не взбудоражил меня, а поверг в мечтательность. Я и смысла слов сразу не понял, зачарованный самим женским голосом, необыкновенным для моего слуха. А когда я машинально, без усилий разгадал смысл услышанного, во мне больно зашевелился стыд, и почувдился голос, как бы обращенный ко мне... И чем явственней осознавал я омерзительность своего желания, тем с большим смятением и бессильной злостью жаждал хотя бы услышать, что происходит там, за дощатой перегородкой. Скоро я утомился и от самого желания и от борьбы с ним...

Из-за перегородки вышел Серега, одетый в темно-фиолетовую хлопчатобумажную куртку и такие же зеленые брюки, будничный какой-то, очень этим меня разочаровавший. За ним вышла просветленная, тихая тетя Лида, не вышла даже, а выступила. Вся она была словно похудевшая и спела почти:

— Теперь уж не позорь меня...

— Не позорить я тебя буду, дорогая моя, а сердце твое хорошее веселить буду, — сказал Серега.

— Да откуда ты, шалый, про сердце-то мое знаешь?

— Дак ведь не дурак я, милая моя. Все понимаю. У баб сердце даже с пяткой связано, не то что с чем другим. Ты у меня главной опорой будешь. Базой. А я в долгу не остануся. Такие я тебе, родная моя, удовольствия сделаю...

— Ой, не надо, Сережа... не говори так-то... И при ребятах не показывай... И не верится мне... И человек ведь я... Ты про меня-то плохо не думай...

— В общем, дело так, — хозяйским тоном сказал Серега, громко прихлебывая кипяток. — Ежели я тебе по душе, то живем душа в душу. Не обижу. Но и не муж я тебе — тоже ясно. Не муж, а куда уж лучше... Сапоги мне оботри, дорогая моя.

Я до того напряженно вслушивался в разговор, не только в слова, но и во все оттенки голосов, что мне казалось, будто разговор длится вечность.

— Ночую я дома, — рассказывал Серега, — в куреве и спиртном не нуждаюсь. Брезгую. И силы они отнимают. Карточки отдам тебе, зарплату прямую — тоже. Че как не подойдет, сразу сообщай, в себе не таи, сразу мне — только тихим способом, без криков и визгов. Мы с тобой люди полюбовные. Все полюбовно всегда и порешим.

— Ладно, ладно, ладно, — весело старалась говорить тетя Лида, — только чтоб ребята не знали.

— На ребят мне наплевать. Не дураки, так сами поймут. Эту телогрейку я натяну?

— И шапку бери. Болеет он.

Закрылась дверь. Не хлопнула, не стукнула, а бесшумно закрылась. Тетя Лида стояла посередине комнаты, смотря в темное окно и переплетая свою огромную рыжую, чуть тронутую сединой косу...

А я почему-то опять вспомнил Любку. Мы с ней дружили, она жаловалась мне, что парни и мужики ей прохода не дают, рассказывала о своей прежней жизни — при отце. Я носил ей книги, сопровождал в кино и на танцы. Со временем она до того ко мне привыкла, что, бывало, попросит почесать под лопаткой или в клубе устало приникнет ко мне, а у меня даже в висках заломит.

Натурой она была незаурядной, иначе бы ей не доверили водить здоровенный «студебеккер», да еще новый: тут уж доверяли не квалификации, а характеру. В день, когда Любка впервые отработала на своем великане смену, она купила на толкучем рынке несколько пакетиков сахара и напоила сладким кипятком всех в общежитии.

Встречаться нам удавалось редко, но каждая встреча была отлична от другой, волнуяща и просто интересна. Любка часто просила меня читать стихи, слушала, задумчиво склонив голову набок, полукрив рот, мизинцем проводя по черным волосикам над верхней губой... Ожидая в жизни чего-то необыкновенного, Любка не замечала ни голода, ни холода — рвалась к своей машине, ладонями гладила капот...

— После войны, — мечтательно говорила она, — пойду учиться.

— Замуж выйдешь, — добавлял я в тайной, маленькой надежде, что вдруг она возразит мне!

— Конечно, — соглашалась Любка, впрочем, как-то очень уж равнодушно. — Никуда от этого не денешься. А что? — Она уже улыбалась. — На одной машине с мужем работать будем... **Только** боюсь я, — неожиданно добавляла она. — Боюсь.

— Чего?

— Не знаю. У нас в бараке почти все девчата... не девчата. Такое рассказывают!.. Противно.... Без всякой там любви, просто так... Мне они нарочно рассказывают, нарочно хвастаются...

Я весь пылал, во рту пересохло. Я попросил:

— Теть Лид, мне бы попить...

Она взглянула на меня отчужденно и снова отвернулась к окну, лишь потом, спохватившись, улыбнулась застенчиво, принесла кружку, сказала:

— Скоро ребята придут... Спал?.. — она присела на край койки у меня в ногах. — Радуетесь, что заболел? — еще спросила она, думая, конечно, о другом. — Придут, придут скоро ребята... Спал ты?

— Нет.

Она скорбно покачала головой, помолчала и заговорила, прикрыв лицо руками:

— Не рассказывай никому. Прямо я не знаю, как все сделалось. Дьявол он какой-то ласковый... магнит... манит только, а ты сама... — оправдывала она себя, а больше — его. — Ему-то что, а мне... — Тень тревоги застыла на ее лице, когда она убрала руки, но тут же растаяла тень. — Будь что будет. Поживем — увидим.

Она ушла помешать в печке, но, открыв дверцу, замерла с железным крюком в руках.

— Черт с ним, — неуверенно выговорила она, — единова живем... Об чем беспокоиться-то мне? Может, он у меня последний... А может, и того хуже — первый... — Она пошуровала в печке, положила крюк на пол, стала медленно подкладывать куски угля, напевая какую-то тоскливую песню, оборвала ее. — Поживем да и... помрем! Никому не рассказывай, — через плечо бросила она. — Не вашего ума дело.

Пришли ребята, принесли мне поесть. Я мог бы блаженствовать: есть, да еще лежать!.. Да еще не меньше двух дней вот так валяться, не ходить на работу! Не мерзнуть в кузове по десять — сорок километров... Но я не очень блаженствовал. Ничего у меня не болело, просто пылала голова, и было в ней что-то тяжелое, оно перемещалось и резало. Думал я о тете Лиде, и ее смятение как бы жило во мне.

Ребята ушли на работу, первая вахта еще не вернулась, и тетя Лида подседа ко мне и стала рассказывать:

— Нас у матери шестеро девок накопилось. Я старшая. Уж как

мы жили-тужили, ноги таскали, лучше и не вспоминать. Мать больная, отец на работах надорванный — шутка, такую ораву кормить. Я нянькой при всех... Сестры одна за другой взамуж, а мне и на вечеринку сбежать некогда, да и не в чем. Мать с отцом в один месяц померли. Остались мы с Леной. А у нее жених. И уехала я, и сказала, что живите на здоровье. Дом еще добрый, а я вам только мешать буду. Ну, не мне рассказывать, не тебе знать, а семьи у меня не получилось. — Тетя Лида ушла к плите, опять села перед раскрытой топкой. Лицо покраснелось, и она изредка прижимала к нему ладони, молчала она, но, если можно так выразиться, громко молчала.

И тут я понял, что она, оказывается, красивая. Впечатление это было настолько неожиданным, но определенным, что я присел на койке, чтобы видеть тетю Лиду всю.

Обнаружение мною ее красоты поражало не столько неожиданностью, сколько, если хотите, какой-то закономерностью, естественностью, словно я был подготовлен к такой разительной перемене в ее облике. А может, а скорее всего, это было не превращение, не перемена, а проявление черт, доньше дремавших, не было у них раньше повода выявиться. Ведь многие перемены в людях, часто самые невероятные, на поверку оказываются не переменами, а именно выявлением до сих пор дремавших, спрятавшихся особенностей.

Вот и наша тетя Лида не оказалась, а на самом деле была красивой. Даже я, ничего тогда в этом не разумеющий, вытаращил глаза и до того жадно, радостно, удивленно и подробно разглядывал ее, так много увидел, что застыдился.

Красота ее была чуть скорбной, с ясно проступившим оттенком обреченности, но все равно — красота. Боюсь быть заподозренным в сентиментальности и безвкусице, но видел я однажды березу на высоком, подмытом весенним разливом берегу. На самом его краю стояла она в ожидании неумолимого падения вниз, в грязную беснующуюся пучину. И будто собрав остатки сил, все свое жизнелюбие, выпрямилась береза, приподняла голые, сухие ветки, ждала гибели своей, но еще радовалась весне... О ней я сейчас вспомнил.

— Тут у нас до вас инженер жил, — говорила тетя Лида и совсем по-девичьи перебирала огромную рыжую, чуть тронутую седой косу. — Все я хотела, чтоб он женился на мне. Хороший он был человек. Тут тебе пьянка, а то и драка, а он лежит себе на коечке вон в том углу и книжку почитывает. Умный он был. Но вот не знал, понятия не имел, для чего мы, бабы, придуманы. И ни одну из нас счастливой не сделал... Приметила я как-то, что бумажки он часто перебирает, когда в бараке никого нет. Невеста была у него, у горемыки. У немцев в оккупации она осталась... Это она ему еще в школе писульки-то писала... Сонька Окунева из продуктового так прямо

с ума сходила. Напьется, дура, правда красивая, прибежит сюда, обнимет его, плачет, целует. И — чего бы ему надо еще?.. А он псульки перебирал... а живая баба ему ни к чему была... — Тетя Лида встала, выгнулась, потянулась, раскинув руки, замерла так, но вот — руки ослабли, упали. Она низко опустила голову. — Думала, а мне ведь такой любви, как той, в оккупации которая, не выпадет... А ведь бывает такая, бывает... А мне жить охота было — ох! Ну, пусть война... И она пройдет. А вот если жизнь пройдет... — Тетя Лида подошла к моей койке, села у меня в ногах, долго молчала. — Не знала я бабьего счастья. Могу и не узнать. Так, понимаешь, и помру. Инженер тот, который тут до вас жил... спрашивала я его, как жить-то надо... Ничего он в этом не понимал... То есть, для себя-то он понимал, а другим даже посоветовать не мог. Бумажки, говорю, от своей невесты возьмет и перебирает. А ее, может, давным-давно и на свете-то нет. А я тут... Ночью-то горячая, ровно утюг, раскалюсь вся, вот-вот дым повалит... И думаю... Неужели?! Неужели проживу без... этого? А тянуло меня к нему... Ночами без сна всякого в кровати кручуся. Не сама ведь такие муки придумала... Таковую вот на свет произвели и — бросили. Сама, дескать, судьбу устраивай. А что к чему, не растолковали. Тот-то инженер уехал, а я с сердцем-то своим и осталась. Оно у меня доброе, вот и обманывали его не единова. Злая я стала, высушила сердце-то злобой, а — толку? Крути не крути, а жить охота. И буду жить. Мать покойная говорила: вот на ноги вас поставлю и спокойно-де помру. Значит, стать на ноги да и стоять до смерти? Не-е... каждый пожить должен, а ино и родиться не надо...

Впервые я видел живую страсть, раскрывшуюся у меня на глазах. Она поразила меня сочетанием греховного и возвышенного, откровенного и стыдливого, вызывающего и застенчивого. Страсть еще не определилась, не обрела законченного облика, она как бы еще в себе самой искала свои основные черты.

Мое существо не только соприкоснулось с чужой страстью, а и приготовилось понимать ее, сочувствовать и — сопереживать. И сколько раз потом в жизни я убеждался, что способность сопереживать едва ли не выше и богаче способности переживать: во всяком случае, это помогает понимать людей тогда, когда понять их очень трудно, почти невозможно, а — надо. Половина, если не больше, житейских несуразностей превращается в беды только из-за неспособности, выросшей из нежелания, людей понимать друг друга или хотя бы попытаться понять. Обо всем этом я тогда, конечно, не знал. Мне было просто очень жаль нашу тетю Лиду. Я предчувствовал, что к ней пришла беда, внешне похожая на счастье, или счастье, которое все равно — беда. Мне даже казалось, что я в чем-то ей сопричастен, будто от меня что-то зависит.

...Однажды у нас в электроразведке не оказалось грузовика, и на мое счастье прикатила Любка в своей грозившей вот-вот развалиться полуторке. Она выскочила из кабины, стройная, сильная, вся обтянутая полукомбинезоном и красной майкой, веселая, звонкоголосая, возбужденная, верно, своей неутоленной женственностью, молодой и терпкой... Мы оторопели, побросали работу, а тетя Нюра, огромная, около центнера, лебедчица, пробасила на весь нефтепромысел:

— Ух, стервоза! Будь я мужиком, я бы из-за такой подохла или... ух, девка! Вся под орех, так и просится на грех!

Молодость хороша ведь тем, что ее не только не вернуть, но и не продлить. Но вот что бы я хотел еще раз пережить из молодости, так это всего насколько мгновений. Они — Любкины. Я даже и не попытаюсь их передать, я просто расскажу о них самыми обычными словами... Полуторка так скакала по дороге, ее так бросало из стороны в сторону, вверх и вниз, что в кузове трудно было устоять на ногах. Лебедка, на барабан которой было намотано около двух километров трехжильного кабеля, могла сорваться с болтов, убить меня или покалечить и — ура! — Любка бы плакала и обнимала меня, но было бы уже поздно, и как бы она жалела об этом! От одной этой картины я чуть не заорал в восторге. Я тогда не знал, что Любка никогда не полюбит меня, но я знал, почему полуторка подпрыгивала! Я знал, почему ее бросало из стороны в сторону! Потому что недавно мы с Любкой посмотрели друг другу в глаза, и оба покраснели!

А приехав на буровую, мы старались не встречаться взглядами, мне было стыдно, и стыд был радостен, какой-то очень стыдный и в то же время совсем не стыдный стыд... Когда я ломом быстрехонько столкал лебедку из кузова на помост, тетя Нюра определила:

— Кровя в парне играют.

Работать было весело. У меня болела шея — до того я часто и резко оглядывался по сторонам, ища глазами Любку. Ее нигде не было. Но я чувствовал, все мое существо верило, что она где-то здесь, прячется от меня, боится, стыдится, и это — замечательно... Но внезапно привычная работа опротивела мне, или я просто устал от слишком необычного, острого и долгого наслаждения... Вялый, какой-то опустошенный, я старался разгадать, что же происходит со мной... Появилась Любка, рассерженная, с плотно сжатыми губами, с недобрым взглядом, который она всего один раз бросила в мою сторону, но я успел поймать его. Любка словно состарилась или, вернее, подурнела, и красивое тело ее как бы спряталось в одежды...

Обратно полуторка не мчалась, а катилась, тщательно объезжая рытвины, не вздрагивала даже на ухабах. Неизвестно откуда взявшаяся горечь разъедала мне сердце. Я думал о Любке чуть ли не с неприязнью, хотя не мог, конечно, понять себя и ее. Я запутался в

догадках, растерялся... Словно испугавшись внезапно проявившегося влечения друг к другу, мы оба забоялись его... Мне даже страшно стало, когда я подумал, что судьба моя сейчас вот зависит от Любки, все будет так, как она захочет. Сам я, конечно, не осмелюсь, но если она лишь взглянет...

Пока мы разгружали полуторку, Любка не выходила из кабины. Я работал как можно медленнее, я не представлял, что со мной будет, если Любка уедет, не сказав мне ни слова, не представлял, что со мной будет, если услышу обращенный ко мне ее голос...

Уже все ушли с базы, кроме старика сторожа, который сразу устроился дремать на лавочке при входе.

Открылась дверца кабины, послышался Любкин шепот:

— Иди... подвезу...

Нет, я не поехал с ней. Я был горд и глуп. А много лет спустя завидовал самому себе, тому, который стоял в кузове мчащейся полуторки и как никогда больше в жизни был уверен, что его любят...

Пришли ребята, расселись вокруг плиты, заставили ее котелками, кастрюльками, в центре — огромный чайник.

— Что с вами, тетя Лид?

— А... ничего...

И вопрос и ответ прозвучали удивленно.

Значит, и ребята что-то сразу заметили. А она, тихая, вся в себе, уже несколько раз машинально и сосредоточенно вытирала стол.

— Теть Лид, чего это с вами?

— Вот пристали! — постаралась сказать она раздраженно, а получилось равнодушно. — Да ничего... С чего и взяли? — И она ушла за перегородку, ушла торопливо, виновато пряча глаза, и необычно — осторожно и плотно — прикрыла за собой дверь.

Нет, такого у нас еще не бывало! Тетя Лида никого не гнала в умывальню, не проверяла, кто сколько крупы собирается бросить в котелок, не бранилась за кинутые на постели телогрейки...

Как мне хотелось рассказать ребятам о том, что я узнал сегодня! И я бы, конечно, рассказал, если бы мог хотя приблизительно восстановить пережитое и передуманное мною совсем недавно. Меня оставлиwała не только боязнь сфальшивить, но и осознание себя, как ни странно, соучастником, что ли...

Вскоре, проглотив принесенный мне ужин (от переживаний я проголодался), я устал вдруг, отвернулся к стене, закрыл глаза и — будто против своей воли — как бы лишь краем сознания пытался представить, что же сейчас творится в душе тети Лиды? Я потому и не хотел полностью отдаваться этим мыслям, что они отпугивали меня чем-то неуловимо тревожным...

В этой тревоге я был не один. У меня ясно обозначилось ощущение, что каждая моя мысль мгновенно кем-то подхватывается. Лишь

спустя некоторое время я догадался, что привык думать и переживать с ребятами одинаково. И пусть они не знали, что же именно недавно произошло здесь, у нас в бараке, ощущения наши совпадали. Мы как бы давно были готовы к таким вот переживаниям...

Ведь любовь мерещилась нам на каждом шагу. Она была настолько сильна и чиста, что мы — каждый из нас — могли полюбить первую встречную. В помыслах, разогреваемых желаниями, мы жаждали не выдуманной любви, а подлинной, хотя и не знали, какая она, знали только — от нее зависит очень многое.

Ах, как нам была нужна любовь!

Мы так могли полюбить, как потом уже — не сумели.

Мы просто поражались, что проходящие мимо существа женского пола не подозревают, какое обилие любви к ним таится в нас!

Была война, а мы все-таки ощущали, что всему человечеству приходит время любви к женщине, невероятной, невиданной всеобщей любви, которую несем мы... Вот как мы тогда думали!

А Любка все-таки пришла провести меня. Она заявила под вечер — алые щеки, ресницы и волосики над губой в инее. Одета она была в короткую телогрейку и тонкие ватные штаны, короткие — до икр — валенки, в красноармейском, неизвестно где раздобытом шлеме, с порога крикнула:

— Здесь симулянты проживают?

Из своего закутка в комнату шагнула тетя Лида и как обухом по голове:

— Стучаться надо девке в мужское общежитие!

— Да я в окошко заглянула, — невозмутимо объяснила Любка, подмигнув ребятам, — смотрю, все в приличном виде.

— Потому только и пушу, — не унималась тетя Лида, — что к больному. — А так — не шлейся здесь.

— Проходи, красавица, гостьей будешь, — сказал Серега. — Кипяточку не желаешь?

Любка даже не взглянула в его сторону, села на табуретку возле моей койки, сняла шлем, из-под которого сразу вывалилась масса буйных черных волос — она не признавала никаких причесок.

— Хорошо поболел? — с заметной завистью спросила Любка. — Мне как сказали, я сразу подумала: вот повезло.

Серега внимательно разглядывал ее, полуоткрыв рот, закинув голову назад, отчего его великий кадык опять грозил вспороть кожу.

Видимо, взгляд Сереги обладал какой-то беспокоящей силой, потому что Любка несколько раз повела плечами, как бы освобождаясь от этого взгляда.

— Завтра я, пожалуй, слягу, — громко сказал Серега и сам один посмеялся над своей шуткой. — Если ко всем больным такие красавицы здесь приходят, коклюш завтра же подхвачу.

Тетя Лида стояла у плиты, скрестив на груди руки, исподлобья глядя на Серегу. Он один не замечал неловкости создавшегося положения, потому что не смотрел в сторону тети Лиды, и она не выдержала, встала между ним и Любкой, сказала раздельно:

— Кипяточку бы лучше похлебал.

— Не обращай на них внимания, — шепнула мне Любка. — Когда на работу?.. Тогда чего лежишь? И кино пошли! — И она рассмеялась — впервые — естественно, слишком громко, смутилась, куснула губу. — Чего у вас тут стряслось?

Действительно, чего-то у нас тут случилось. Тетя Лида стала злой. Ребята сидели притихшие, только палили на Любку глаза по привычке.

— Я пойду, — сказала Любка, долго прятала волосы под шлем, встала. — В субботу, если получится, заходи за мной на танцы.

— А ты лучше к нам, красавица, приходи, — вслед посоветовал Серега, — у нас тут мужчины имеются.

Когда Любка ушла, тетя Лида, видимо не сумев перебороть себя, заговорила:

— Не к тебе ведь она приходила. Нужен ты ей как петуху тросточка. А языком размахался.

— И какое твое дело, дорогая моя? Придет время, и эта ко мне придет. Только я-то зря валяться не буду. Привстану.

Ребята дружно хмыкнули, кто-то негромко произнес:

— Чихала она...

Тетя Лида торжествующе усмехнулась, а Серега, встав и по привычке машинально ощупав себя быстрыми, но осторожными прикосновениями, сказал спокойно:

— Ни ты, милая, ни они тем боле кой-чего не петрите. Тут просто подумать надо, угадать, с какого боку к ней подрулить. Как ей себя показать. Товар лицом, значит. Все они, конечно, одного хотят. Это ясно. Наукой доказано. Но хотят — по-разному. Сначала. А потом — одинаково. Самое интересное — начало. Вкусно это.

— Ну чего рты разинули? — напустилась на ребят тетя Лида. — Он вам... намахает языком-то...

Серега уже спал — так он всегда делал перед вечерним выходом, часа полтора крепчайшего сна, которому ничто не могло помешать. Можно было даже песни горланить.

— Я сам все делаю, — объяснял Серега, — засыпаю сам, сплю сам, просыпаюсь, когда мне надо.

Любку я не видел недели две. В общежитии у нас снова воцарился порядок, спокойствие. Тетя Лида опять расцвела, обихаживала Серегу уже открыто, да и мы начали к этому привыкать.

Никто никогда не знает, с какой стороны приползет беда. Вот стою я около диспетчерской будки на развилке двух дорог, километрах в восьми от левого берега Камы (нефтепромысел был на правом) и жду Любку. Она на своем «студебеккере» проехала на буровую и на обратном пути должна забрать меня.

Морозец градусов этак за сорок, и если мне придется топтать пешком через Каму — там ветер и все сорок пять градусов — даже подумать об этом боюсь... Нет, я залезу в теплую кабину, буду разговаривать с Любкой, любоваться ею, а потом сразу из кабины — в столовку! Еще успею... Я не ел и не спал больше суток и, чтобы не уснуть у раскаленной печки, выхожу из будки.

И когда я уже был готов бежать обратно в тепло, на просеке показались фары «студебеккера». Большие сильные лучи то утыкались в снег, будто искали чего-то, то прыгали влево-вправо — шарили по стенам леса вдоль дороги, то вонзались в небо.

«Студебеккер» промчался мимо.

Сначала я ничего не понял. Отблески лучей растаяли в темноте, а я все стоял, не двигаясь, тупо думая о том, как же я сегодня опять останусь без еды, без курева... а вдруг меня, обессиленного, собьет ветром на Каме?.. Я вернулся в будку, еле-еле насобирав по карманам табачных крошек на закрутку, задымил.

Почему Любка забыла обо мне? Должно быть, случилось что-то уж такое, чего она не ожидала... Можно мне было и разозлиться, я даже пробовал расшевелить в себе злость, но ничего из этого не получилось... Заспанная диспетчерша ничего, конечно, толком не знала о том, будут или нет сегодня машины с того берега... Что же случилось?.. Я выпил кружку кипятка, уснул, сидя на топчане, уснул сладко и услышал во сне Любкин голос:

— Проснись, поехали... Ну проснись...

Мне так не хотелось просыпаться! Смущало лишь то, что я не видел сон, а лишь слышал.

— Да проснись ты!

Это Любка будила меня.

— Ты откуда? — спросил я, еще ничего не соображая.

— Уже Каму переехала, — ответила Любка, — и только тут вспомнила, что тебя не подобрала. Поехали. Психовал тут? А?

Мы влезли в кабину, Любка протянула мне три папиросины. Я мигом очнулся.

— И спичек дам, — виновато сказала она. — Мне все это добро главный инженер еще днем преподнес. Знаешь, усатый такой? Губы у него еще всегда мокрые. Хотите, говорит, мы вас на легковую переведем при конторе бурения? Нет, говорю, не желаю. А он говорит, что можно и не спрашивать, а просто приказом перевести...

Рассказывала она торопливо, многословно, повторяясь, будто

лишь для того, чтобы я не расспрашивал. Я и помалкивал, затягиваясь ароматным дымом так глубоко, что кружилась голова. Папиросы были самодельные, набитые очень душистым и крепким табаком.

— А ты почему ни за кем не ухаживаешь? — вдруг спросила Любка. — Вон девчат везде сколько. И хорошие есть. И ты парень симпатичный.

— Если я парень симпатичный, — с обидой и с наконец-то вдруг появившейся злостью сказал я, — то почему тебе не нравлюсь?

— Нет, ты мне нравишься, — задумчиво возразила Любка и улыбнулась краешками губ. — Но ты мне — не судьба. И я тебе не судьба.

— Это как?

— Не знаю. Но точно. Нет, ты мне нравишься, в общем. Танцевать умеешь, водишь очень хорошо, особенно когда вальс. Книжек много читаешь. Не похабничаешь... — Любка перечисляла мои немногочисленные достоинства с таким неестественным уважением, что мне стало ясно: сейчас даже они потеряли для нее всякое значение. — Да и никому теперь верить нельзя, — неожиданно закончила она.

— Уж так и никому?

Она несколько раз кивнула, обиженно выпятив губы.

— А почему ты все-таки мимо меня проскочила?

— Задумалась... задумалась о чем-то я... — Любка не умела врать, и я не видел, но чувствовал, как лицо ее жарко побагровело. — Ты бы все равно не вышел за меня. Я знаю.

— О чем ты задумалась?

— Да не помню.

Мне много приходилось ездить по самым невозможным дорогам на разных машинах, и могу заверить, что Любка была редким шофером. Огромный «студебеккер», которому суждено было сыграть в ее любовной истории не последнюю роль, Любка вела, казалось, без всяких усилий, за рулем сидела с той долей естественной небрежности, какая отличает прирожденного шофера от старательного выученика. Машина, что называется, слушалась ее, а Любка уверяла, что и она иногда слушается машины, когда та ее о чем-нибудь попросит... Почему же она проскочила мимо меня? Дело не в моей персоне. О чем задумалась Любка?

Или — о ком?

Именно в эту поездку я как-то мимолетно, чуть ли не в одно мгновение понял смысл моего отношения к Любке, даже некоторые его оттенки. Она была мне дорога, как бы ни складывалась жизнь. Может, она и стала бы моей судьбой, но чувство пришло к нам одновременно, чувство открытое, властное, мы побоялись довериться ему, начали проверять его, даже бороться с ним, и оно растаяло, а если и возрождалось, то ненадолго и робко, причем вспышки его у

меня и у Любки уже не совпадали. И мне до сих пор иногда жаль, что мы потеряли друг друга. Живет все-таки в нас этакое практическое отношение к женщине, неосознанное, правда, но действующее безотказно: раз любви не получилось, о чем тогда и речь может быть...

— Вот мать моя на себя руки из-за любви наложила, — вдруг вспомнила Любка. — Но ведь какая там могла любовь быть? Он же бросил ее быстро... А вот отец ее любил. А она от него сбежала... Ничего ведь не понять.

Мы опять долго не виделись с ней, и я тосковал. В душе возникали какие-то смутные предчувствия, недобрые и тревожные.

Между тетей Лидой и Серегой установились ровные, как бы приглушенные отношения, но то, что меня поразило в ней вечером, когда у нас впервые появился Серега, исчезло почти без следа. Передо мной была все чаще и чаще некрасивая, пожилая женщина, угодливая и безропотная, которая уже не улыбалась, а старалась улыбаться, которая о нас уже не заботилась, как раньше, а старалась заботиться...

Серега каждый вечер — каждый! — куда-то исчезал, и мы о его любовных похождениях знали только по слухам, которых по нефтепромыслу ходило предостаточно.

Серега приоделся, по военным временам стал прямо-таки франтом, завел большой фанерный чемодан с висячим замком, где накопил много одежды. И продуктов он приносил немало. Теперь он с тетей Лидой ел в ее закуске.

Странно: временами она все-таки преображалась, и опять молодела, и опять светилась вся... Видимо, большие страсти не так уж часто посещают жизнь вблизи нас? Или простой смертный способен пережить лишь мгновения большого чувства?

Ничего я не понимал...

Обычно Любка никогда одна не приходила на танцы, она договаривалась со мной или с подругой. А тут я увидел ее в клубе в окружении незнакомых парней. Она неестественно и слишком громко смеялась, но, увидев меня, оставила компанию.

Я не узнавал ее. Что именно изменилось в ней, я сразу, конечно, определить не мог. Но что-то сразу бросалось в глаза. Она смотрела на меня и — не видела меня, слушала, отвечала, но ничего не слышала, отвечала невпопад; настороженно и в то же время радостно оглядывалась по сторонам; вся напряженная, то ли готовая к кому-то рвануться, то ли, наоборот, ожидая, что к ней кто-то бросится... Если смотреть в ее темно-карие продолговатые, чуть раскосые глаза, можно было поразиться мгновенной смене самых разнообразных настроений: от страха до восторга, от глубокой задумчивости до бла-

женной пустоты... А меня вдруг пронзила острая и холодная жалость. И еще я почему-то с облегчением подумал, что теперь-то моя влюбленность в нее совсем прошла. Да еще у меня промелькнуло предчувствие, что мы с Любкой вместе, вот так рядом в клубе — в последний раз...

Любка в явном нетерпении оглядывалась по сторонам, и я не мог поймать ее взгляд. Она вся была чужая.

— Что с тобой? — спросил я.

— Ничего, — ответила она рассеянно, не глядя на меня. — Нервничаю.

— А что?

— Да так, ничего. Надоело мне. Пришла сегодня домик свой навестить, а там вместо этих матерей с детишками обормот какой-то живет. А тех по баракам растолкали. И где мои вещи...

— В милицию надо обратиться.

— Наплевать.

Ее пригласил парнишка с лесопилки. Она ушла с ним. Он был ниже Любки ростом, но держался фон бароном: и даже такие на танцах были в цене. Я постоял немного, прожигаемый умоляющими взглядами девчат, которые толпились по всем углам и рядами стояли вдоль стен, и отправился домой. С полдороги я припустил бегом — мороз к вечеру остервенел.

А дома — тоже не соскучишься. Были у нас жестокие враги — клопы. Ни разу в жизни нигде я больше таких зверюг не видел.

На них, негодаев, кроме физической смерти, ничего не действовало. Как-то в получку достали керосина, раздобыли пустых консервных банок и каждую ножку каждой койки поставили в банку с керосином...

Клопы падали на нас с потолка!

И вот однажды ночью, когда мы, злые, полусонные, давили клопов, раздался голос Сереги:

— Эт дело надо кончать.

Тетя Лида с распущенными волосами, с опухшим лицом (она по ночам часто плакала), сказала:

— Я в жилищную контору-то еще схожу.

— Эт мура. Они скорей нас отравят, чем этих гадиков. Словом, так... — Серега помолчал, словно обдумывая жестокость своего решения и проверяя его правоту. — Крови лишней у меня нету. Высыпаться я должен. Если клопов не выведете, я от вас уйду.

— Куда?

— Меня везде примут.

Серега с первого появления у нас был нагловатым, и к этой черте его характера все как-то притерпелись. На нефтепромысле он сейчас был очень известной персоной и знал, конечно, об этом, и нагло-

ватость его постепенно переросла в наглость. Мужчины как-то презрительно уважали его, многим было даже лестно состоять с ним в знакомстве, но вот все чаще и чаще до меня стали доходить слухи, что в разных местах Серега наткнулся на скандалы. Однажды его пытались избить самым серьезным образом.

Ко всему этому он относился спокойно, хотя и не равнодушно, заранее зная все, что его может ожидать, не обижался, встречая неприязнь, не пугался, когда слышал угрозы.

Со мной он был откровеннее, чем с другими, и почти каждый день хриплым голосом признавался:

— Только бы на эту самую любовь не нарваться... от нее добра не жди... только бы ноги унести...

В эту ночь, когда он заявил тете Лиде, что не потерпит клопов и переберется в другое общежитие, мы долго сидели с ним у плиты. Он не курил, но какая-то очередная симпатия одарила его помимо прочего и пачкой табака, и, привыкший брать все, он оказался с куревом и немного отсыпал мне. Для него это было великодушным жестом.

Я совершенно не понимал, отчего он не женится, хотя бы так, как женились иногда в те времена: просто поест и выпить на своей собственной свадьбе, прожить там сколько стерпит и при надобности — уйти. Я знал, например, несколько женщин, которые приняли бы Серегу и содержали бы его как принца, они просили передать ему такое предложение, и я передавал, а он говорил:

— Не петришь ты ниче... и они тоже.

И в ту ночь я спросил, почему бы ему не жениться.

— Не по мне так, — задумчиво, с достоинством ответил он. — Будешь ровно кобель на веревке. А тут главное — свобода. Я едино-ва с голодухи остался жить у официантки одной. Выхода просто другого не было. Тошнота получилась. Она только об том и соображает, чтоб меня удержать. Ну никакой разницы: что она, что милиционер. И вижу: не пельмени она мне стряпает, а чтоб я тут вот сидел. С ней. И спать ложусь, как на вахту иду... А сейчас прихожу, здравствуй, дорогая, говорю. Чего это, милая ты моя, лицо у тебя грустное? Давай-ка, родная моя, тебя развеселю... Ну и... я специалист в этих делах... оба мы всегда довольны... — Серега вдруг помрачнел, скривил рот. — Опасная эта специальность. На любовь нарваться можешь... Тогда все может случиться... И убить могут. Бывало... В Кизеле, откуда я к вам прибыл, приглянулся я одной слишком уж... Переласкал ее я немного, перестарался. И до того я ей потребовался, что она за себя уж не отвечала. Надо было ей меня у себя закрепить. А я эту охоту заметил поздно... Ты запомни: бабы со слов дуреют, а не с дела. Сказать им можно так, что никаким делом не заменишь. Так ты ходи к ней, сполняя свои обязанности мол-

ча и — уходи. И ничего тогда не будет опасного. У тебя обязанности, у нее обязанности. Все нормально. Все прекрасно. Но как только язык распустишь, тут начинается... Кизеловская-то моя манеру завела: не спит всю ночь напролет. Ей-то что? Молодая, здоровая, откормленная. У ей в одном ухе здоровья больше, чем у меня, ну, в ноге. Мне себя экономить надо. И чувю я, что слов она от меня ждет. Неполное удовольствие для нее без слов-то. А я спать хочу. И свое дело я сделал... Ну и чтоб отстала, спать мне дала, я и ляпнул: люблю, мол, тебя и жить, знаешь ли, без тебя не могу... — Лицо у Сереги сморщилось, он даже носом шмыгнул, будто бы всплакнуть мог. — Тут и началось... Еще, еще скажи, она требует... На другой день вечером прихожу, у нее глаза на лбу и просит не что-нибудь серьезное, а чтоб я ей слова там разные про любовь эту болтал. Вот положение! Она со слов-то дуреть стала... Пойдем, говорит, любимый, на звезды смотреть... Не-ет, любовь с ихней стороны — опасная штука... Отравить она меня хотела! С ножом за мной бегала! Еле-еле ноги свои плоские унес... Нельзя с бабами много разговаривать.

— Ложитесь давайте, — тоскливо сказала тетя Лида, — шестой уже...

— Чего-нибудь с клопами надо организовать, — даже не глядя в ее сторону, нехорошим, раздраженным голосом проговорил Серега. — А то я в другое место переберусь, сказал.

— Ну и перебирайся, — еле слышно ответила тетя Лида, — не больно кому и надо.... Койка долго пустовать не будет.

— Зря ты, милая моя, осерчала, — чуть мягче сказал Серега, и тетя Лида сразу улыбнулась ему. — Ничего обидного против тебя в уме я не держал. Но вот сама посуди: работа-то у меня какая? За баранкой...

— Да уж работа у тебя... сверхурочная, — тетя Лида, видимо, хотела придать голосу насмешливый оттенок, а получился умоляющий. Она с трудом пересилила себя, постояла, сжав губы, и все-таки заговорила: — Тебе, конечно, клопы спать мешают. Не высыпaeшь-ся ты, бедный. А если клопов изведу, сколько еще у нас перетерпишь?

Голова у меня была тяжелая, я уже плохо понимал, о чем толкуют Серега с тетей Лидой, слышал только, что их голоса были необычно резкими; потом я и этого не разбирал. Я оказался — вот как был — в нижней рубашке, босиком над глубокой-глубокой пропастью, оттуда несло холодом и леденило мне ноги, меня неудержимо тянуло упасть туда, вниз, я сдерживался из последних сил и — полетел. И проснулся, едва успев усидеть на табуретке.

Сереги и тети Лиды в комнате не было, я потушил свет и рухнул на койку, подумав, что в одеяло завернусь потом, во сне.

Приснилось, что мы с Любкой катаемся на лодке, мне холодно,

особенно ногам; мне стыдно — ведь я в нижней рубашке, а Любка обычно — в ватных штанах, из-за которых очертания ее фигуры становятся вызывающе-обольстительными, в короткой телогрейке, в красноармейском шлеме... Гудка я не слышал, меня разбудили ребята. В голове аж шумело. Не помогло ни умывание ледяной водой, ни кружка кипятка с куском хлеба, густо посыпанного солью, ни табак. Да и все ребята не выспались толком. Никому не хотелось выходить на мороз, да на целых двенадцать, а то и больше часов... Мне было хуже всех. Я мог прийти на базу и услышать, что выездов на буровые сегодня нет, отправляйтесь отдыхать или — что на сегодня заявок много, полезайте в кузов и на самую дальнюю буровую, вернетесь завтра к вечеру...

У меня всегда в запасе было несколько отгулов — переработанных сверх нормы суток. Но отгул дали, когда я уже вышел на смену, и не говорили, на сколько, вызвать могли в любой момент. А сегодня мне и на буровую ехать вот так не хотелось, и в общежитие возвращаться не особенно манило.

Молодость жестока в оценках, скоро на них, самоуверенна. Это и мешает ей приглядеться, всматриваться, вдумываться... Вот и я на какое-то время отвернулся от тети Лиды, чем обидел и напугал ее. Мне показалось, что она унизилась до того, что готова на все, лишь бы Серега оставался жить у нас, так сказать, на прежних правах и с прежними обязанностями. За всем ее поведением я видел только это желание. Что делать: иногда внешнее проявление чувств находится в удивительном противоречии с их истинным содержанием, особенно если застать человека в минуты душевной слабости, или когда человек вынужден защищаться.

Так было и с тетей Лидой: в последнее время я видел ее только обиженной, оскорбленной, раздраженной. А если к этому еще добавить и то непереносимое условие, что судить человека следует, учитывая его личные особенности и обстоятельства его судьбы, то я был явно несправедлив по отношению к тете Лиде.

Выяснилось это в утро, когда мне на базе сказали, что сегодня работы не предвидится, я вернулся в общежитие и, открыв дверь, услышал радостное пение тети Лиды. Она только что закончила мыть полы и в высоко подоткнутой юбке, открывавшей великолепные белые ноги, расхаживала по комнате, поправляя постели.

Мы сели побаловаться кипятком. Тетя Лида выделила по такому случаю сахарина.

— Выгоню я клопов, — весело сказала она, — средство я одно знаю. Но пользоваться его можно только один раз в жизни. Старухалешаиха меня научила, в девках еще когда я была. В деревне у нас ведмичала... А то смешно: из-за клопов мужика такого потерять... Она криво усмехнулась, долго смотрела мимо меня, снова красивая,

снова помолодевшая, и я опять поверил в ее нездешнюю страсть. — Ты бы ушел куда. Я этим делом займусь. А то когда еще такого дня дождешься, когда никого дома нет.

— Теть Лид, а почему Серега, по-вашему, мужик... такой?

— Ну... — недоуменно протянула она, словно бы и обидевшись за Серегу; плечами еще пожала, тоже недоуменно. — Про это не рассказать. И слов таких нету... Да только бабы в этом разобраться могут. Умеет он нас счастливыми сделать. Хоть ненадолго, да счастливыми. Человеком себя чувствуешь. Каждый пальчик он у тебя приласкает. Каждому пальчику спасибо вроде бы скажет... Обо всем с ним забудешь... И долго потом еще помнишь... Плохо то, что он с каждой — вот так... И чего дальше будет, понятия не имею. Верь не верь, а мне без него теперь — не жизнь. Самой страшно подумать, что случиться может. Из-за клопов, видишь ли, убежать собрался... На этот раз удержу... А дале — что?

Уходить мне, конечно, не хотелось, но я оделся, дошел до двери, сам не помню, как обернулся и спросил:

— А любовь это у вас, тетя Лид, или...

Она не удивилась вопросу, ответила сразу:

— Не в словах дело... если один человек без другого жить не может, как хошь это называй.

Паразитов она уничтожила. Какое она там снадобье знала, ее тайна, но клопы больше не появлялись. А мне в голову часто приходила совершенно идиотская мысль: никакого снадобья не было. Тогда — что? Потусторонние силы, что ли? Но я так и вижу: стоит тетя Лида посередине комнаты, глаза полны слез, и шепчет что-то она, и такая мольба исходит из всего ее существа... Чертовщина это, конечно, но долго она не забывалась...

Странно: без всяких определенных причин, по крайней мере новых, я с каждым днем все более ненавидел Серегу. Дело дошло до того, что я не мог слышать даже звука его голоса. Особенно почему-то я не выносил его походки — он шаркал подошвами по полу. Возмущала его какая-то болезненная чистоплотность: он подолгу отмылся, брился ежедневно, чуть ли не каждый день тетя Лида ему что-нибудь стирала, постельное белье ему меняла чаще, чем нам. Он боялся заразы, почему и каждое утро рассматривал прыщички на лице, словно изучал их, тело свое все рассматривал, пугаясь любого пятнышка. Был он наг и жалок одновременно.

Ко мне он относился по-прежнему, откровенничал, а я сколько ни отворачивался, Серега этого не замечал.

Просто в голове не укладывалось: как он ухитрялся с его внешностью, нелепейшей походкой, полным отсутствием того, что сейчас зовется интеллектом, пользоваться успехом у всех, у кого он желал иметь успех.

Как-то я вернулся из поездки во второй половине дня, промерзший до костей, и застал в общежитии тетю Лиду и Серегу. Он лежал на койке, а она сидела спиной к нему у печки. Они молчали, но тетя Лида словно специально ждала моего прихода, выждала, когда я разденусь, умоюсь, налью в кружку кипятка, сяду к столу, и лишь тогда заговорила, полуобернувшись к Сереге:

— Любка-шоферка сказывала, что ты ее ласточкой кличешь. При всей столовой хвасталась.

— Ворона она после этого, — испуганно пробормотал Серега, — или сорока... — И он предостерегающе повысил голос: — Не уважаю, когда ко мне вмешиваются. Кто жизнь мою трогает. Да и мало ли кто что треплет...

— Ласточка, говорит, ты моя, — еле слышно шептала, глядя в потолок широко раскрытыми глазами, тетя Лида, будто мечтала: — Улетим мы с тобой в теплые края, сошьем там себе гнездышко...

— Не мог он так говорить! — вырвалось у меня.

— В том-то и дело, что говорил, дурак! Я, дурак, говорил! — Серега громко постучал себя кулаком по лбу. — В том-то и дело. Распустил язык, обормот! Рахитик несчастный! Слабак! Выманила она из меня эти слова!

— И птенчиков с тобой выведем, — с трудом шевеля сухими губами, еле слышно выговаривала тетя Лида. — И всем-то ты довольна будешь, ласточка моя сизокрылая... А вдруг в гнездышке у вас клопы заведутся? Кто вам их выводить будет?

— Ну хватит, хватит, хватит, хватит! — Серега вскочил, замахал руками. — Я и сам не знаю, откуда у меня такие слова оказались! Сама она их придумала, а говорить меня заставила!

— Изверг ведь ты, — с удивлением даже произнесла тетя Лида. — И не боишься?

— Как не боюсь? — отозвался Серега. — Еще как... Психопаток-то много среди вашего брата имеется. Вот ты чего завелась? Твое какое дело? Я тебе — что? Муж? Не было такой договоренности. Могу хоть сейчас уйти, если не устраиваю... Одна дура языком треплет, другая и рада — оба уха развесила... — растерянно сказал он словно самому себе. — По-людски ведь с тобой договаривались... хорошо жили и вот... И так всегда! — пожаловался он мне. — Вот как только слово любовь (он произносил «любофф») от тебя услышу, — он уже повернулся к тете Лиде, — и больше меня не увидишь!

Серега действительно недоумевал, и вид у него был жалкий. Тетя Лида ушла за перегородку, слышно было, как тяжело она опустилась на кровать, замолкла, вдруг всхлипнула, уже не могла сдержаться и закричала сквозь рыдания:

— Совести у тебя никакой нету! Война, а ты тут... Чем я тебе не угодила? Хоть капельки какой не отдала, а? А ты ее... ласточкой!

Сергеа хрипло вздохнул, с сожалением покачал головой: дескать, вот тебе и вся благодарность, а ведь как старался, чтоб ей хорошо было. Так нет, надо все испортить!

— Не терплю я! — шепнул он мне. — Ненавижу, когда свободу отымают! Вот посади меня в тюрьму, я и дня там не проживу: порешу с собой! Вот привяжи меня к бабе — или ее, или себя тут же без дыхания сделаю. Мое первое право! — крикнул он, полуобернув голову в сторону перегородки. — Чтoб поменьше у меня командиров было! Особенно — среди вас! — И, наклонившись ко мне, продолжал, стараясь унять нервную дрожь: — А у баб это в крови, командовать-то. Вот она тебя добиваться будет, про любовь эту самую все уши просвистит, ну и придешь ты к ней, растревожила она тебя, любовь эту самую, как заразу какую, передала. Шары у нее на лоб от счастья передвинулись. Ну ты свое дело знаешь, полюбить ее надо. По-нравилось это ей. Вот и сиди с ней как бобик. Будто она одна на всем белом свете. И законы всякие придумали, чтоб не охота тебя держала, а... Приговорят вот с этой вот из одной тарелки хлебать, в одной постели спать, в один нужник ходить... и не чирикай, не вякай... Чем вот ей плохо было? — уже истерично крикнул он, махнув рукой в сторону перегородки. — Жила одна, от вас, сопляков, проку нет, да и не позволила бы она себе такого... Тут я к ней не по-кобелиному ведь, а карточки отдал, зарплату приношу. С душой — это называется. Дорогая моя, милая ты моя, вот так-то мы жить будем. Согласная на это? Ага, ага! Куда там как обрадовалась... А что теперь получилось?.. Вот это, — он провел пятерней по лицу, — всегда опухлое. Ревет потому что, лекции мне лежа говорит вместо того, чтобы... ну, сам понимаешь. Ненавижу я, когда один человек другого к себе привязать хочет! Вот дай ей волю, она меня и на работу пускать не будет, в сундук запрет, а выпускать будет только на ночь, поесть и нужду справить. И все это из-за слов. На деле меня никто никогда толком не застукивал. А из-за слов скоко раз я горел?.. Вытянут из тебя слова, какие хочут, и... не выкрутиться после этого... Дела... — тяжело продолжал Серега; быстрыми и осторожными движениями ощупав себя, двумя пальцами правой руки проведя по своему великому кадыку. — Нельзя без баб, но мороки с ними...

— Дурак ты, дурак! Изверг ты! — Тетя Лида вышла из-за перегородки, бессильно прислонилась к ней. — Не я тебя просила... Сам меня упросил... Как я теперь без тебя-то? Привыкла я к тебе... Не вижу, как без тебя остаться-то можно...

Чем, видимо, и покорял Серега женщин помимо всего прочего, так это отзывчивостью своей: не мог он видеть равнодушно обиженного им.

— Да хватит меня на вас, — почти шасково объяснил он. — И женских порядков ты не знаешь. Вот нельзя при мужике реветь. Этим

ты ему показываешь, что никакой власти у тебя над ним уж нету. Только слезы остались. И, вообще, постную физию смотреть... отвернуться лучше или другую подыскать. Я жить люблю. Я жить умею. А для этого надо, чтоб мне сапоги не жали. Чтоб я все, что умею использовать, имел. Жить я хочу только так, как я хочу! — Серега постучал пальцем по краю стола. — Никого я никогда не забижал. Все от меня довольны были. У кого башка соображает. Ненавижу! — в голосе его появились визгливые нотки. — Ненавижу, когда не моему баба делает! Есть у меня на автобазе начальники и — хватит! Да и весь смак с бабой-то в чем? В том, что не подневольные оба! Не по приказу друг к дружке прижимаются! А тут любовь («любофф») вашу выдумали! Ненавижу я ее, ненавижу! Не может любовь ваша мужика удержать, вот тогда вам одно остается — кислотой ему в рожу! По любви, значит! Или в жратву ему чего-нибудь подсунуть — чтоб в корчах сдох, раз не любит! — Серега весь дрожал, но сдержался и сел, прерывисто дыша, и все-таки выкрикнул: — Да я... — он махнул рукой, сплюнул.

— Хватит уж кричать-то, — сухим голосом попросила тетя Лида и по привычке успокаивать себя — стала переплетать свою огромную косу. — Никто с тобой не спорит. Вправду: сердцу не прикажешь.

— Не только сердцу, — наставительно поправил Серега, — носу и то приказать нельзя, чтоб он чихнул. — Этой шуткой он попытался изменить если не тему разговора, то хотя бы разрядить его атмосферу.

Но в глазах тети Лиды было что-то, чего не могли понять ни я, ни Серега. Мне почувствовалось, что весь мир вокруг нее и все заботы мира сейчас представлялись ей ничтожными по сравнению с тем, что разъедало ее душу. Она даже забыла про войну. Она была обречена на эту любовь — что бывает не так уж часто — отдалась ей вся, ничего себе не оставив, бросилась в нее, как в омут, — не выплыть, и ждала, погибнет или нет.

Несколько раз в жизни я замечал, что бездонное горе не обязательно обезображивает лицо мученика или лишает его привлекательности, — наоборот, страдание иногда делает лицо прекрасным, и жутко сознавать, что эта красота имеет нечто общее с тем, когда смерть разглаживает на лице умершего следы мук и печалей...

— Не знаю, не знаю, — бормотал Серега, наткнувшись на этот взгляд, и стал глазами искать мои глаза, чтобы или найти в них сочувствие, или просто отдать страх. — Все вроде бы нормально было... Другая бы на ее месте молилась бы на меня. А тут... ведь посуди... — испуганно бормотал он.

Я чувствовал, что он не решался, боялся высказаться до конца, бросить тете Лиде такие слова, из-за которых еще неизвестно, как она поведет себя. И Серега счел за благоразумное отступить:

— Давай-ка, дорогая моя, вспомним, что утро вечера мудренее.

— А вечером ты к ней полезешь, — с убийственным равнодушием произнесла тетя Лида, и Серега в страхе затараторил:

— С чего ты это взяла? С чего это тебе в башку вдарило? — И, сам понимая, что слова его даже внешне лживы, он перешел на ласковый полусшепот, но пока обращенный в мою сторону: — Ревнует... ниче, ниче... успокоим... пташкой от радости запоет... — Даже тени бахвальства или хотя бы самоуверенности не проскальзывало в его голосе; медленно, незаметно Серега повернулся от меня к тете Лиде, и в голосе его зазвучали хриловато-воркующие нотки: — Мы ведь умные. Мы дурака валять не будем. Мы хорошо жить будем. Нескандальные ведь... все у нас поделено... каждому, чего требовалось, то и досталось... — Впрочем, слова теперь уже мало имели значения, работал голос, он стал до того откровенно зовущим, что у меня задрели щеки. — Махонькая она, Любка-то, рядышком тобой... Много ли она от меня возьмет? А ты себя вспомни... Ну?... Вспомнила, какая ты?.. Ты, дорогая моя, тышу раз говорю тебе, пора моя...

Серегу несколько не смущало мое присутствие. Повторяю, произносимые им слова — это одно, а голос, а вроде бы неопределенные жесты — совершенно другое по силе, он и не пытался убедить ее словами, но даже его придыхания уже переубеждали тетю Лиду, она на глазах теряла силы сопротивляться...

Пора, если еще не поздно, сказать, что я никак не причисляю Серегу к тем, кто преуспевал у женщин лишь потому, что мало мужчин осталось здесь, в тылу, или — к тем, кто нравился им только своей мужской силой. Я иногда вспоминаю Серегу и теперь-то понимаю, что он обладал умением, скорее, способностью относиться к своим многочисленным симпатиям с редким даром: несмотря на кажущуюся неразборчивость, он был требователен, но и внимателен к каждой, и каждая обязательно соответствовала его требованиям, каждой он был благодарен за это, каждой умел доказать, что именно лишь она и есть настоящая женщина и открыть это, мол, смог лишь он. Может, все это мои домыслы, а тогда я просто не раз видел, как в него влюблялись не только с первого взгляда, а лишь ощутив его присутствие поблизости. Он был очень добр к женщинам. И я убежден, что где-то в глубине своих не совсем развитых мозгов Серега твердо был убежден, что из каждой женщины можно сделать чудо. И он умел доказать это. И за это его любили. Из-за этого он и погиб.

Конечно, была в его жизни и теневая сторона. Он жил только для себя, был сыт, обут, работу свою шоферскую знал и делал ровно настолько, сколько требовалось, чтобы не сочли симулянтом. На довольно сносной полуторке он ездил лишь в пределах правобережного нефтепромысла, перевоза немудреные и неспешные, а часто и выгодные грузы. Шофер он был самый средний, и если бы не инва-

лидность, вполне вероятно, что ему пришлось бы менять профессию на более хлопотливую...

И вот когда он успокаивал тетю Лиду, а я поражался его этому умению, мне вдруг подумалось, что не тронь он таких, как Любка, судить его или, точнее, рядить было бы и не за что. Ведь он приходил и по обоюдному согласию на какое-то время делал женщину очень счастливой. Он и расставаться с ними умел, не обидев их. А то, что он многим оставлял тоску, то она хоть отвлекала от голода и одиночества.

Он знал про женщин все, а чего не знал, о том догадывался. Серега не хотел и всегда боялся, что вызовет неумную страсть. Она была ему не нужна. Он боялся ее всегда, но и подозревать не мог, что однажды сразу две женщины испытают к нему такую любовь, которая другого сделала бы счастливым на всю жизнь, а Серегу она погубила. Он бы еще и сумел как-то выкрутиться, по крайнему случаю, хотя бы сбежать с нашего нефтепромысла, да уж не судьба была. Любящие его женщины одного только желали — любить его безраздельно. Каждую он мог уговорить на что угодно, когда был с ней вдвоем. Вот и сейчас тетя Лида уже оттаяла. Серега уже кадык свой великий потирал от удовольствия, что ссора миновала, как в комнату, повозившись с тяжелой дщерью, вошла Любка.

Тетя Лида мгновенно потемнела в лице и сразу сделалась некрасивой, а Любка сорвала с головы шлем, и ее буйные волосы (так и хочется сказать: молодые) рассыпались по сторонам, упали на лоб, и она сразу покрасивела (есть такое слово в быту), и я, словно думать мне было не о чем, размышлял о том, как Серега посмел позариться на такую. Сердце мое щелкало не ревностью, а несправедливость. Мы, отвергнутые, врем в таких случаях себе, уверяя, что будь он достоин ее, мы бы и не пикнули...

Тогда я и не предполагал даже, как повернутся события. Забегая вперед, я открою ход рассуждений Сереги. При всем своем восторженном отношении к женщинам он отличался и неменьшей практичностью. Судьба достаточно помотала его, и он надеялся на себя, а не на стечение обстоятельств. О войне Серега помнил только в том смысле, что надо было добывать пропитание, работать в трудных условиях, искать жилье... И в этом смысле общежитская Любка-шоферка явно уступала тете Лиде, у которой была хоть и не комната, а отгороженный угол, и работа ее была, как говорится, не пыльная.

— Присаживайся давай, — предложил, от неожиданности придав себе совершенно невозмутимый вид, Серега, — угощений нету. Не ждали дорогих гостей. Но поглядеть на них — мы с удовольствием. Каким ветром к нам задуло?

Сесть Любке было некуда, табуретки стояли далеко от нее, а одну, ближнюю, тетя Лида подцепила ногой, подтянула под себя и не

просто села, а расселась на ней, как в кресле каком-нибудь. То, что Серега не пойдет за табуреткой, было ясно. И Любка сама за табуреткой не пойдет, тоже было ясно. И только я двинулся с места, правда подумав, что вмешиваюсь в чужие отношения, как увидел, что Любка осторожно опустилась на порог.

По лицу Сереги было легко догадаться, что он взбешен ее появлением и прикидывает, как сообщить ей об этом. Простить этого он не мог.

Но первой — глухо, сдержанно — спросила тетя Лида:

— Тебе говорено было, чтоб стучалась? Мужское у нас общежитие, понятно?

— Беременная я, — будничным тоном поставила ее в известность Любка, долго смотрела на опустившего голову Серегу, встала, подошла к печке, взяла табуретку, поставила ее к Серегиной койке, села и проговорила уже испуганно, тонко: — Вот и пришла вам всем сказать.

— Правильно сделала, — сгорбившись, как от удара, и уставясь взглядом в пол, отозвался Серега нехорошим голосом. — Я в этих штукаx плохо кумекаю, но проверить надо. Может, ты меня на испуг берешь. Также бывает такое. Да и промеж себя о таком говорят, а не при всех.

— К хромоногой Серафиме сходи, — жестко и насмешливо посоветовала тетя Лида, — она вас, молоденьких, принимает. Может, выдюжишь. Правда, и скалечить она тоже может, — тетя Лида жутко улыбнулась. — Освобождение от работы тебе на такое дело не даст никто. На ногах все перенесешь. А трудно это. Не все выдерживают. В больницу тебе нельзя. Запрещено. К Серафиме топай.

— Что делать, Сереженька, будем? — заставила Любка себя спросить так, словно ничего не слышала. — Я в комитете комсомола была. Там сказали, что если мы регистрируемся, то помогут как-нибудь с комнатой.

Кровь отлила от лица Сереги, оно как-то неприятно побелело, губы тоже обескровились почти. Тревожнее того была тишина, в которой даже движение робкого пламени от угля в печке казалось слышимым. Тетя Лида наклонила голову, спрятала глаза и переплетала свою огромную рыжую косу с таким остервенением, словно она мешала ей предпринять что-то очень важное.

— А на автобазе сказали... — в безразличном голосе Любки появились искорки надежды, но Серега перебил, вставая, сжав кулаки, сунув их в карманы штанов:

— Ясное дело... Разбил бы я тебя сейчас так, что никакой бы фельдшер тебя не собрал и не сшил... Вечером поговорим. Мотай давай. Не к месту ты тут и не ко времени... — И, почувствовав, что Любка и не собирается уходить, Серега, чтобы не броситься на нее,

сел. Лицо его, снова потеряв живой цвет, застыло, губы опять обесцветились почти совсем. — Тебе что сказано? Ты что сюда пришла, как в клуб постановку делать? Не надо мне никаких ребеночков! — у него даже голос потоньшал от безразличности. — Не надо! — попросил он. — Не нуждаюсь я в них! — объяснил он, долго шаркал подошвами взад-вперед вдоль своей койки, пытаясь успокоиться. — Мотай давай, говорят. Вечером поговорим... Я этих... шпингалетов, соску которые просят, не перевариваю я их... — почти ласково разъяснял Серега. — Портят они... мешают. Мне на них даже смотреть вредно. Вечером поговорим... и разговор у нас с тобой, сама понимаешь, какой будет.

— Не на такую напал, — все тем же безразличным голосом, но уже без искорок надежды сказала Любка. — Если любишь, как говорил, жить вместе будем. Семья это называется, было бы тебе известно. А если меня просто осрамить решил, обманул меня, ребеночка нашего не полюбишь, не жить тебе больше. К другой не допущу.

— Точно! — почти торжествующе воскликнул Серега. — Так я и знал! — И упавшим голосом прошептал: — Интересные новости...

А тетя Лида поправила, впрочем, без особого злорадства:

— Как раз — не очень уж интересно-то. На каждом шагу, по несколько штук в каждом бараке таких найдешь. Прилипнет какая-нибудь к хорошему мужику, а потом отлипнуть не хочет. А чем он, спрашивается, виноват? Об чем ты-то думала? И чем?

Я сидел на койке шагах в десяти от них и, казалось, каждым нервом чувствовал напряжение, сдерживаемость обеих женщин. Жаль было, что они встретились. И встреча эта не могла кончиться добром. А каждая по-своему была мне дорога. И ни одной из них у меня не было возможности помочь.

Я понимал: не мое дело — пытаться определить, за что они полюбили его. Это уже не имело никакого значения. Главное заключалось в том, что Серега возбудил в них истинную страсть, о существовании подобной он мог только догадываться и подсознательно опасаться ее... Мне даже было жаль его. В конце концов, по-своему он не желал им худа.

И вот они трое молчали. А я думал: ведь до Любки у Сереги было немало и других временных привязанностей, о которых тетя Лида была, конечно, осведомлена, но почему она именно Любку, вернее, только Любку и не захотела терпеть в соперницах?

Обе женщины поникли головами. Серега взглядом уставился в потолок, и лицо его ничего уже не выражало, кроме тупой покорности, которая — я знал — была для него всего лишь передышкой.

Тетя Лида подняла голову, и я почти физически ощутил, как больно ей это делать, и взгляд у нее оказался — не могу подобрать другого слова — очень нехорошим, тяжелым, неподвижным, каким-то

глубоким, и голосом, от которого у меня по коже мурашки проскочили, она тягуче выговорила:

— Много вас, شماкодявок, у него было... плевала я на них.. А ты первая о гнезде всерьез... и можешь его туда утянуть... И главное... — голос у нее стал ровным, обычным, а из глаз хлынули — даже по виду — горячие слезы. — Главное, что любишь ты... за это и получишь... что заслужила...

К моему величайшему удивлению, Любка и сейчас не подняла головы, просто спросила:

— А в чем же это я виноватая? Я же про вас ничего не знала... — Она замолчала, видимо останавливая себя от раздражения, от того, чтобы не упрекать Серегу; встала так медленно, будто у нее болело все тело. — Ни в чем я не виноватая... — и опять села, почти упала как подкошенная.

Серега понимал, в какое он попал положение, но обе женщины пока были еще нужны ему, и единственное, о чем он мог сожалеть, так это о том, что они встретились.

— Иди, говорю, — попросил он Любку. — Покумекать мне надо. Тебе — что? Зародилось в тебе... чего-то, ты и радехонька... А мне всю свою жизнь обследовать требуется. А под горячую руку любая мура в голову забредет. Может, я че и придумаю? — закончил он неуверенно.

— У меня мать отца бросила, обманула, — сообщила Любка тете Лиде. — А ведь не хотела ему жизнь портить. И он ее понял. Бывает на свете любовь. Такая, что и не снилась. И Сережа должен на мне жениться. Я вас моложе. Я люблю его больше. А вы...

— Ну хватит! — раньше тети Лиды крикнул Серега, чутьем уловив, что сейчас Любка еще не то наговорит. — Русским языком тебя просят: охолонись!

Не знаю, кого я сейчас больше жалел — хотя, как говорится, такая постановка вопроса может показаться по крайней мере странной — Любку, в которую я совсем недавно был влюблен, или тетю Лиду, которая научила меня варить жидкую кашу и на моих глазах оказалась красивой женщиной...

Ища во мне сочувствия, Серега сказал:

— Растолкуй ты им обем. Может, в книжках давно все описано. Че они меня не слушают? Одна, видишь ли, языком размахалась. Кто ее просил, спрашивается? Другая — уши развесила. Кто ей велел? И я-то тут при чем? Я бы обейх не обманул. А эта приперлася... — Он начал даже удивляться. — Все перепуталось, испортилось, мне работа лишняя... выгода тогда кому?

Любка только мельком взглянула на него, убрала под шлем свои буйные молодые волосы и направилась к дверям. Я пошел ее проводить.

«Студебеккер» стоял около барака. Любка присела на подножку кабины, долго молчала, шевеля яркими губами, будто подсчитывала что-то в уме, и полоска черных волосиков над верхней губой жила. Потом выражение лица мгновенно стало злым и презрительным, опять некрасивым, черты его обострились.

— Брезговать теперь мной станешь?.. Книжечек уже мне носить не будешь?.. Дескать, спуталась... легла по первому требованию... — Она вдруг вскочила, судорожно обняла меня и зарыдала, и закричала, хотя мимо шли люди: — Ничего-то вы не понимаете! Полюбила я его! А ненавижу его сейчас! Как он мог со старухой этой...

— Тебе куда ехать? — перебил я ее, потому что иначе было не оборвать обозначившейся истерики. — Куда ехать? Чего везешь?

О, чудо-Любка! Сразу замерев на мгновение, придя в себя, она вытерла слезы и ответила все еще дрожавшим голосом:

— На склад с долотьями.

— А ты тут торчишь, а тебя, может, ждут, — старался я привести ее в себя до конца. — Ты же со склада сразу по буровым поедешь...

— Знаю, знаю...

Она залезла в свой «студебеккер» и уехала. А я почему-то мельком про себя отметил, что это очень сильная и надежная машина, и очень послушна Любке.

Был мокрый март — сущее несчастье для производства, связанного с автотранспортом. Страдали и люди, но люди менее требовательны, чем машины...

Грязь перемешалась со снегом или снег с грязью, все это примерзло, а сверху еще мелко, вроде бы и не вредно, но неустанно падал мокрый снег. Даже воздух казался не только мокрым, но и тяжелым.

Бывают озарения в жизни, словно бы и не связанные ни с чем, когда существование твое и тех, кто рядом, становится поразительно понятным, примитивным до неприязни к самому себе за то, что ты не мог увидеть этого раньше, и то, что жизнь вроде бы вдруг ни с того ни с сего обнажает некоторые свои сути, не радует тебя, а подавляет. Ты словно нечаянно раскрыл преступление, совершенное близким человеком.

И вот, стоя в месиве из снега и грязи, я вдруг уверился, что пока я приводил Любку в себя, отправляя ее с машиной на склад, Серега уже ласкал тетю Лиду, и она уже забылась; а вечером он пойдет ласкать Любку, и она забудется.

Но если бы я хотя догадывался, что никто не в силах предугадать, чем закончится любовная драма у нас в бараке, мне стало бы легче. А то я брел по совершенно пакостному месиву, чувствуя, как с каждым шагом влага проникает в сапоги вместе с грязью, как тя-

желеет телогрейка, хлопал себя по лицу — тяжелые и мокрые снежинки раздражали кожу. И я понятия не имел, куда мне идти и что мне делать. Вызов на самую дальнюю буровую показался бы мне сейчас избавлением. Главное, что именно сейчас я ничего не понимал, а несколько минут назад понимал все... И лишь когда ноги мои заledenели, а сквозь телогрейку и остальные одежды проникла холодная влага, я опять понял все, понял с еще большей ясностью. В сознании моем — больном от напряжения и непогоды — сначала возникла тетья Лида, большая, красивая и очень добрая женщина, которая жила одиноко, не видя не только прелести, но и необходимости в случайных связях, а согревала душу тем, что ухаживала, как мать, за нами, двенадцатью парнишками, впервые оказавшимися вне родного дома. Потом я вспомнил Любку, которую любили все, и которая ни одного не одарила тем, что получил от нее Серега. Словно именно для него берегла она свою любовь...

И ведь надо же было им стать соперницами!

Я вернулся в барак, вымылся и от холодной воды замерз еще больше, повесил сушиться над плитой носки, телогрейку и портянки, с горя съел весь хлеб, оставленный на обед и ужин, и завалился на койку.

— Что вы ко мне пристали? — впервые сгрубил я тете Лиде, когда она подошла, и сгрубил лишь потому, что пожалел о не вовремя съеденном хлебе. — Я-то тут при чем? Какое мое дело? — Я даже попытался сострить: — Обращайтесь к другому.

— Плохо он ведь кончит, — спокойно, не замечая того, что я сказал, проговорила тетя Лида, присаживаясь ко мне в ноги. — Я-то что... я все стерплю... а шоферка эта... и ведь как легко он ее обработал... неумелая, правда... ребеночком грозит... А Серега, по-моему, ее не боится? — с надеждой спросила она.

— Боится, — решил я не врать. — Он вас обеих боится. Или, вернее, вы обе неудобные для него. Обе вы к нему одинаково...

— Уж лучше бы он меня в теплые края позвал, — забько поеживаясь, поглаживая свои литые плечи, сказала тетя Лида. — Чего они, оба молодые, могут?... А характер у нее... придавит она Сережу... на стол ей подавать будет и полы мыть. А если он от нее отвернется или не придумает, как ее уважить, она ему не простит, — и в голосе тети Лиды проскользнуло уважение. — Красивая, стерва. Даже ватные штаны и то ей к лицу... как говорится.

— Почему — стерва? Она очень хорошая. И не она его в теплые края звала. А он ее. Она никогда ни с кем не гуляла.

— А сюда зачем сегодня приперлася? Кто ей велел сюда приходить? Чтоб показать, что она меня моложе? Да Сережа еще в этом не разбирается. Ему все одно. Чего она добивалась? И Сережу расстроила.

Сергеа вернулся ночью — как обычно. Электричество в бараки подавали не понятно по какому расписанию: иногда днем можно было включить самодельный кипятильник и нагреть воды для стирки, иногда мы даже обогревались электричеством, делая для этого нехитрые приспособления, а вечерами мы в основном сидели при копилках. Самой неприятной особенностью снабжения нас электричеством было то, что свет мог загореться и погаснуть в любой момент.

Едва Серега открыл дверь, как лампочка погасла. Он в темноте разделся, я зажег коптилку; читал под его долгое и громкое чавканье. Потом Серега слезил в чемодан и дал мне большую щепотку табака, сказав:

— Кури! — в тоне его не было покровительственности, потому что ему я требовался. — Ох, девка какая, — восторженно прошептал он. — Если бы не эта самая любовь... Сматываться мне надо отсюда, — неожиданно закончил он и, прихлебывая кипяток из алюминиевой кружки, долго молчал. Потом он несколько раз оглянулся на дощатую перегородку, из-за которой могла появиться тетя Лида. — Эта, — он кивнул в ту сторону, — с ней еще толковать можно. Что к чему она иногда понимает.

— А тебе обязательно сразу двоих надо?

— А ты сколько тарелок баланды за раз съесть можешь? Разве от меня это зависит? Таким меня на свет выпустили. Я бы их обеих не обидел, если бы Любка слова из меня не вытаскивала. И не знала бы ни одна про другую... а то и про третью... Распустил вот язык, наболтал всякого, вот они и сдурели... А жалко... Мало ведь кто толк в бабах понимает. Даже я и то оплошал. Сматываться мне надо, а я, дурак, не могу, будто тарелку не дохлебал...

Вдруг ударил морозец. На дорогах получилось — хуже не придумаешь. Машины бросало из стороны в сторону, заносило, подбрасывало... Серега возвращался с работы еле живой, видно было, что он с трудом заставлял себя стянуть телогрейку. Тетя Лида в это время уже несла ему таз с теплой водой, снимала сапоги, помогала умываться. И понемногу Серега оживал.

Не знаю, чего добивалась Любка своими почти ежедневными приходами к нам в барак. Серега недовольно, а то и злобно молчал. Тетя Лида выходила из-за своей перегородки и, обхватив литые плечи руками, неподвижно ждала.

Понемногу эта история стала раздражать всех ребят. Сидим мы, бывало, рассуждаем о чем-нибудь, а тут явится Любка, из-за перегородки выйдет тетя Лида, и наступит почти зловещее молчание — хоть уходи. Особенно нам было неприятно, если Любка приходила, когда мы обсуждали положение на фронтах.

Она совсем подурнела, лицо обострилось, покрылось светло-коричневыми пятнами. Говорила она какие-то глупости, подчеркнуто не обращала внимания на сумрачного Серегу и так же внезапно уходила, не попрощавшись.

И хотя положение на фронтах было отрадное — наши наступали, — на нефтепромысле напряжение не спадало. Закладывались все новые и новые скважины, работы нам прибавлялось с каждым днем. Основное бурение шло на левом берегу, и ежедневно, в ледоход, мы, электроразведчики, переплывали Каму туда и обратно. Буровики же настроили себе жилья и неделями не покидали левый берег.

В начале апреля снова все растаяло, в воздухе, как говорится, повеяло весной. Сил у нас прибавилось, и ребята стали возвращаться в общежитие попозднее...

Дорог на нефтепромысле не строили, они были только в городе и вблизи него, а почва была глинистой, и переезды на буровые и обратно отнимали времени чуть ли не больше, чем сама работа.

«Студебеккерам» было легче, чем другим машинам.

Впереди у них перед радиатором была лебедка с тросом. Стоило машине забуксовать или безнадежно увязнуть, шофер разматывал трос, обвязывал его вокруг столба или дерева, включал мотор, и машина сама себя вытаскивала из грязи. Так что Любке было чуть легче, если бы не ее душевное состояние. Я понимал, что развязка приближается, хотя не видел Любки и Сереги подолгу. Тетя Лида выглядела спокойной, побывала в городской парикмахерской — завилась, обрезав косу, подкрасила брови и ресницы, словно утверждая этим, что у нее в жизни все благополучно.

Бездорожье настолько усложняло работу, мы так выматывались, добираясь до буровых и обратно домой, что ели в столовке машинально, без удовольствия, а это значит, что совсем не наедались. Даже маленькое количество пищи надо не сглатывать, а смаковать — тогда и возьмешь от нее все; добравшись до общежития, мы уже могли не умываться, а тетя Лида, занятая собой, давно от нас этого не требовала. Скинув верхние одежды, мы валились на койки. В поездки меня будили сквозь глубокий сон, к машине я шел, пошатываясь, и просыпался окончательно лишь где-то в дороге...

В бараке я появлялся либо тогда, когда все уже спали, либо когда там никого не было, и сразу засыпал, ни с кем не поговорив. И на какое-то время любовная история, центр которой оказался у нас в бараке, была мной напрочь забыта. И если бы мне вдруг сообщили, что кто-то кого-то безумно любит, я бы просто не сразу сообразил, о чем идет разговор.

Но ко всему привыкает человек. Я собрался, выстоял очередь в баню, отпарился, а перед этим сходил в парикмахерскую и стал нормальным человеком, даже сил у меня прибавилось.

Утром я спросил в умывальне Серегу:

— Ты же смотаться отсюда хотел?

— А куда? — вопросом ответил Серега без всякого раздражения или хотя бы недовольства. — Думаешь, так просто? Но — надо. Только бы момент не упустить. Звереет Любка с каждым днем все больше, а у меня к ней проходит все... С лица совсем страшная стала. Да и сам Серега как-то померк за это время.

— Вот нашелся бы умный человек, — говорил он в умывальне, — умный да еще бы с характером, да и выгнал бы меня отсюда. А то привык к теплу-то да и сытости. Надо, надо сматываться, пока беды не стряслось. Ты не смотри, что Лидка тихая с виду, внутри у нее... огонь из березовых дров.

— Так уматывайся.

— Не могу, — признался, помолчав Серега, — не могу куска бросить, пока каждую крошечку не подберу. И другому ни одной крошечки не отдам. Хорошо мне здесь... — Он тяжело вздохнул. — Нет. Сбегу к лешему.

Проклятой ночью, одной из тех, которые царапают память всю жизнь, нам пришлось переплывать Каму, правда, при луне. Все подремывали, даже те, кто за веслами. Вокруг скрежетали, а иногда и стукались о лодку льдины. В метре от берега лодка опрокинулась, мы долго вытаскивали ее, еще дольше не было машины, которая должна была прийти за нами, а когда мы наконец добрались до буровой, то отключили электричество, а когда вдруг загорелись лампы, то всю ночь нас преследовали разные неполадки и ругань буровиков, которым мы задерживали проходку скважины. Под утро мы до того измотались, что готовы были по любому поводу броситься друг на друга с кулаками. Когда же утром подъехали к столовке, она оказалась еще закрытой, и мы заснули в кузове, и начальник легонько, но больно пинал нас, чтобы разбудить и отпустить машину на базу, где она нужна позарез... И мы проснулись и разошлись по своим общежитиям.

У нашего барака стояла Серегина полуторка. Я вошел в комнату, еще на улице начав стягивать одежды, чтобы сразу залечь спать. Но у койки меня перехватил Серега, сказал:

— Расчет я оформил... Машину с грузом перегоню до Оверят, там ее сдам и — на поезд...

Тут же рядом оказалась тетя Лида, проговорила, стараясь оставаться хотя бы внешне ни в чем не заинтересованной:

— И чего ты ребеночка испугался?.. Ну родит... Ничего страшного нет, даже если и двойня появится... Скорее комнату получите... Зря, зря ты ласточку-то свою сизокрылую к хромоногой Серафиме не вытолкал.

— Не ребеночка вашего я боюсь! — сквозь зубы, почти на крике

процедил Серега. — Я бы вас обеих на руках носил, если бы цепями мне не грозили. Я в неволе не могу.

— Никуда ты не уедешь, — раздался Любкин голос. Она вошла в комнату и, как обычно, для начала неподвижно стояла у дверей. Взглянув на Любку, я ощутил, как непреодолимое желание уснуть и нечеловеческая усталость мгновенно оставили меня, хотя и не совсем. Испугался я даже не выражения глаз Любки — обреченного, блуждающего, хотя она смотрела только на Серегу, а то меня испугало, что она не пошла к нему, а словно силой собиралась не выпустить его.

Деревянный чемодан с висячим замком стоял уже не под кроватью, а перед ней; мешок, при помощи веревки превратившийся в подобие рюкзака, лежал на койке.

— Между прочим, — сказал Серега с затаенной злобой, — было бы вам известно, и сто раз я вам об этом говорил: я — себе начальник и заместитель начальника. В жизни моей. В личной жизни моей... — Серега начал медленно приподниматься, все еще стараясь сдержаться. — Не лезь в чужие права. Пожалеешь... — Он устало замолк.

И Любка молчала, будто еще ждала чего-то, потом вздрогнула, погладила себя по уже обозначившемуся животу — будто искала в этом жесте поддержки, крикнула почти:

— Мой ты, мой! Никому тебя не отдам!

У Сереги дрожали губы, он сжал кулаки — я едва не бросился к нему: мне подумалось, что он сейчас избьет Любку, но он не двинулся с места, только дрожь перешла, казалось, с губ на все его поджарое тело, и он визгливо закричал:

— Ничей я, ничей! Свой я, свой я только! Убирайся, чтоб греха не было! Не привязать меня тебе! Я жить хочу!

— Я люблю тебя, — как бы напомнила ему в образовавшейся тишине Любка. — Ребенок у нас с тобой, Сереженька, будет...

— Не напоминай ему, дуреха, о ребенке-то, — сказала тетя Лида. — Не терпит он про ребеночка-то. Дёру он от него...

— Не от него я дёру, — все еще сжимая кулаки, но уже сдержанно ответил Серега. — Не желаю, чтоб мной кто-то командовал. На автобазе, пожалуйста. Там у меня начальников много. А здесь... А ребеночек этот — тоже ведь что-то вроде командира для меня. Убегу от вас обеих, вот гад буду!

— Я-то чем тебе не угодила? — тетя Лида вся сжалась, но произнесла это ласково. — Я тебе подарочка не готовлю...

— Никуда он не убежит, — устало и с сожалением выговорила Любка, присев на порог. — Не уедешь и — все. Не дам. Вспомни, что я тебе третьего дня говорила.

— А чего вспоминать? — сразу окрысился Серега. — Ерунду всякую говорила, пугала меня. Если бы меня две бабы делили, мне к

этому не привыкать. Но вот цепи вы для меня заготовили под названием вашим любовь («любофф»)... так не буду я как шарик или барбос у вас в конуре сидеть, не буду! Я по-своему любить хочу! По-настоящему! Чтоб приказов не было!

— И из каждого города тебе убежать приходилось? — торопливо, чтобы Серега не успел совсем уж оскорбить Любку, спросила тетя Лида. — Вот сейчас ты, слышала я, в Кунгур собрался. И долго там, примерно, проработаешь?

Серега устал. Он налил в алюминиевую кружку кипятка, отхлебнул несколько глотков и лишь тогда ответил тете Лиде:

— Ты бы уж помалкивала. Эта хоть умом еще не выросла, и я ее первый... кавалер, скажем... Не удержать меня вам ничем, понятно?

Любка молчала, словно бы безучастно прислушиваясь к разговору, будто бы мало или совсем ее не касавшегося.

А я вспомнил, как с неделю назад Серега рассказывал мне о их свидании. Был он заметно удручен. Я его не раз видел после свиданий — радостного, умиротворенного, убежденного, что жизнь прекрасна. Он не позволял себе поддаваться дурному настроению, он ведь любил жизнь дерзко и неохватно, и все, что могло помешать этой главной любви, он ненавидел, не терпел. Хотя на глубокую и долгую вражду он был не способен, ненависть Сереги к людям, которые могли помешать ему радоваться жизни, быстро переходила просто в презрение, но — как для него ни странно — он сделал много попыток, по его выражению, оклемать Любку. Это значит, что она должна была избавиться от ребенка и снова стать такой, какой ему и понравилась. Я даже склонен предполагать, у него к Любке, помимо восторженного физического влечения, тлело и еще что-то, отдаленно напоминающее ту самую любовь, проявления которой он так боялся в женщинах.

...Я стоял у плиты, грел над ней руки, хотя уже разомлел от жара, и почему-то думал о том, что дороги совсем развезло... Тепло всегда лишает сил, и я несколько раз покачнулся, и с каждым таким покачиванием мысли мои менялись. И, с трудом выпрямившись, я подумал о том, почему так спокойна тетя Лида — не могла же она быть в каком-то сговоре с Серегой?.. А временами я на мгновение засыпал с вытянутыми над плитой — не очень горячей — руками и вдруг не во сне, а на самом деле наяву сказал:

— Если он тебя не любит...

— Он меня любит, в том-то и дело, — убежденно проговорила Любка, — он просто дикий какой-то и не понимает этого. Разве можно без любви... как мы с ним?

Наконец-то я догадался сесть и налить себе кипятка, а Серега — я уже привык к этому — дал мне щепоть табака, и я с блаженством закурил: табак выгонял из меня сон и голод... Опять они — трое —

молчали, а я боялся этого молчания, один я боялся того, что они — молчат. Будто бы я один знал, чем все это кончится. А никто из нас не знал. Чего собиралась делать Любка, я не имел представления. Тетя Лида стояла, прислонившись к перегородке, обхватив руками свои литые плечи, с таким выражением лица, словно ничего и не происходило. Только Серега дергался: ведь ему надо было сейчас вот ехать...

— Не забывай нас, — сказала тетя Лида. — Не удержать мне тебя, а зла я тебе не желаю. Худо тебе будет, всегда приму.

— Эт — другой разговор, если ты серьезно. И ты на меня не серчай, — удовлетворенно сказал Серега. — Каким мог, таким был. Хвалила ты меня не один раз. И не я себя придумал. Не сам я себя родил.

— И ты ей поверил? — с презрением спросила Любка, вставая с порога. — Да она знает, что я тебя все равно не отпущу. И тут ты жить останешься.

— Меня не отпустишь? — взметнулся Серега, и его вывороченные губы опять задрожали, и опять дрожь от них как бы передалась всему телу. Он сжал кулаки, сдерживая себя (я убежден, что все это для того, чтобы постараться не обидеть Любку), но все-таки заговорил: — А дальше — что? Чего ты со мной делать будешь, нескладная? Вот объясни нам, — он развел руками, словно обращаясь к большой аудитории. — Объясни вот нам, что ты со мной делать будешь, если я от тебя бежать собрался? Если у меня машина вот у дверей стоит? — Серега начал распялываться, сколько ни сдерживался. — На каком таком основании ты мне дорогу загородила? По какому такому праву ты в мою жизнь лезешь? — Серега бросился к вешалке, стал напяливать на себя телогрейку и кричал в лицо безучастной или, вернее, все уже решившей Любке. — Я только на свободе сильный, понимаешь? Нету смысла, понимаешь, никакого смысла нету меня привязывать! Все равно я подохну рядом с вашей любовью!

— Дурак же ты, — невозмутимо сказала Любка, смотря почему-то на плачущую тетю Лиду. — Уж такой дурак, каких свет не видел... Зачем тебе в Кунгур-то отсюда ехать?

Я уже, кажется, говорил, что в душе Серега был добрым, и когда его спросили ласково, он и не смог соврать и ответил тоже ласково:

— От тебя, дорогая моя, бегу. Не получилось у нас с тобой. По твоей вине.

— А у нас с тобой? — спросила тетя Лида, уже отплакавшись и, видимо, распростившись с Сереем.

— Могло бы. Если бы вот не эта. Да еще со своим ребеночком. Да пойми ты меня! — яростно взмолился он, когда лицо Любки исказила гримаса боли и отвращения. — По согласию я на все готов! По согласию! А ты этого шпингалетика сопливого без моего согласия

завела! А-а-а... — чуть ли не выл Серега. — Чего вам толковать! Чего вы понять способны! Все, понимаете, все по согласию должно быть, а не по приказу или штемпелю!

— Забыл ты, что я тебе третьего дня говорила, — с тоской и сожалением сказала Любка и вдруг надела шлем, не подобрав, как обычно, своих буйных молодых волос.

— Нет, не забыл. Порешить меня обещала. На! На! На! — Серега подставлял ей грудь. — На! Нету у тя ножа? — Он бросился к чьей-то тумбочке, вытащил нож, подскочил к Любке, всовывал ей нож в руки, кричал: — На! На! На! Режь! Режь, говорят те! А в неволю я не пойду!

— Псих, — сказала Любка, когда Серега в изнеможении опустился на койку, а она поправляла волосы такими спокойными движениями, словно собиралась на прогулку. — Обидно, что поверила тебе. Враньем меня взял, вот что обидно.

— Нет, это ты врешь! — Серега уже не владел собой, и я собирался бежать и звать кого-нибудь, чтобы унять его. — Вранья ты сама просила! Сама! Это ты без вранья не можешь! Ты! Сама!

Он схватил чемодан и мешок, грудью выбил дверь, она захлопнулась за ним, но не плотно. Тетя Лида подошла, притянула ее на себя, сказала:

— По всем правилам выписался и уволился. Не придерешься. Я сама ему обходной лист подписала. Жалко, что не по-человечески расстались. Это ты все виновата. Да и не любила ты его толком-то. Подберет тебя еще кто-нибудь, и забудешь ты нашего Сереженьку. Он у меня последний был. Скрывать не стану — поеду я его в Кунгуре искать. Мне без него... — Она не договорила.

— Я тоже за ним поеду, — раздельно, тщательно выговаривая каждое слово, сказала Любка, и у меня от недоброго предчувствия похолодели локти.

— Не надо... — попросил я, а тетя Лида схватила Любку за рукав, но Любка вырвалась и бросилась к двери.

Тетя Лида пошатнулась, шепнула: «Она же с машиной...» и села на койку, вся обмякнув.

Пока я одевался, Любка успела сесть в кабину своего «студебеккера», тронуть его с места, а я успел через задний борт влезть в кузов. Серегина полуторка была уже далеко. Но «студебеккер» шел уверенно, мощно, надежно. Я стучал кулаками по кабине, кричал...

Расстояние между машиной и полуторкой все сокращалось и сокращалось. Эта неумолимость совершенно обессилила меня, я лишь шептал:

— Любка, не надо... не надо... не надо...

Серега заметил, что за ним гонятся и свернул на более удобную

дорогу, хотя она и вела в другую сторону. Он просто забыл, что на каждой дороге здесь впереди — подъем...

Полуторка казалась мне обреченной и жалкой.

— Не надо, Любка! — орал я, избив руки о кабину. — Не надо!

«Студебеккер» настигал полуторку, как возмездие. Любкины руки умело и твердо держали руль...

Ее не судили. Не знаю почему. Ее должны были судить хотя бы за то, что она вдребезги разбила полуторку. Разбила так, что собрать ее было невозможно. А может быть, Любку и не надо было отдавать под суд.

Сергея успел выпрыгнуть из кабины и бросился бежать. Любка гналась за ним на «студебеккере» по ямам и канавам, по каким-то трубам, я несколько раз собирался выпрыгнуть из кузова, чтобы не убиться в нем.

На берегу машина так резко остановилась, что я от заднего борта пролетел вперед и головой врезался в кабину. Я чувствовал, что теряю сознание, но заставил себя встать, раскрыть глаза и — увидел: из-под капота валил пар... Сергей (когда этого можно было уже не делать) отвязывал чью-то лодку, оттолкнулся ногами от берега...

На середине Камы лодку перевернуло.

Я еле втащил ставшее тяжелым тело Любки в кабину, сбегал в ближайший барак, чтобы помочь, и очнулся уже в больнице.

Мне рассказывали, что Любка в этот же день сходила к хромоногой Серафиме, изжила ребеночка, а на другой день сама явилась в милицию.

Когда ей сказали, что судить ее не будут, она куда-то уехала.

Тетя Лида навещала меня. По-моему, она больше любила Сергея. Она похоронила его и деловито сообщила мне, посевшая, огружая, постаревшая, что за гробом шла одна... Каждый раз тетю Лиду за руку вводила из палаты медсестра.

И я, выйдя из больницы, сразу переехал в другое место.

САМОЕ ДЛИННОЕ МГНОВЕНИЕ



и редко думал о смерти, но когда мысль о ней все-таки приходила в голову, желал только одного: не умереть бы весной. Ведь именно в эту пору к нему неизменно возвращались силы, он будто молодел и чувствовал биение жизни даже в кончиках пальцев своих огромных, натруженных рук, прошитых темно-синими венами.

Удивительные это были руки: некрасивые, нелепые размерами и формой, они вдруг обретали неожиданную красоту и изящество, стоило им к чему-нибудь прикоснуться, потому что к любой вещи, к любому, даже малому предмету руки эти относились с нежностью и уважением, которое знакомо лишь тем, кто на своем веку много души вложил в созидание вещей. Труд сделал его руки некрасивыми в момент покоя, труд преображал их, когда они делали дело.

И как раз весной-то он и вспоминал о смерти, вспоминал без страха, не веря, что перестанет дышать, что уйдет из этого неуютного, суматошного, очень ему дорогого мира; не верил, потому что врос в этот мир подобно глубокому корню... Ну, а если на то и пошло, лишь бы не весной!

А умер он весной.

Проснувшись по привычке рано, он сразу подивился бодрости, которой была пропитана каждая частичка его громоздкого тела, подошел к окну и толкнул створки.

Холодный, пронзительный аромат черемухи ворвался в комнату.

— Закрой окно, — сонно прошептала жена, — чего тебе не спится?

Он протянул руку и почувствовал, что ему не хватает воздуха, покачнулся.

Подкрался ветер, шире распахнул окно.

А он еще дышал, еще думал, а сердце уже не двигалось. С обидой решил он: сейчас, вот сейчас он умрет.

Но — длинным, бесконечным было мгновение перед смертью, и в это мгновение он вспомнил многое и многому удивился.

Вчера шел с завода, и захотелось ему купить жене букетик цветов.

— Два рубля, — сказала подслеповатая старушка.

— Рубль, — сердито предложил он, торгуясь первый раз в жизни, — везде по рублю продают.

— Два, — упрямилась старушка.

Не денег ему было жалко, просто обидела несправедливость. Не купил цветов, расстроился, чуть не обозвал старушку спекулянткой. Чтобы утешить себя, взял он в магазине бутылку портвейна, который, по сравнению с водкой, считал вредным напитком.

Родные не дали выпить, отобрали бутылку, долго бранили. Он чертыхнулся, ушел на кухню, вбил гвоздь для посудного полотенца и сразу успокоился.

До поздней ночи ходил он по квартире и делал маленькие дела: собрал старые галоши и сложил их в ящик, смазал керосином дверные петли, чтобы не скрипели, песком почистил таз под умывальником, золой протер ножи и вилки.

Каждое движение доставляло ему удовольствие, казалось необычайно важным.

Спать не хотелось. Он тщательно обмел пыль с приемника, купленного неделю назад. Смешно получилось: ушел в магазин за зимним пальто, а вернулся с приемником. Сначала родные дружно бранили его за неразумную покупку, но почти до утра слушали передачи.

Сейчас, в последнее мгновение, он пожалел, что не купил приемника раньше. Вообще, не умел он жить! Так и не добился благоустроенной квартиры, так и не собрался съездить в санаторий, все откладывал да откладывал, не навестил брата, не... не... не... Даже не ухитрился вчера выпить рюмку, не поставил перед женой букетик цветов!

Многого он не сделал. И чувствуя, как в него входит холодом смерть, жалел о несделанном. Маленькой показалась жизнь, короткой.

Уже родные сбежались на крик жены, увидевшей его смерть, а он еще жил, все еще длилось последнее мгновение.

Смеялась за окном лукавая весна, дышала устало и страстно, как молодая женщина, что вынырнула из ледяной воды и раскинулась под солнцем.

И он вспомнил девушку, ту, которая первой познакомила его с ласками, подарила все, чем владела... Остановил он разгоряченного

боем коня около санитарной повозки, где всегда была эта девушка, а тут ее не оказалось. Больше он ее не встретил, потому что к вечеру бросила его наземь пуля.

Вспомнил, как в далекой азиатской деревне, где-то между небом и землей — в пустыне, — вылавливал басмачей, встретил свою будущую жену, как год не трогал ее. А зачем? Год, значит, отнял у радости.

Двоих сыновей своих вспомнил, но не живых, не людей, а бумажки похоронные о их смерти на поле боя.

Вдруг он с облегчением подумал, что умирает не впервые, ведь в сорок третьем году умирал — грохнулся на пол рядом со станком. Тогда вот так же холодно дышала у самого лица смерть, вот так же сбежались люди...

Черемуха за окном расплылась радужными пятнами. Он еще жил. Трудно было смерти сразу завладеть им.

Не собирался он умирать. Вчера, лежа в постели, рассказывал жене о своих планах. Во-первых, к осени уйдет на пенсию, во-вторых, начнет лечиться. Жена молчала, потому что слышала это в сотый раз.

Хорошо, что не ушел на пенсию, хорошо, что купил приемник. Хорошо, что дрался с беляками и басмачами. Хорошо, что в сорок третьем грохнулся на пол рядом со станком... хорошо... хорошо... Длинной, затерявшей начало в дали годов, представилась ему жизнь. Было в ней столько событий, встреч, разлук, горя, радости, праздников, несчастий, друзей, врагов, вина, метелей, солнца, ненастья — что все это слилось в одно радостное ощущение бесконечности жизни.

И не смерть холодила руки, а живой холод металла чувствовали они.

И мертвые пальцы чутко зашевелились, привычно трогая знакомую поверхность какой-то огромной детали...

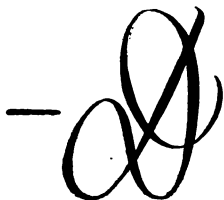
Жалко ему стало родных и близких, которые в непонятном для него страхе суетились вокруг. Что с ними? Чего боятся?

Нет, смерти не бывает, не страшна она, ну вот несколько, потому что не верит он в нее.

«Живем, живем», — радостно подумал он и умер, так и не успев поверить в смерть.

Лежал он, и удивительные руки его, словно живые, покоились на груди, красивые человеческие руки, готовые в любой момент вздрогнуть и начать делать дело...

1958 г.



Десять лет уплыло, как Даша померла. Хорошая баба была, а померла. Бросила, значит, меня одного. Скучища без нее, ровно и не к чему жить-то...

Поперек Камы шевелится лунная дорожка, и кажется, что светло именно от нее, а не от луны. Сюда, на высокий крутой берег, ползет прохлада, густая и влажная.

Старик негромким простуженным голосом говорит:

— Я без реки жить не могу. Трудно дышу без реки-то. Только на берегу и отхожу. Вроде бы лекарство какое принимаю... Даша еще, когда живая была, «окунем» меня дразнила. Смолodu она красивая была, сильнющая. Купаться, помню, на косу поедem, разденется она у воды, а у меня от красоты ее ноги отнимаются. Хоть бы всю жизнь смотрел... Никифоров тут один был. Еще раньше меня к ней сватался. И всю-то жизнь он про Дашу думал. Как на своем «Ретвизане» мимо идет, вот тут, так гудит. Приветы ей, значит, посылает.

Внизу на тропинке слышались голоса и смех. Старик замолчал. Цигарка вспыхивала ярким синеватым пламеньком. Голоса растаяли в темноте, старик продолжал неторопливо:

— Потом старость приковывляла. А мы еще лучше жили. Ночью, если сон страшной увижу, рукой пошевелю — жена рядом, и успокоюся... Денег у нас сроду не было. На что они? Даша больно хорошая была. Только Никифоров этот среди ночи иной раз как вскрикнет... А гудок у «Ретвизана» жалобный был, будто человеческий... Во-о-от... Десять лет я без Даши вытерпел, с каждым годом все больше об ней думаю... Померла, а я больной сделался. Каждая косточка у меня болит, каждый позвонок. Весь я больной сверху донизу. Ране, бывало, занеможу, Даша меня в баньку да как веничком всего ислещет — и нету хворости...

— А где сейчас Никифоров? — спрашиваю я, но старик, видимо, не слышит и продолжает:

— Годов восемь назад сообразил я жениться. Ага. С горя, значит. Ведь встанешь утром — один, днем — обратно один, ночью — тоже. И нашел я себе тут на рейде молодую. Толстую, веселую. Иду как-то вот здесь по берегу, а мимо «Ретвизан» плот тащит и... ага, гудит. Стыд меня заел. Вот как голодный косточку обгладывает, так меня стыд... На пенсию Никифоров ушел и тоже помер. Недавно. Теперь сын у него по Каме плавает... Сегодня капитаном в первый рейс идет. На «Ретвизане», на новом.

Кругом тишина. Но чем больше я вслушиваюсь, тем сильнее убеждаюсь в ее обманчивости. Со всех сторон доносятся звуки и шорохи, и даже сама река не безмолвна, она словно дышит.

Старик молчит, и чтобы продолжить разговор, я спрашиваю:

— А как здоровье у вас? Сердце?

— А ну его, сердце-то. Дурака валяет. То скачет, то останавливается. К врачам меня направляли, анализы со мной делали. Стыдно сказать, чего я только в больницу не носил, чепуху разную в баночках да бутылочках... Тьфу! Лекарства потом всякие пил. На что? Старость не вылечишь.

— Детей у вас не было?

— Трех войне скормили.

Через лунную дорожку прошел катерок, и часть ее некоторое время тянулась за ним.

— Шу-у-умная река стала, — говорит старик. — Ране, бывало, в дальние-то годы, в день один-два парохода прошлепают, а ныне... и теплоходы тебе, и паротеплоходы, и вообще всякие... Многие ночи у меня без сна. На берегу сижу. А дома если, от каждого гудочка-свисточка просыпаюсь. Все мне охота «Ретвизана» послушать... А Никифоров-то... он тоже плотоводом был... Считай, полжизни у меня под ногами палуба, и на земле-то я вроде в гостях...

Видно, как от реки начинает отделяться туман. Тает луна. Исчезает дорожка. Мы долго сидим молча. Я не жалею, что опоздал на трамвайчик и вынужден коротать ночь на берегу.

Река дымится.

— Вот так, значит, — задумчиво произносит старик, — тяжело на реке работать, тревожно... — Он снимает выгоревшую капитанскую фуражку, проводит рукавом по лысине. — Не идет что-то Никифоровский сынок... Нет, вон показался.

Старик резко поднимается, суетливо надевает фуражку.

Сверху — расплывчатым пятном с сигнальными огоньками — приближается буксир.

СЛУЧАЙНЫЙ СПУТНИК

Г

лядя в темноту за вагонным окном, он вздыхал. Вздыхала и толстененькая проводница с черненькими глазами-бусинками.

На пятый день пути она не выдержала, подошла и спросила:

— Почему не спите?

— Не спится, — ответил парень. — А вам, верно, спать хочется?

— Ой, что вы! Совсем нет. Я привычная. Я могу по трое суток на ногах, и ничего со мной не будет.

— Занятная у вас работа, — грустно сказал парень, по-прежнему глядя в окно. — Новых людей много видите.

— Плохо это! — горячо призналась она. — Только познакомишься, а и расставаться пора. Кто на станции сойдет, кто — на разъезде, а кто и на ходу выпрыгнет.

— А кто-нибудь когда-нибудь и вас с собой возьмет, — ответил парень.

— Анюта из мягкого за моряка вышла. Коренастый такой. С гитарой. Играть, правда, не умеет, но у него самоучитель есть. Научится. — Проводница нахмурила полукруглые тонкие брови.

— Будет у вас моряк, — пошутил парень.

— Моряк... — она недоверчиво усмехнулась. — Необязательно моряк. Да я их и не уважаю. Пьют они и хвастливые.

Парень постоял еще немного и ушел в купе. Проводница, прикоснувшись руками к тому месту рамы, где недавно были его ладони, пыталась ощутить тепло. Она едва не расплакалась оттого, что рама оказалась холодной, достала карманное зеркальце, с опаской взглянула на свое отражение и робко подумала: а вдруг случится чудо, и в зеркальце появится красивое лицо... Увы, чуда не случается.

лось, и она ногтем до боли царапала крупные веснушки, словно надеялась сколупнуть их...

Была она влюбчива и все ждала, что и в нее кто-нибудь влюбится из пассажиров. У нее уже была заготовлена фотография (без веснушек) с надписью на обороте: «Кого люблю, тому дарю».

Только не выпало еще случая подарить фотографию кому-нибудь, а дарить подружкам надоело. Легкомысленная, добрая и доверчивая, она надеялась, что люди влюбляются быстро — вот так, как она, в поезде, за несколько дней.

У нее болело сердце, когда она думала, что не найдет утешения в своей тоскливой жизни, что все будут беззлобно смеяться над ее веснушками, но никто не приласкает.

Парень снова вышел из купе. Проводница вспомнила, что он едет до Шумихи. Значит, ему обратно по шпалам километров двадцать топать.

— И чего вы не спите? — спросила она.

— Вот окончил техникум, — словно не расслышав вопроса, грустно произнес парень, — еду работать. Страшновато. С друзьями расстался, а вдруг больше хороших людей не встречу?

— Хороших людей много, — убежденно проговорила девушка. — Только все красивых ищут. А ведь не все красивыми родились.

— Ерунда. Все люди красивые, в общем-то. Как полюбите, так и сами закрусите, — парень улыбнулся.

Она приняла его слова за шутку и тоже улыбнулась. Но парень не смеялся. И она поверила.

— Вот так, — глядя в темноту за окном, сказал парень.

На этом перегоне состав вел Алешка Пахомов, насмешник и анекдотчик. Проводница была готова перенести любые насмешки, выслушать хоть десяток анекдотов, от которых уши горят, стерпеть и то, что Алешка рукам волю дает, только бы у Шумихи поезд шел помедленнее, чтобы парень мог прыгнуть.

Выслушав ее, Алешка удивленно проворчал:

— С ума попятилась. Свихнулась.

Может, он заметил в ее глазах не просьбу, а мольбу, может, ему передалось трепетное биение ее сердца, и он сказал уже спокойнее:

— А мне потом по этому замечательному месту начальство, знаешь, как трахнет? — И Алешка показал руками сразу на два места — на шею и ниже спины. — Тогда что? Тогда прощай, мой поезд, веду в последний рейс.

Проводница больше ничего не говорила, только смотрела на него. Алешка воспользовался случаем и шлепнул ее по одному из тех мест, по которому его самого могло ударить начальство.

Проводница словно не заметила.

И Алешка, повиснув на поручнях, крикнул:

— Не сносить тебе головы, девка! — И с завистью у него это получилось.

Виноватой вернулась девушка в вагон. Парень спал. Она несколько раз прошла мимо открытой двери купе.

Стучали колеса. Летело время.

Наконец она решилась: достала фотографию, прочитала надпись на обороте, кивнула и засунула в карман плаща, который висел у двери... Кто знает, а вдруг, когда затоскует в незнакомом поселке, найдет эту фотографию и поймет, что есть у него еще один друг? А вдруг и обрадуется хоть на минутку?

Вагон спал. Промелькнули огни Шумихи. Девушка думала о том, чтобы не зареветь, когда надо будет прощаться.

А парень думал о том, как трудно придется ему на новом месте. И лицо у него было растерянное.

Поезд будто ткнулся во что-то — остановился.

Проводница спрыгнула на перрон, а парень стоял не двигаясь, с недоверием глядя на огоньки маленького вокзала.

— Приехали, — со вздохом выговорила девушка. — Счастливо вам.

Парень спустился по ступенькам, протянул руку, сказал:

— Спасибо.

Она решила, что он благодарит ее просто так — как пассажир проводника.

— И вам спасибо, — прошептала она.

— А мне-то за что? — недоуменно спросил парень.

— Да так... — слабым голосом отозвалась девушка. — Хорошо мне было. Вроде бы...

И он вспомнил, что дорога оказалась не такой уж длинной; за-сунул руку в карман и вытащил фотографию.

— Это вам на память, — торопливо прошептала девушка, — на память. От меня.

Он задумчиво молчал, держа фотографию в руке.

И девушка поняла, что не нужна она ему нисколько. Поняла это и не заплакала. Даже не обиделась.

Парень положил фотографию в карман и сказал:

— Спасибо.

И девушка проговорила:

— Спасибо.

Они еще не понимали, за что благодарят друг друга, но, когда поезд тронулся с места, лицо у парня было не растерянное, а сосредоточенное...

1955 г.

ВОЗЬМИ ЕЕ С СОБОЙ...

У

слышав стук в дверь, Захар отодвинул от себя фотографию девушки с лукавым лицом, которую давно уже разглядывал, и сумрачно отозвался:

— Входи, мать.

Татьяна Ивановна выглядит почти старушкой, хотя пятидесятилетие ее отпраздновали или, как она говорила, отметили совсем недавно. Невеселый это был день рождения, потому что сын сидел невеселый. И она предложила радостным голосом:

— Иди, иди, конечно. Ведь тебя ждут.

Захар вернулся под утро, и она еще долго слушала его счастливое дыхание.

Невысокая, сухошавая, Татьяна Ивановна двигается осторожно, будто плохо видит. Пальцы рук при этом вытянуты вперед, как бы от желания потрогать встречающиеся на пути предметы.

Она улыбается виновато, словно пришла просить у сына прощения.

— Пила валерьянку, — полувопросительно говорит Захар.

— Профилактика, сынок.

Захар спрашивает резко:

— Неужели ты думаешь, что я уеду один?

— Нет. Вдвоем. С ней.

— И с тобой.

Маленькое лицо Татьяны Ивановны становится растерянным, она водит перед собой руками, словно раздвигая невидимую занавеску, и торопливо бормочет:

— Нет, нет, она не любит меня... я буду мешать вам... Пиши только чаще... и подробнее.

— Вы еще помиритесь.

— А мы и не ссорились.

— А мы и не ссорились! — в голосе Захара проскальзывают раздраженные нотки, и он, извиняясь за них, обнимает мать. — Скоро свадьба, а ты не хочешь быть откровенной, не хочешь ничего посоветовать.

— Советовать, посоветовать, — с невеселой улыбкой произносит Татьяна Ивановна. — Еще не было, наверное, случая, чтобы по дороге в загс сын послушался совета матери, если этот совет...

— Вот уж неправда!

— Правда. Есть ошибки, которых не миновать. Перед ней, — Татьяна Ивановна кивает на фотографию, — я сейчас бессильна со всеми своими советами. Ты сам затеял этот разговор, а я зашла только узнать, придешь ты обедать или...

Захар отрицательно качает головой.

— Тогда не забудь взять ключ.

— Подожди, мать! Ты не веришь, что я...

— Теперь уже не «я», а «мы», сынок.

Высоченный, с широкими угловатыми плечами, бродит по комнате Захар, опустив лохматую голову, гулко стуча ботинками.

— Да, теперь ты и она, — спокойно говорит Татьяна Ивановна и выходит, держа руки перед собой, будто боясь натолкнуться на что-нибудь.

Захар берет фотографию обеими руками и вглядывается в нее так внимательно, словно надеется сейчас же прочесть в девичьем лице точный, все объясняющий ответ.

Лицо у девушки лукавое — оттого, что левая бровь чуть выше правой. Она высокая и сильная, эта девушка. Однажды, когда они гуляли за городом и грянула гроза, Люся хохоча перенесла Захара через ручей на руках.

Она и Татьяна Ивановна встречались несколько раз, почти не разговаривали, но сразу решили — каждая про себя, — что им не быть вместе. Захар долгое время и не подозревал об этом. Обе они уверяли его, что будет так, как он сочтет нужным.

В юности он противился матери единственно из-за упрямства и желания ощущать себя взрослым, но потом извечная правота матери стала необходимее, чем своя собственная. Материнская правота была опорой многих его жизненных решений, а когда появилась Люся, Захар, сам того не замечая, сразу освободился от влияния, вернее, утратил потребность хотя бы советоваться с Татьяной Ивановной. Он-то ничего не замечал, а у нее пропал сон и в душе воцарилось предчувствие тревожной бесконечной пустоты.

Эта девушка с лукавым лицом принесла ей одиночество. Ждать писем, которые, известно, будут приходить все реже и реже, перебирать и перебирать старые фотографии, болеть воспоминаниями и мучительно, а то и просто машинально задавать себе безответный

вопрос: как он сейчас там? Или почти каждый день раскрывать чемодан, решившись немедленно ехать к сыну, и — не ехать, конечно...

— Какая несправедливость... — удивленно шепчет Татьяна Ивановна. — Как я это переживу... — Она вздрагивает, заслышав гулкие шаги, торопливо вытирает ладонями сухие щеки.

— Поедем с нами, — говорит Захар, входя.

После долгого молчания Татьяна Ивановна отвечает:

— Денег мне не присылайте. Они вам самим будут нужны. Только пишите мне чаще и не ссорьтесь.

— Мать, я не понимаю...

— Поймешь со временем. Сейчас для тебя самое главное — она. И это естественно. Вообще, все естественно... Даже то, что вам без меня будет лучше.

— Но почему она не нравится тебе? Она ведь хорошая.

— Я ей тоже не нравлюсь. А может, я тоже очень хорошая. — Татьяна Ивановна силится улыбнуться. — Но дело не в этом. Раньше ты принадлежал себе и немного мне. А сейчас... нет, тебе этого не понять. И ты в этом не виноват.

— И ты меня, мать, не понимаешь, — Захар старается говорить ласково. — Мне нельзя отказываться от большой и интересной работы на замечательном заводе. И я не виноват, что завод этот находится не в нашем городе.

— Это я понимаю, — наконец-то справившись с волнением, медленно произносит Татьяна Ивановна. — Я ведь не хочу мешать тебе. Не хочу. Но... так устроена жизнь... Каждому, сынок, надо пережить то, что ему положено. Каждому — свое.

Раздается негромкий стук в дверь — так небрежно стучат, когда уверены, что к стуку прислушиваются, ждут его.

— Иди, иди, — Татьяна Ивановна улыбается почти без усилий. — Каждому свое, сынок.

Оставшись одна, она почему-то подходит к зеркалу, вглядывается в него, но глаза не слушаются ее, смотрят в сторону.

«Ничего страшного, ровным счетом ничего, — успокаивает себя Татьяна Ивановна. — Просто нервы расшалились. Ведь он счастлив. Разве не ради этого я жила?»

Она бесцельно ходит по комнате, двигается осторожно, будто плохо видит, и чувствует, что с каждым шагом слабеет. Она опускается на диван, застывает, словно надеется этим сохранить силы.

«Конечно, иначе нельзя, — вяло думает она, — будет так, как должно быть. Я останусь одна. Он никогда не поймет, как это для меня ужасно. И винить его нельзя. Никто ни в чем тут не виноват. Наше счастье в детях... Но почему их счастье не в нас?»

Татьяна Ивановна грустно улыбается.

1969 г.

МАМА НАДЯ, ЛЕНЬКА И Я

Почему плакала девочка

Эту комнату мы называли кабинетом, хотя на самом деле она была обыкновенным чуланом. В нем стоял тонконогий столик, тумбочка и стул. На столике сверкала консервная банка-пепельница, рядом — стопка фотографий, придавленная большой галькой. К краю стола была привинчена кофейная мельница. Вот, пожалуй, и все, если не считать пузырька с чернилами, ручки и томика рассказов Паустовского.

Я говорю об этом так подробно потому, что кабинет-чулан и еще комната с крошечным балкончиком в доме на берегу Камы, среди сосен, берез и огородов — это счастье.

Мы приехали сюда из душного пыльного города, вырвались из круговорота заседаний, собраний, планерок, летучек, совещаний и — задышали свежим воздухом.

Вечером, расставив вещи, мы налили в чашки рислинга, охлажденного в ключевой воде, чокнулись, выпили за то, чтобы всем жилось хорошо, и сразу опьянели. Опьянели и запели веселые песни. И хотя Ленька пил не рислинг, а простоквашу, он все равно вроде бы опьянел и пел песни вместе с нами.

Спать мы легли рано.

Утром, едва проснувшись, я вскочил, открыл окно и вылез на крышу; стоял под колючим ветерком, смотрел вокруг и думал. До чего же глупо мы живем, думал я, крутимся с утра до вечера, копошимся, ссоримся, куда-то торопимся, к отпуску дуреем настолько, что первую неделю отдыха ничего не замечаем, не верим, например, что можно целый день проваляться с книгой в руках... Зимой мечтаем о юге, о море, портим себе настроение, вымаливая у профкома путевку. А вот уехал сюда, всего за пятнадцать километров от города, и — какая благодать.

Через час мы сидели на балкончике и завтракали.

— Рыбачить пойдем? — спросил меня Ленька.

— Никаких рыбалок, — сказала мама Надя, — идите лучше в лес.

Лицо у Леньки стало грустным. Он проговорил:

— Смешно. В лес. Лучше рыбачить.

— А если утонете?

Тонуть мы и не собирались, а поэтому обиделись на такие слова. До того обиделись, что есть перестали.

— Идите лучше в лес, — повторила мама Надя, — грибов принесете или ягод.

— Мы рыбачить хотим, — жалобно сказал Ленька, — отпусти нас рыбачить.

— А если утонете? — снова спросила мама Надя.

Тут мы расхохотались. За кого она нас принимает? И зачем это мы тонуть будем?

— Если вы пойдете на рыбалку, — обиженно и строго произнесла мама Надя, — я буду волноваться. Вы хотите, чтобы я волновалась?

Мы совсем не хотели, чтобы она волновалась, но еще больше нам хотелось вытащить из воды несколько ершиков.

— Вы плохие люди, — сказала мама Надя, — вы думаете только о себе. Только бы вам было хорошо. Да?

— Нет, — ответил я.

— Нет, — повторил Ленька.

— Неужели ты не хочешь ухи? — спросил я. — Мы поймаем много ершиков и сварим такую уху, что пальчики оближешь.

— Десять пальчиков, — добавил Ленька. — Мы будем сидеть на дебаркадере и ловить рыбу. Для чего нам тонуть?

Разговор закончился тем, что мама Надя махнула на нас рукой и уехала в город за продуктами.

Мы отправились на рыбалку. Я нес удочки, а Ленька червей в спичечной коробке. И хотя мне тогда было двадцать восемь лет, а Леньке пять — шестой, настроение у нас было одинаковое — замечательное.

Шли мы босиком, и теплый песок приятно щекотал нам подошвы. Через несколько шагов мы увидели, что на скамейке у забора сидит маленькая девочка в красных трусиках. Худенькие плечики ее вздрагивали. Она плакала, держась за лицо руками.

— Плачет, — насмешливо шепнул мне Ленька, — вот рева!

Девочка подняла на нас заплаканное лицо.

Мы остановились. Ленька показал ей язык.

Девочка снова всхлипнула, снова схватилась за лицо руками. Чего это она? Кругом такая благодать, а она плачет, глупая!

— Смешно, — шепнул мне Ленька.

Девочка не обращала на нас никакого внимания, плакала и плакала. Сначала нам стало жаль ее, а потом мы подумали, что жалеть ее нечего. Куклу, наверное, потеряла, или обозвал ее кто-нибудь как-нибудь, а она реветь.

Я посадил Леньку на плечи, и мы стали спускаться вниз по крутому берегу. Галка больно впивалась мне в пятки.

Из-под берега бежали леденющие ключики. Мы быстренько прыгали по холодной земле и по шатким доскам поднялись на дебаркадер.

Закинули удочки и сидим важные, гордые; нам кажется, что темно-зеленая вода так и кишит ершами. Они ходят огромными стаями и сейчас как набросятся на наших червяков...

Не клевало.

— Чего это она плакала? — спросил Ленька.

— Не знаю, — ответил я. — Жалко?

— Немного.

Мы переменили червяков, поплевали на них, снова забросили удочки. Наверное, в Каме было много-много рыбы, но ни одна из них не желала, чтобы мы сварили из нее уху.

— Может, ее настукал кто-нибудь? — спросил Ленька.

— Бывают такие, — согласился я.

Мы снова переменили червяков. Снова забросили удочки.

Не клевало.

И стало нам грустно, до того грустно, что мы взглянули на берег, туда, где сидела и горько плакала девочка в красных трусиках.

— Может, ее умываться заставляли, а она не любит умываться? — спросил Ленька. — Помнишь, я в детстве такой был?

— А может, у нее зубы болят? — спросил я.

Мы смотрели на неподвижные удилища и вспоминали маму Надю. Она, как всегда, оказалась права. Не надо нам было идти на рыбалку, ничего из этого не получилось. Уж если мама Надя против чего-нибудь, лучше соглашайся, иначе будет у тебя неудача.

— Посмотрим на нее? — предложил Ленька.

Мы смотрели удочки, высыпали червяков в Каму и поднялись вверх по берегу.

Девочки на скамейке не было.

— Ушла, — сказал я, — успокоилась и ушла. Играет сейчас.

— А вдруг все еще плачет?

Долго мы сидели на скамейке, раздумывая над тем, почему же плакала девочка и где она сейчас, плачет или нет.

Придя домой, мы старались не смотреть друг другу в глаза. Стыдно было. Маму Надю не послушались — раз, ни одного ерша не поймали — два, и девочка — три.

Потом мы сварили картошку, надергали в огороде луку и сели обедать.

— Девчонки всегда плачут, — сказал Ленька, — бабушка говорит, что у них глаза на мокром месте.

— Какое нам дело до каждой ревы, — ответил я. — Она, может, по сто раз в день плачет.

Решили поспать. Вынесли на балкончик матрас, подушки и легли.

Несколько раз мне казалось, что я засыпаю. Но стоило мне обрадоваться тому, что сон пришел, как глаза мои открывались.

— И чего я про нее думаю? — спросил Ленька.

Мы встали, и каждый занялся своим делом. Я читал, Ленька пускал корабль в бочке с водой.

А в общем было нам грустновато.

Ничего, скоро вернется из города мама Надя, и нам сразу станет весело. Привезет она разных вкусных вещей, а главное — сама придет. Когда мама Надя дома, жить как-то легче.

Мы вышли на берег, чтобы встретить ее. Мы махали руками и прыгали от радости, когда речной трамвайчик проплывал мимо. С трамвайчика нам не ответили. Мы перестали прыгать и сели.

Много людей сошло с трамвайчика на берег, но среди них мамы Нади не было.

Грустные сидели мы на берегу и тихо пели песенку:

Лед по Каме не плывет,
Наша мама не идет.
Кама, Кама...
Где же наша мама?

К пристани подошел второй трамвайчик, а мама Надя опять не приехала.

Мы еще раз спели нашу песенку.

Когда человеку грустно, он ничего не может делать. Мы прогулялись по берегу, посидели на той самой скамеечке, на которой утром сидела и горько плакала девочка в красных трусиках.

Третий трамвайчик подошел к пристани. Много людей высыпало на берег, но среди них не было той, которую мы ждали.

— Безобразие, — сказал Ленька.

Плакать мы, конечно, не плакали, но вздыхали враз и громко. Вдруг видим: идет по берегу та самая девочка в красных трусиках и улыбается.

— Чего это она? — спросил Ленька. — То ревет, то улыбается!

А мне подумалось, что было бы здорово, если бы девочка подошла к нам и спросила:

— Почему вы такие грустные?

Мы бы рассказали ей о своем плохом поведении, пожаловались бы, и нам стало бы легче.

Но девочка прошла мимо нас.

Какое ей до нас дело? Мы грустные, а она веселая.

— И чего ей смешно? — всхлипнул Ленька.

— Может, у нее мама приехала? — спросил я.

Мы вернулись домой и сели пить чай. Делали мы это для того, чтобы убить медленное время. Выпили по целых три чашки, вымыли посуду.

И когда нам стало уже не грустно, а страшновато, приехала мама Надя. Мы по несколько раз поцеловали ее в обе щеки.

Она улыбалась и молчала. Она и без наших рассказов поняла, что мы во всем раскаиваемся.

Этот красивый моряк

— Опять ты обидел ее? — спросил я Леньку. — Выпороть тебя не мешало бы за такие дела.

— Детей бить нельзя. По радио передавали, — ответил Ленька.

Он стоял передо мной, опустив круглую, наголо остриженную голову, и время от времени проводил руками за резинкой своих грязных, бывших когда-то желтыми трусиков. Делал он так не потому, что они спадали, а, наоборот, потому что резинка была тугой. Утром мама Надя советовала ему надеть другие трусики, иначе живот заболит, но Ленька упрямо сказал:

— Замечательные трусики, а резинка у них слабая. И живот у меня, будь спокоен, закаленный.

Теперь живот его был в красных вдавленных полосах, будто его бечевками стягивали. Лицо у Леньки было вымазано сажей — это он играл в негра.

Мама Надя воскликнула:

— Ведь вчера только ты дал слово вести себя хорошо!

Ленька и пришел ко мне жаловаться.

— Зачем ты обидел ее своим отвратительным поведением? — спросил я.

— Она говорит, что у меня твой характер, — с гордостью ответил сын и, понизив голос, добавил: — Она все равно меня любит. И тебя тоже.

— Ты думаешь, что тебе не попадет?

— Может быть, попадет, — согласился Ленька, — но она нас все равно любит.

Ему попало, и здорово. Во-первых, его не отпустили бросать гальки в Каму, во-вторых, вымыли горячей водой, в-третьих, сказали, что в ближайшее время, впредь до особого распоряжения, он не получит мороженого.

Сейчас Ленька был чистенький, свеженький и притихший.

— А вот на крышу вылезу, — спросил он, — попадет?

Я кивнул.

— А она меня все равно любит.

Ленька был прав. Мама Надя любила нас и прощала нам все. Иногда, правда, нам доставалось, но в конце концов мы получали прощение. И мы всегда думали: простит! Не выгонит же она нас из дому! Куда она без нас денется? Кому в воскресенье будет пирожки стряпать?

Но в этот день мама Надя, видимо, решила доказать нам, что ее терпению и любви пришел самый настоящий конец.

Днем мы с Ленькой, убедившись, что она спит и ничего не слышит, вылезли через окно на крышу, что нам было строжайше запрещено. Такую мы увидели красоту, что забыли обо всем.

Хлопнули створки окна, и раздался спокойный голос мамы Нади:

— Вы хулиганы. Вам хочется упасть с крыши и поломать себе ноги. Пожалуйста, падайте сколько вам угодно. Мне это абсолютно безразлично, потому что обоих вас я уже ни капельки не люблю.

А мы и не поверили. Мы подумали, что кого же ей еще можно любить, если не нас?

Мы сидели на крыше, пока нам не надоело, ждали, что мама Надя позовет нас и тут же простит.

Но она не звала нас.

Когда мы влезли через окно в комнату, то не увидели мамы Нади. Мы сбегали на пристань, заглянули в магазины, к знакомым — нет. И все-таки мы были уверены, что она простит нас, и не очень беспокоились ее исчезновением.

Не беспокоились, пока не увидели у калитки нашей дачи моряка. На белом кителе его сверкали изумительной красоты пуговицы, на груди были ордена и медали, а сбоку висел кортик.

Солнечный луч попал на золото кортика и стрельнул мне в глаз. Я зажмурился.

Мы стояли, разинув рты. Это был красивый моряк и, наверное, смелый.

Тут мы вспомнили, как однажды мама Надя сказала нам, что у нее есть знакомый моряк, с которым она училась в школе, что этот моряк никогда ее не обижал, даже тогда, когда еще и не был моряком, и что он, между прочим, красивее нас обоих, и что она выйдет за него замуж, если мы будем вести себя плохо, и будет у них новый сын, лучше, чем Ленька.

И тут нам стало не по себе.

А моряк спросил, где ему разыскать женщину по имени Надя, фамилии которой он не знает, потому что она вышла замуж и переменила фамилию.

Как нам хотелось обмануть этого красивого моряка! Как нам хотелось сказать ему, что никакой Нади здесь нет, а если даже она здесь и живет, то его это нисколько не касается, пусть плавает по своим морям и океанам и не ездит сюда совсем. Нечего ему здесь делать.

Но мы не соврали, мы сказали, что Надя живет здесь, что она наша.

И показалось, что моряк взглянул на нас с усмешкой. Дескать, невозможно даже и подумать, что Надя могла променять меня на вас. Вот возьму и увезу ее с собой.

— А она нас любит, — дрожащим голосом сказал Ленька. — А то что мы иногда ссоримся, то ерунда.

— Ссоритесь? — спросил моряк. — Почему?

Что ответить, мы не знали, потому что сейчас действительно не могли понять, зачем мы с ней ссорились и обижали разными глупостями.

— Можно ее подождать? — спросил моряк.

Вздохнув, мы ответили, что можно.

Мы даже угостили его чаем.

Моряк съел три шоколадные конфеты.

А мы не теряли времени даром: натаскали полный бак воды, чтобы мама Надя была довольна; начистили овощей для супа, подмести пол.

А моряк стоял на балкончике и курил сигарету за сигаретой, стряхивая голубой пепел на крышу.

Мы знали, о ком он думает. Мы знали, что она любит нас, а не его, хотя он и красивый.

И все-таки нам было не очень весело.

— Может, она сегодня и не придет! — громко, так, чтобы слышал моряк, сказал Ленька. — Возьмет да и не придет.

Мама Надя тут же пришла.

Она не обратила на нас внимания, поцеловала моряка и проговорила:

— Хорошо, что приехал.

А моряк развернул сверток и протянул ей набор духов в зеленой коробке.

Мы чуть не закричали. Он хитрый, этот красивый моряк! Он подарил ей именно тот набор, о котором она давно мечтала.

— А сегодня не Восьмое марта, — насмешливо сказал Ленька.

— Есть на свете люди, — ответила мама Надя, — которые хорошо ко мне относятся всю жизнь, а не только Восьмого марта.

Вот так...

Мама Надя сидела с моряком на балкончике, и они о чем-то говорили, смеялись.

Моряк курил сигарету за сигаретой, стряхивая голубой пепел на крышу.

— Давай залезем на крышу, — предложил Ленька, — и будто бы упадем. Может, она пожалеет нас?

Мы вылезли через окно на крышу, сели у самого края. Мама Надя отлично видела, что мы рискуем жизнью, но ничего не сказала. Она вела себя так, словно нас не было не только на крыше, но и на свете!

А потом она сказала, чтобы мы готовили себе ужин, а она сейчас уедет со своим замечательным другом в город и пойдет в театр смотреть веселую комедию.

Это было уж слишком, но мы промолчали.

Мама Надя надела свое лучшее платье, наше любимое платье — голубое в белый горошек.

— Какая ты красивая, — сказал моряк.

А мы и без него знали, что она красивая! Только не говорили ей об этом. Подумаешь, приехал тут, открытие сделал! Мы смотрели на моряка и старались улыбаться.

Он был весь блестящий, чисто выбрит, на брюках — острые складки.

— Я больше в негра играть не буду, — шепнул мне Ленька, — а ты почаще брейся.

Мы проводили их до калитки.

— Когда приедешь? — спросил Ленька, шмыгнув носом.

— После спектакля, — весело ответила мама Надя.

Мы долго смотрели им вслед. Если бы вы знали, как нам было обидно!

До поздней ночи мы сидели на балкончике.

И молчали.

Видимо, мы получили по заслугам.

— Кортик у него, по-моему, не настоящий, — сказал Ленька.

— Нет, кортик у него настоящий, — возразил я.

— А может, он и не моряк, — сказал Ленька. — Бывают такие: форма морская, а моря и в глаза не видели.

— Нет, — сказал я, — это настоящий моряк. Он плавал по настоящим морям и океанам. И как бы ему ни приходилось трудно, пуговицы на его кителе всегда сверкали. И как бы ему ни было трудно, он не забывал ее, которую знал еще тогда, когда не был моряком.

— Тогда понятно, — сказал Ленька.

Дачный поселок спал. Одни мы не спали. Ждали маму Надю. И совсем не трудно догадаться, о чем мы с ним думали.

— Ты разбуди меня, если я усну, — попросил Ленька. — Как только она вернется, сразу разбуди. Мне необходимо с ней серьезно поговорить. Ладно?

Архип

Архип — это снегирь, симпатичнейшая птица.

Купили мы его случайно. Ходили как-то с Ленькой на рынок за картошкой. Идем обратно и слышим птичий гомон. Дело было в декабре, а тут свист-пересвист, чириканье, будто ранней весной, когда каждая живинка свой голосок пробует.

Смотрим: замерзшие мальчишки продают нахохлившихся в клетках птиц.

Спрашиваем у одного мокроносого продавца, сколько стоят его красивые щеглы.

— Пятнадцать штука, двадцать пять пара да за клетку пятнадцать, — протараторил мокроносый продавец.

Таких денег у нас не было.

Потом мы увидели в сторонке маленького грустного человека в мохнатой шапке. В руках он держал клетку со снегирем.

Спросили мы, сколько стоит такая птица.

— За восьмерку отдам. Да за клетку десятку. Всего-навсего восемнадцать рублей.

Мы вздохнули и пошли прочь.

— Пятнадцать за все удовольствие! — грустно крикнул продавец. — Почти бесплатно отдаю Архипа.

Тогда мы честно признались, что денег у нас одиннадцать рублей — две трешки и одна пятерка.

Грустный продавец внимательно оглядел нас и спросил:

— Любить Архипа будете крепко?

— Еще как! — ответили мы.

— Берите мое счастье за две трешки и одну пятерку! — продавец махнул рукой. — Прощай, Архип! Плакать я без тебя буду дни и ночи.

— Почему же ты продаешь его? — спросили мы. — Почему же ты свое счастье за одиннадцать рублей продаешь? Неужели ты без денег жить не можешь?

— Не деньги мне нужны, — грустно ответил продавец, — я и без денег счастливый человек. А только нету у меня никакой возможности свое счастье держать. Злые люди — соседи — выжили его...

Мама Надя не обрадовалась нашей покупке, сказала:

— Повернуться негде, а вы целый зоопарк принесли.

Мы долго искали место, куда бы поставить клетку. Проще было бы вынести ее на кухню, но там обитал страшный кот Влас, которого боялись даже собаки.

Страшнее Власа была его хозяйка — наша соседка Анастасия Емельяновна. Она завидовала всем счастливым людям, если даже их счастье стоило всего две трешки и одну пятерку.

Больше всего на свете Анастасия Емельяновна любила ругаться.

Выйдет она утром на кухню, довольная, радостная, и рассказывает:

— Море я во сне видела. Стою на берегу и с морем ругаюсь. Уж так я его отчихвостила!

Мы вспомнили рассказ грустного продавца о злых соседях и повесили клетку над книжной полкой.

Дали Архипу клюквы.

Возьмет он ягодку, высосет сок и как тряхнет головой — брызги во все стороны.

Потом он запел грустные-прегрустные песни. Жалко нам его стало. Мама Надя открыла клетку. Архип вылетел, сел на шкаф и запел.

Утром мы проснулись от его пения. Нам даже показалось, что комната стала выше и шире.

Архип завтракал вместе с нами — прыгал по столу, лузгал семечки, сосал клюкву да воду из блюдца пил.

Я уехал на завод, мама Надя — в библиотеку, а Ленька в детский сад. Весь день я вспоминал о снегире, и работалось мне очень-очень весело.

Вечером Архип встретил нас радостным пением. Сидим, слушаем — хорошо!

Вдруг на кухне начался трам-тарарам, и раздался голос Анастасии Емельяновны:

— Измучили кота! Птицу развели! А кот волнуется! Нервный стал!

Теперь каждый раз, выходя на кухню, она устраивала трам-тарарам и громко жалела кота Власа.

Мы помалкивали.

Когда я платил деньги за квартиру, домоуправляющий спросил:

— Что же это вы птиц на коммунальной жилплощади разводите? Антисанитарией почему занимаетесь?

Я объяснил, что антисанитарии снегирь выделяет не так уж много, что...

— Не знаю, не знаю, — перебил домоуправляющий, подозрительно рассматривая меня, словно отыскивая следы снегиревой антисанитарии.

К нам явилась комиссия — целых шесть человек. Так как все сразу они не могли уместиться в комнате, то заходили по трое и спрашивали, почему мы издеваемся над пожилой женщиной, матерью троих детей. Потом они писали акт, долго беседовали с Анастасией Емельяновной, убеждая ее, что пожилой женщине, матери троих детей, кляузничать стыдно.

— Есть на свете правда, — прижав к груди сонного Власа, отвечала она. — Много вас, бюрократов, развелось! Сегодня они птицу купили, завтра собаку привокоут, а послезавтра? А? Я со свиньями жить не хочу! — и выставила комиссию за дверь, да еще вдогонку пообещала: — И до вас доберемся!

Через несколько дней меня вызвали в завком и спросили, почему я издеваюсь над матерью троих детей.

Опять приходила комиссия, опять писали акт, опять уговаривали Анастасию Емельяновну не кляузничать, и опять она выставила комиссию за дверь, и опять кричала вдогонку:

— Есть правда на земле! Развелось вас, бюрократов, на нашу голову.

К счастью, Влас стянул у нас из супа курицу, и несколько дней мы жили спокойно. Я на радостях починил соседке электрический уют, переменял шартиры у шкафа, в воскресенье сделал проводку для радио.

Архип распевал всюду!

По вечерам он купался. Сначала он прыгал вокруг миски, потом садился на край и — в воду. Замрет и — давай трепыхаться.

Пусть вместе с клеткой он стоит всего одиннадцать рублей, жить в его компании было веселее. И мы жалели грустного продавца, который испугался злых людей и расстался со своим счастьем.

Анастасия Емельяновна купила репродуктор. Ну, думаем, будет она теперь слушать радио. Репродуктор гудел он напряжения. Архип забился в угол. На кухне начался трам-тарарам. Соседка кричала:

— Подумаешь, образованные! Нарочно кастрюлю не закрыли, чтоб кот ихнюю курицу унюхал! Я знаю, сейчас они насчет радио зажалуются! А что, мне и радио послушать нельзя?

Первой не выдержала мама Надя, сказала:

— Я так не могу. У меня голова заболела.

— Надо сшить шапки с большими ушами, — прошептал Ленка, — и уши закрыть. Пусть себе кричит, а мы ничего не слышим.

Домоуправляющий посоветовал:

— В таких случаях лучше отступить. Сдайте вы свою птицу в зверинец.

Терпели.

Но жалко было Архипа, который даже есть перестал. Решили мы его выпустить.

— Куда же он зимой полетит! — заплакал Ленка.

Мама Надя прикрикнула на него, он заревел еще громче, я рассердился на маму Надю и выскочил из комнаты.

— Послушайте, — ласково, сквозь зубы сказал я Анастасии Емельяновне, — давайте перестанем. Пожалейте нас. Что мы вам плохого сделали?

Презрительно посмотрев на меня, соседка закричала:

— Я издеваться над собой не позволю! Думаете, если у вас образование...

Схватил я пустую трехлитровую банку и трахнул ее об пол. Влас со страху вспрыгнул на стол, и оттуда полетели миски и тарелки.

— Я тебе покажу! — кричал я. — Окна перебью! Ноги переломлю! Все провода оборву!

Что со мной приключилось, до сих пор не понимаю.

Тишина.

Слышу — запел Архип, сначала тихо-тихо, а затем все громче и радостней.

Анастасия Емельяновна посмотрела на меня с уважением и стала подметать пол.

Толстая тетя в голубом халате

Была такая песенка: «Надену я белую шляпу, поеду я в город Анапу».

И очень часто, устав от работы, мы вспоминали эту песенку, из которой знали всего две строчки.

Анапа была для нас — неизвестно почему — символом жизни, пронизанной солнечным светом, теплым и беззаботным краем, где все люди добры и красивы, где есть море — то самое чудо природы, которое мечтает увидеть каждый и которого мы еще не видели.

Белую шляпу я купил зимой. Примерил — здорово! Без шляпы я самый обыкновенный человек, а надену ее — и появляется в моем облике что-то солидное.

Долго мы не могли собраться в Анапу, пока однажды не взглянули друг на друга и не решили:

— Едем! В Анапу!

Я отказался от нового костюма, а мама Надя — от туфель, а Ленька дрожащим голосом заявил, что может прожить и без велосипеда. И добавил:

— По крайней мере, это лето.

В поезде нам стало известно, что мы «дикие». Оказывается, так называют нормальных людей, которые едут отдыхать без путевок.

Об этом нам сообщила толстая тетя в голубом халате. Сама она ехала в дом отдыха. Мы не стали ее расспрашивать, для чего ей ехать в дом отдыха, ведь еще больше растолстеет! Пусть, не жалко...

— Надену я белую шляпу, — запел Ленька.

— А где шляпа? — спросила мама Надя.

Стали искать.

Даже в чемодан заглянули.

Пропала шляпа!

— Вот, пожалуйста, — сказала толстая тетя в голубом халате, — плацкартный вагон. В купированных вещи не теряются. А всего лучше ехать в мягком.

— Встаньте-ка, — попросила мама Надя.

Тетя встала, мы взглянули на сиденье, — шляпы как не бывало. То есть она была, но главного — вида у нее уже не было. А у шляпы главное — вид.

Тетя чуть не расплакалась, предлагала нам деньги, свою шляпу, хотела записать наш адрес. Мы объяснили, что шляпы нам не жалко почти, выбросили ее в окно и помахали на прощанье рукой.

А в Москве на вокзале мы ловко сбежали от тети.

Надо ли рассказывать, как хорошо нам было?

Мы долго стояли на Красной площади, смотрели на смену почетного караула у входа в Мавзолей, прошли по улице Горького, потолкались в арбатских магазинах и — сели в поезд.

В купе с нами ехал студент и важный дядя. Студент у соседей дни и ночи играл в преферанс, и мы его почти не видели.

Важный дядя смотрел на нас с презрением, будто мы были безбилетниками.

На крючке над его головой покачивалась белая шляпа — точно такая же, какая была у меня, пока на нее не опустилась толстая тетя в голубом халате.

Весь день дядя спал с газетой в руках. Если она соскальзывала, дядя моментально просыпался, ловил ее и мгновенно засыпал.

Мы уважали его до боязни и разговаривали при нем шепотом. Стоило нам заговорить чуть погромче, как дядя открывал один глаз, и мы замолкали.

Усатая проводница покрикивала на всех пассажиров, а важный дядя покрикивал на нее, и она виновато кивала головой.

Анапа оказалась похожей на деревню, и не было в ней ничего особенного, кроме моря и солнца.

Сначала мы даже и не поверили, что перед нами самое настоящее море. Оно пахло водорослями и солью, глубиной и свежестью. Оно было разноцветное и живое. А мы были счастливыми.

— Я морем напился! Я морем напился! — восторженно кричал Ленька. — Честное слово, оно само мне в рот заскокнуло! Оно соленое!

К вечеру мы обнаружили, что нашим соседом был тот важный дядя, с которым нам пришлось ехать сюда в одном купе.

Он — будто ни разу в жизни не видел нас — простествовал мимо, а мы даже поздороваться испугались.

Собачонка Чижи́к бросилась к нему с радостным визгом, но дядя так посмотрел на нее, что она примолкла и виновато замахала хвостиком.

Дядя вынес во двор раскладушку, лег, развернул газету и захрапел солидно, с достоинством.

Мы сидели в беседке под огромным раненым тополем. Ранило его осколком снаряда в войну. И хотя он не упал, хотя по-прежнему одевался листво́й, большое дупло напоминало о его беде.

Над нами было густое небо. Невдалеке ровно дышало живое море.

— Он ведь тоже герой, да? — спросил Ленька, глядя тополь.

— Герои — это которые с орденами, — ответил из темноты важный дядя. — А будь ты хоть весь в дырках...

— Пора спать, — перебила мама Надя и повела Леньку в дом. А Ленька спросил:

— Этот дядя в дырках или нет? Как по-твоему?

Когда они ушли, я сказал:

— Зачем же это вы при ребенке...

— И дети с малых лет должны правду знать, — проговорил дядя таким наставительным тоном, что я побоялся спорить.

С утра мы уходили к морю и возвращались поздно. Если Чижи́к встречал нас радостным лаем, мы знали: дяди еще нет дома. Если Чижи́к виновато махал хвостиком, значит, дядя спал во дворе с газетой в руках.

Как-то я сидел в беседке один. Распахнулась калитка, ко мне нетвердыми шагами подошел важный дядя и плюхнулся рядом.

— Отдыхать надо без семьи, — заговорил он. — Что за отдых, я не понимаю, с детьми и женой? — От него несло спиртным, и слова он произносил с трудом, будто боролся с ними. — У меня жена... — дядя загадочно округлил глаза, словно намереваясь сообщить тайну, — вот такой ширины... — и показал руками размеры своего собственного корпуса. — Королева Марго... — Он достал из кармана бутылку, налил в стакан. — Ну будем здоровы и прочее, — выпил и облизнулся. — Не вино, а ситро. Вообще, безобразий у нас — куда ни ткнись, везде. — Дядя выпятил толстые мокрые губы. — С водкой и то перебои бывают.

— Семья у вас большая? — спросил я, чтобы перевести разговор на другую тему.

— Семья? — он как-то странно хмыкнул или хрюкнул, будто его коротким ударом стукнули по горлу. — Семья, семья, — с одной и той же кислой интонацией повторил дядя. — Сын и две примадонны. Вот летом и отдыхаю — живу! — он хлопнул себя по широкой пухлой груди. Жесткие волосы на ней прокалывали шелковую рубашку. — Я вообще, — он плотоядно осклабился. — А что? Надо жить. Жить

надо... Вот вы своего ребеночка от правды бережете. А зачем? Нет, я своим чадам говорю, что сволочь, она завсегда легче живет. А потому и дольше. Ясно?

Казалось, что дядя не произносил слова, а жевал их и выплевывал. Он, давясь, допил остатки вина, взял бутылку за горлышко и швырнул в сад.

— Это свинство, — сказала из окна мама Надя, — поднимите бутылку.

— Хозяин уберет, — сказал важный дядя. — Вы его не жалейте, спекулянта. Сидят на нашей шее, фрукты-овощи... Вот вы, — он нагнулся ко мне, — вроде бы интеллигент, а на шляпу, на шляпу зарабатывать не можете! — И хохотнул, и ушел, ломая кусты.

Утром мы лежали на пляже и обсуждали: переезжать нам на другую квартиру или нет. Вдруг слышим Ленькин голос:

— Здравствуйте, тетенька!

Смотрим: а это наша знакомая — толстая тетя в голубом халате.

Ветер откинул полу халата, и мы увидели над коленом большой глубокий рубец. Некрасивый.

— С войны осталось, — виновато сказала она, запахивая халат, и повернулась к морю.

А оно, живое и сильное, подползало к ее ногам.

Здесь, у берега, оно было мутное, а там, где летали чайки, — чистое, прозрачное, — чудо природы...

Дед

Говорили, что он умер оттого, что ушел на пенсию. И хотя это невозможно ни доказать, ни опровергнуть, — кровоизлияние в мозг могло произойти и раньше и позже, — я согласен. Понимаете, есть что-то очень жестокое в том, что человеку, отдавшему всю жизнь работе, приходится бросать ее сразу.

Помню удивленное, виноватое, растерянное лицо Ленькиного деда, когда он утром, тяжело и громко вздыхая, слонялся по квартире в первый день пенсии. И всем нам было почему-то неловко, неудобно перед ним.

За несколько дней он постарел, еще больше сгорбился. Не знаю, что бы он делал, если бы не внук.

Отношения Леньки и деда можно было определить только одним словом — дружба. В ней не было приливов и отливов, взлетов и падений — ровное, неизменное чувство.

Пятилетний внук и пятидесятивосьмилетний дед отлично понимали друг друга. Объяснялось это, видимо, еще и тем, что нам, заня-

тым повседневными делами и каждодневными обязанностями, некогда было заглядывать в свои и чужие души. Ведь жизнь делает сначала человека черствым: разрушая юношеские иллюзии, она дает взамен умение ограничивать себя в желаниях. Но с годами человек, нисколько не отказывая жизни в виртуозной способности кромсать иллюзии, приходит к мысли, что надо быть таким, каким ты и явился в этот мир — наивным, простодушным, сердечным и все открывающим заново.

Вот на этом старость и детство сходятся в отличие от молодости и зрелости, у которых почти нет точек соприкосновения. Старик умом, а младенец сердцем чувствует, что жизнь прекрасна сама по себе, и стоит пережить многое, чтобы уметь радоваться тому, что иные считают пустяками.

О! Как они — дед и внук — умели жить! Как они умели из самых обыкновеннейших, зауряднейших дел делать радостные события! Даже из трамвайной поездки они приносили столько впечатлений, что разговоров и переживаний хватало надолго.

Деду не хотелось, чтобы люди замечали его старость, и он был благодарен внуку, когда тот заставлял его играть в футбол. Леньке хотелось быть взрослым, и дед, понимая и уважая его желание, покупал ему в трамвае билет и вместе с ним радовался появлению контролера.

Жили мы тогда рядом с кладбищем, и похоронные процессии были для нас обычным, а для Леньки веселым зрелищем.

Когда старуха из соседнего подъезда радостно спросила:

— А если помрет дед-то?

Ленька ответил:

— А я бум-бум-бум! — изображая удары медными тарелками. Старуха долго хихикала, смущенно закрывая лицо рукой.

Потом я получил комнату, и дед почти каждый день через весь город приходил навещать своего друга.

Последний раз он зашел к нам дня за два до смерти, сидел какой-то притихший, часто произносил «да-а», не сводя глаз с внука, и уже у порога сказал:

— Если умру, тульская двустволка и патронташ твои.

...Ночь я почти не спал, думая, какими словами передать сыну тяжкую весть. Ленька проснулся необычно рано — вздрогнул всем телом и открыл глаза.

— Ты уже не маленький, — проговорил я, — ты должен понимать...

— Дед умер, да? — перебил Ленька.

Я кивнул.

Лицо его оставалось спокойным, задумчивым. Он долго лежал молча, потом спросил:

— Значит, теперь тульская двустволка моя будет?

Я кивнул.

— И патронташ?

Признаюсь, мне стало не по себе. И только значительно позднее я догадался, что мерил ощущения сына с точки зрения взрослого человека. А еще можно спорить, чья точка зрения в таких случаях разумнее и естественнее.

Мы молча прошли через весь город. Лишь у подъезда Ленька сказал:

— Уведи меня отсюда.

Так я и сделал — отвел его к знакомым. Они потом с удивлением рассказывали:

— Играл, бегал, смеялся — будто ничего и не случилось.

Лишь через неделю, вечером, когда об окно ударился ветер, Ленька спросил:

— А носовой платок у него с собой есть?

Утром он отнес на могилу носовой платок, на котором сам вышил зелеными нитками верблюда.

У могилы он стоял долго. Лицо его было задумчиво.

Вообще, можно было только догадываться, о чем он думал в эти дни. Да, он играл, бегал, смеялся, но это был уже не тот Ленька, чем прежде. В чем заключалась перемена, не берусь определить. Но перемена была, и не внешняя, а внутренняя. Скорей всего, что впервые в жизни Ленька испытывал одиночество, причем одну из его самых острых форм, когда чувствуешь себя одиноким не потому, что у тебя нет близких людей, а потому, что они-то есть, а одного все-таки нет. И не хватает его!

Может быть, впервые в жизни Ленька ощущал тот непреложный факт, что один человек не может заменить другого, даже если он лучше его.

Временами мне казалось, что Ленька просто не в состоянии понять, что такое — умер. А временами я думал, что только он один по-настоящему понимает это.

Ведь мы жалеем умерших, измеряя боль той пустотой, которую они образовали в нашей жизни своим уходом. Гораздо реже мы жалеем умерших из-за того, что они не испытали всех радостей.

Однажды мы пришли навестить бабушку. И вдруг явилась молоденькая розовощекая девушка штрафовать деда за задержку книг из библиотеки. Девушка возмущенно доказывала, что можно было найти время и вернуть книги.

Ленька сказал ей:

— Если бы он не умер, он бы сдал книги. Он очень был хороший дедушка.

И девушка больше не спорила. Ушла.

Мы часто вспоминали деда. Неужели обязательно нужно умереть, чтобы доказать, что ты всем нужен, что без тебя, оказывается, тебя недостает?

Создавалось впечатление — по крайней мере у меня, — что Ленька таил свою боль, а мы, взрослые, передавали ее друг другу.

Он, можно сказать, любил бывать на кладбище. Как это ни странно, весной здесь было очень хорошо. Тишина, какая-то умиротворенность, зелень и еще что-то... Что? Наверное, то, что все атрибуты смерти не производили никакого впечатления по сравнению, предположим, с радостной голубизной неба. Одна и та же мысль приходила в голову: первое, что вызывает вид смерти, — это жажда жить.

Каждый день Ленька приносил деду подарок — то пластмассового солдатика, то рисунок, то вышивку, то пластилинового космонавта.

На другой день, если вещь не исчезала, он уносил ее обратно.

Когда он вспоминал о деде, глаза его становились задумчивыми, немного недетскими, с примесью удивления, но не грусти.

Однажды я пришел на кладбище, чтобы переменить воду в банке с цветами. Подойдя к знакомой оградке, я остановился в изумлении: взявшись руками за железные прутья, Ленька разглядывал фотографию деда.

Я не окликнул сына. Он обернулся сам, сказал:

— Хороший был дедушка. Не понимаю только, зачем он умер? Я буду таким, как он. Буду большой, заработаю денег, поставлю ему красивый памятник. Чтобы он на коне сидел, а в руках красное знамя. Да?

Словом, жизнь текла своим чередом.

Тульская двустволка висела на своем месте.

Патронташ — тоже.

Веточка

Я люблю видеть сны, такие, чтобы, проснувшись, закинуть руки за голову и долго вспоминать увиденное.

Только редко я вижу хорошие сны. Мама Надя объясняет это моей привычкой спать на левом боку. Дескать, надавишь на сердце, сожмешь его, тяжело ему биться, и сны от этого беспокойные.

Ленька спит и на левом боку, и на правом, и на спине, и на животе, а сны видит замечательные.

Приснилась ему, например, пальма. Будто жили мы в горячей Африке, воткнули в песок веточку, стали ее поливать, и выросла пальма, а на ней мар tyшки сидят, улыбаются.

— Мартышки тоже из веточки выросли, — объяснил Ленька, — прямо как яблоки.

Посмеялись мы и забыли про этот сон.

Но теперь, когда Ленька садился рисовать, на листке бумаги одна за другой появлялись пальмы. Были они длинные и разноцветные. Мартышки были круглые и тоже разноцветные.

Через несколько дней Ленька еще раз увидел во сне пальмы. Испуганно и удивленно рассказывал он:

— Вы подумайте, пальмы росли в снегу! В холодном снегу! Мартышек, конечно, не было. Ни одной мартышечки. А пальмы были.

Кто его знает, может, Ленька и выдумал этот сон, выдумал и — поверил.

Вечером он ушел кататься на лыжах. Возвращался он всегда с шумом: хлопала дверь, раздавался стук упавших лыж, звенел радостный голос:

— Есть хочу!

А тут Ленька вошел тихо, и сам он был тихий. В руках он держал черную от угольной пыли палочку с засохшими листьями.

— Зачем ты принес эту грязь? — спросил я.

— Что ты... — прошептал Ленька. — Это веточка. — В серых глазах его было изумление. — Это, конечно, не пальма, но она вырастет... Вот увидишь, у нее будут листья. Зеленые такие листочки.

— Сейчас зима, — ответил я, — разве зимой растут листья? — И чтобы не огорчать сына, добавил весело: — Вот когда мы будем жить в Африке или Анапе, тогда другое дело.

Ленька с сожалением покачал головой и, словно опасаясь, что я отберу у него веточку, стал снимать пальто, не выпуская ее из рук.

Он налил в бутылку из-под кефира воды и всунул туда веточку. Вода сразу стала темноватой, будто в нее капнули чернил.

Ленька, видимо почувствовав мое неверие, сказал:

— Ну и что? Пусть не вырастет. Здесь ей тепло. А в снегу холодно. Пусть хоть согреется. — Он переменял воду, поставил бутылку на стол и спросил: — Чья же она?

А это была веточка шиповника: на ней со всех сторон торчали острые шипики-коготки.

— Колются, колются! — радостно кричал Ленька, трогая их пальцами. — Нет, нет, они не дадут ее в обиду! — и поглядывал на меня.

Сухие твердые листья пришлось оторвать — они отпадали при первом прикосновении.

Мама Надя ничего не заметила, когда пришла домой, и я сказал:

— Посмотри. Он уверен, что на этой палочке вырастут листья. Вот сейчас, зимой.

— Нет, — ответила мама Надя, — сначала появятся почки.

— А потом мартышки, — насмешливо добавил я.

Злая пурга шуршала по окну снежной крупой.

— Ты молодец, — сказала мама Надя Леньке, — молодец, что пожалел веточку. Поставь ее на подоконник к батарее. Там тепло и светло.

Мне было неловко перед ними, хотя я действительно не верил, что сухая веточка-палочка зазеленеет, да еще зимой.

А друзья мои верили. Они каждый день меняли воду. Утром, едва проснувшись, Ленька бросался к окну.

Когда их не было в комнате, я внимательно разглядывал веточку и думал: «Эх, друзья, напрасно стараетесь...»

Как-то утром Ленька не бросился к подоконнику.

В этот день он не переменял воду в бутылке.

— Глупая ветка! — с отчаянием воскликнул Ленька. — Надо ее выбросить!

И даже мама Надя промолчала.

Никто из нас не решался выбросить веточку.

А в окно стучалась пурга.

Приснился мне замечательный сон: будто бы наша веточка зазеленела. Проснувшись, я долго лежал, закинув руки за голову.

Ленька, как и я, спал на левом боку. Лицо у него было счастливое.

Он открыл глаза — и бросился к подоконнику.

— Спасибо, веточка, — услышал я.

Ленька осторожно взял бутылку двумя руками и поднес ко мне.

Почки на веточке набухли, лопнули, в них виднелось что-то очень светло-зеленое.

— Вот, — устало сказал Ленька, — захотел бы, так и мартышки бы выросли. Девять штук.

За окном жалобно повизгивала пурга.

1956—1960 гг.

ВСЕГДА ВТРОЕМ



ни сошли с пригородного поезда на маленькой безлюдной станции. И состав сразу же дернулся и поплыл дальше, а потом застучал, застучал, застучал...

Проводив его взглядом, они дересекли раскаленные солнцем железнодорожные пути.

Впереди шел отец — легко, небрежно, как все привыкшие преодолевать большие расстояния пешком. Сын вышагивал старательно, и каждый шаг напоминал прыжок.

Спустившись по насыпи, они двинулись через высокую траву к тропинке, которая вела в веселую березовую рощицу.

— Красиво? — спросил отец.

— Ничего, — ответил сын. Теперь он шел впереди, смотря под ноги, а отец заставлял себя смотреть по сторонам.

— Хорошо ведь, а? — спросил он.

— Ничего, — ответил сын, не поднимая головы.

Из рощицы тропинка вывела их в луга. Запах скошенной травы смешался с клейким ароматом молодого леса.

— Устал? — спросил отец.

— Не разговаривай, пожалуйста, со мной, как с маленьким, — обиженно произнес сын. — Ведь не маленький я.

— Не сердись, — попросил отец, — я и не считаю тебя маленьким. Ты у меня, вообще, молодец.

— Ты у меня тоже, — повеселев, сказал сын. — Только редко ты со мной на рыбалку едешь.

— Все некогда, малыш.

— Я понимаю.

К речке они подошли, когда солнце почти закатилось.

— Серота наступает, — сказал сын, — а потом будет темнота. Вот сейчас я немного устал. А ты?

— Тоже.

Рыбы в этой речке не водилось почти, зато и рыбаков сюда приезжало мало.

— Хорошо, — произнес отец таким тоном, словно ждал возражения. — Молодец, что надоумил меня поехать.

— Если бы ты всегда меня слушался! — Сын улыбнулся, но тут же губы его дрогнули, он сдержался и твердым голосом сказал: — Я за водой.

Отец стоял и слушал, как потрескивают и пощелкивают сучья под ногами сына, шелестят ветви.

Сошлепало ведро о воду.

«Нет, ты не маленький, — подумал отец. — И виноват в этом больше всех, видимо, я. Или не я».

— О чем думаешь? — спросил, появляясь из кустов, сын.

— О тебе, малыш.

— Я тоже о тебе думал. Там, — сын показал рукой на деревья, закрывавшие речку. — И, вообще, я о тебе всегда думаю. Помнишь, ты приехал из командировки ночью, в грозу? А утром мы поехали рыбачить. Помнишь, вытащили вот такую сорогу?

Отец кивнул.

— А помнишь... — сын хотел удержаться от этих воспоминаний, но не смог. — Помнишь, ты подобрал на улице раненого воробья? Помнишь?

— Я все помню, — глухо ответил отец. — Пора заваривать чай.

— Наступила темнота, — сказал сын. — А утром будет светлота.

Они молча приготовили еду.

Отец налил из белой пластмассовой фляжки в стаканчик, долго держал его в руке.

— Пей, — вздохнув, сказал сын.

Отец выпил.

— А помнишь, в форточку кошка влезла? — торопливо, словно боясь, что его остановят, спросил сын. — Мама закричала, а ты дал кошке мяса, и она с ним обратно в форточку. Помнишь?

Отец кивнул.

— Я все помню, — с виноватыми нотками в голосе сказал сын, — до мельчайших подробностей.

— Я, пожалуй, еще выпью, — полувопросительно проговорил отец.

— Конечно, — отвернувшись, сказал сын. — А почему бабушка называет тебя подлым?

— Не знаю, малыш... Видишь ли... Как бы тебе сказать?.. Она человек пожилой. У нее свои взгляды на жизнь и...

— Но ведь она очень хороший человек.

— Да, — с усилием согласился отец. — Однако и хорошие люди иногда ошибаются.

— Я знаю.

«Милый ты мой человечек. Рано же тебе пришлось жить воспоминаниями. И виноват в этом я. Или не я».

— И ведь мама тоже очень хороший человек, только очень сердитая, — сказал сын. — Да?

— Конечно.

— А я? — с застенчивой улыбкой спросил он.

— Ты молодец.

— Нарвем ей завтра цветов?

— Обязательно. А ты не хочешь спать?

— Ни капельки. А ты?

— Тоже нет.

— Я так боялся, что мама меня не пустит. А она отпустила. Сразу. Только очень просила, чтобы мы поймали ей хотя бы одну рыбку. И цветов просила.

— Рыбка от нас не зависит. А цветов будет много.

— А помнишь, мы ездили за подснежниками? Помнишь, первый цветочек нашла мама, потом я враз три штуки, а ты долго не мог найти ни одного?

Отец кивнул.

— Ты постарайся поймать рыбку, ладно?.. Знаешь, тут дело не в рыбке... Она просила... понимаешь? Постараемся, а?

Отец кивнул.

«Ты добрый, малыш. Тебе будет тяжело. Или, наоборот, — легко. Я долго считал, что быть добрым трудно. Но потом оказалось, что самое трудное — быть бескорыстным. Идти на жертву ради другого, будучи уверенным, что ее оценят, — легко. Куда тяжелее быть просто бескорыстным».

— Разбуди меня пораньше, — уже совсем сонным голосом попросил сын и положил голову на колени отца. — Бабушка сказала, что от тебя нельзя ждать рыбки. Докажем ей, что можно? Ладно?

«Ты настоящий мужчина, малыш. Во всяком случае, мужественности тебе не занимать. Я-то знаю, как даже тебе с ними тяжело... Я разбужу тебя рано. Завтра у нас с тобой счастливый день. Наш день».

Отец долго смотрел на костер и когда отводил глаза в сторону, то еще мгновение как бы продолжал видеть огонь, а затем — ничего не мог разглядеть вокруг.

Сидеть было неудобно, но он старался не шевелиться. Старался даже не думать. Нога приятно онемела — голова у сына тяжелая и горячая.

«Только перед тобой я и виноват. Перед всеми другими — ровно настолько, сколько и они передо мной виноваты. И знаю: куда бы я ни ушел, что бы я ни делал, все отразится на твоей судьбе. Мы с тобой всегда вдвоем. Везде. Всегда».

Уснул он незаметно для себя, привалившись к дереву, спал недолго, но глубоко. Проснувшись, он осторожно подержал голову сына в руках, опустил ее на рюкзак и встал, чтобы бросить веток в погасший костер.

«Надо поймать рыбу. Сегодня я просто обязан это сделать».

Еще в полутьме отец прошел вдоль берега, спустился к омуту.

«Я должен, я обязан поймать рыбу. Рыбу, а не рыбку».

Он насадил червяков, укрепил удилища на рогульках и вернулся к сыну.

Костер пылал, и на вздернутом носу мальчишки выступили капли пота.

«Как мне не хочется будить тебя!»

— Ты уже проснулся? — спросил сын, не открывая глаз.

— Вставай, чай готов.

— А мы сегодня поймаем рыбку?

— Во что бы то ни стало.

— Хорошо поспал, — сказал сын, садясь. — Помнишь, когда я был очень маленьким, еще в школу не ходил, ты приехал из командировки рано-рано и никак не мог меня разбудить? Помнишь?

Отец кивнул.

— Понимаешь, необходимо поймать рыбку. Она очень просила.

— Поймаем.

— Это будет здорово.

Когда рассвело, они уже кончили завтракать, собрали остатки еды, вымыли посуду, залили костер.

— Идем, — коротко сказал отец и двинулся по тропинке.

К воде они спускались осторожно — не потому, что берег был скользок от росы и обрывист, а потому, что боялись взглянуть на поплавки.

Взглянули.

Поплавки были неподвижны.

Сын громко вздохнул.

«Почему мне сегодня так хочется поймать рыбку? Потому, что этого хочет он?»

Отец несколько раз без надобности переменял червяков. Сын часто уходил побродить по берегу.

«Мы сегодня вытащим рыбу. И совсем не важно, кто из нас троих и почему хочет этого».

Солнце уже начало пригревать.

— Пойдем за цветами, а? — спросил сын.

— Нет, мы должны поймать рыбу.

— Хорошо.

«Бедный малыш».

— Давай договоримся так, — сказал отец. — Ты делай, что хочешь, а я буду рыбачить.

Сын кивнул, но больше не уходил.

— Мне тоже хочется бросить это дело, — сказал отец. — С удовольствием бы бросил. Но я почему-то уверен, что будет рыба.

Сын сразу повеселел, сказал:

— Я тоже уверен. Но просто обидно и зло берет.

Они стояли молча. И обоим стало невмоготу.

— Ничего, ничего, — пробормотал отец.

— Ты же знаешь, — сказал сын, — что в это время клева вообще не бывает.

— И все-таки мы вытащим рыбу, — сказал отец, — потому что она нам очень нужна.

— А вдруг...

Оба поплавка враз исчезли под водой.

Отец и сын вытащили на берег двух здоровенных рыб, сняли их с крючков, положили в корзинку и — сели в изнеможении. Отец закурил.

— Вот это да... — прошептал сын. — Обоих ей?

Отец кивнул.

— Она будет очень рада, — сказал сын, стараясь, чтобы голос прозвучал весело.

Потом они ушли в луга и нарвали много цветов.

На станцию они успели к самому приходу поезда.

Им казалось, что он идет слишком быстро. Сын шепотом называл остановки, и голос звучал все тише.

«Молодец, малыш, молодец».

Когда поезд загрохотал по Камскому мосту, отец сказал:

— Позвони мне в пятницу. Если тебе разрешат, мы снова куда-нибудь съездим. Можно и без удочек.

— А можно и с удочками. Ведь нам с тобой везет. Только бы отпустили. Мама-то отпустит. Но бабушка...

— Отпустит и бабушка.

Сойдя с поезда, они долго стояли, словно не зная, в какую сторону идти; потом выпили газированной воды, потом съели по мороженке, потом купили в киоске «Веселые картинки».

— Погуляем? — спросил сын.

— Нельзя, малыш. Дома о тебе волнуются.

Он посадил сына в трамвай, и пока вагон не тронулся с места, они улыбались друг другу, будто ничего и не случилось...

1964 г.

ЖОРА СУСЛОВ И ЕГО КРАСИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Все время, даже сквозь сон, хотелось есть. В пятом часу утра я был уже на ногах, поднятый пронзительным голодом. Именно он как бы вытаскивал меня из постели, но сразу разбудить не мог. Не просыпался я и на кухне, где, содрогаясь от холода, плескал в лицо ледяной водой. Просыпался я лишь по дороге к хлебному магазину, около которого уже стыла очередь. Время ее возникновения навсегда осталось для меня загадкой: как бы рано я ни приходил, очередь уже была.

Боже, как холодно... Через несколько минут начинало казаться, что на мне — совершенно отдельно от меня — промерзшее пальто, а внутри него — замерзший я, и совершенно не соприкасаюсь с ним.

Бесполезно было размахивать руками, подпрыгивать. Очередь мерзла неподвижно и безмолвно.

Святые это были очереди. В них стояли люди, без которых никакая, пусть даже самая великолепная армия не выиграла бы войны. Полководцы могли рассчитывать не только на солдат и офицеров, но и на людей в этих очередях. Они не были покорны тяжелой судьбе или просто терпеливы, они были мужественны и едины. В очереди они стояли, как в строю.

Часам к шести меня сменяла мама. Она не доверяла мне хлеб: по дороге домой я мог, проклиная себя, отщипать и сглотать то количество теплой, почти горячей мякоти, которую полагалось съесть дома с кипятком.

Соседи у нас были — хуже не придумаешь. В одной комнате бывшей нашей квартиры поселились мать и дочь, эвакуированные из Киева. Дочь, роскошная молодая женщина, бесстыдная и наглая в каждом движении, всегда полуодетая, по профессии художница; ее мамаша казалась старшей сестрой своей дочери.

А тело дочери было настолько богато, что, когда они с матерью появились у нас в квартире, никто и не заметил, что художница беременна. Просто месяца через два у нее вдруг родилась дочка.

Сначала мы жили дружно, жалели их, помогали им. Художница писала портреты и относила их еще непросохшими.

Но вскоре соседи разжились. Мать художницы поступила куда-то в какой-то контроль, и еды у них стало много. В квартире запахло съестным, а от запаха ведь не спрячешься. Временами мне делалось муторно — это когда они ели в соседней комнате. А ели они очень долго и очень хорошо. И чем лучше они ели, тем сами были — хуже.

У меня кружилась голова, в животе урчало, резало. Не выдержав, я уходил из комнаты, косил глазами на тарелки (между прочим наши), стоявшие на столе (на нашем) перед неоконченным портретом, и — убредал куда-нибудь.

Иногда эвакуированные из Киева давали мне остатки закишего супа, причем делалось это почти со слезами и так настойчиво, что отказаться было невозможно. И лишь много лет спустя я догадался, почему меня угощали: ведь съев чуточку супа, я был обязан вымыть посудину. Ну что ж, тоже работа и тоже заработок.

Кроме портретов художница рисовала голую женщину. Она сама была бесстыдна, а женщина на картине — еще хуже. И я не сразу догадался, что художница рисовала себя.

Во второй комнате жил москвич — режиссер, актер, писатель, преподаватель и еще бог знает кто. Он все умел, все понимал, все знал, он был переполнен знаниями (сейчас это называется информацией) и самомнением. Это был великолепный верхогляд с невероятной памятью. Вдруг прочтет мне лекцию по истории кино, потом принесет из библиотеки портфель киносценариев. В другой раз расскажет историю авиационного тарана. Я слушал его импровизации о балете, футболе, западной поэзии, обычаях древних народов, гипнозе, истории философии; он помогал мне готовить задания по математике, геологическим наукам, делился мыслями о жизни и искусстве. Потом он мог заявиться к нам и ни с того ни с сего сказать маме, что я неразвитый субъект, невоспитанный, и с дурными наклонностями, и так это убедительно мог доказать, что я не знал, как возразить, а мама долго плакала. И он немного мог почти поплакать. Однажды он подарил мне настоящие, с позолотой запонки. А через несколько дней так громко искал их, что пришлось вернуть...

Жена его — молодая, но бесцветная женщина, молчаливая, навсегда им напуганная, — была балериной, но муж направил ее работать куда-то, откуда она приносила судки с обедами.

В третьей комнате, самой небольшой, остались мы с мамой. И еще была одна комната, не наша, отдельная, с входом из коридо-

ра — перед кухней, у самых дверей на лестницу. В этой комнате неподолгу жили разные люди, с которыми мы не успевали и познакомиться толком. А вновь вселявшиеся объясняли, что их предшественники получили более удобное жилье или угодили в тюрьму.

Но как-то в этой комнате поселился маленький, рыжий, с желтым в крупных веснушках личиком, мокроносыый, одетый в широченные галифе и черный, наглухо застегнутый френч мужчина. Еще носил он высоченную каракулеву папаху, кожаное пальто с каракулевым же воротником и белые фетровые валенки.

— Жора Суслов, — тоненьким тенорком представился он и запретил называть себя иначе. — Я только Жора и просто Жора, — повторил он несколько раз на всякие лады — от жалобного до высокомерного.

Он приходил поздним вечером, пьяный, шумный, почти визгливый, вваливался к нам, потому что считал маму хозяйкой всей квартиры, приносил то сахар, то банку тушенки, то еще что-нибудь, а мы были обязаны все тут же, при нем, съесть и слушать его рассуждения. К чести Жоры надо отметить, что он с удовольствием наблюдал, как мы едим, и радовался за нас.

Жора страдал от обилия мыслей, они мучили его, разрывали ему сердце, доводили до слез и отчаяния. И он, сбегав в свою комнату и принеся с собой бутылку и еще закусок, заставлял нас есть и слушать.

— Я вас уважаю, — объяснял Жора, — очень уважаю. Иначе зачем бы я угощал вас? Потому что вы стараетесь понять меня. Если бы не было войны, кем бы я был? Никем бы я не был. Почему же рыжий, сопливый Жора Суслов, то есть я, сейчас живет, как король? Потому что война. А вы знаете, кого больше всего ненавидит Жора Суслов? Больше всего на свете Жора Суслов ненавидит красивых женщин. Почему? Да потому что они ненавидели бы его, если бы не война. Война заставила красивых женщин обратить внимание на Жору Суслова и делать вид, что он им ужасно нравится. Мне морально противно, когда они ласкают меня и...

— Жора... — тихо и виновато перебивала мама. — Простите меня, но, понимаете...

— Понимаю, конечно, понимаю! — отвечал Жора, не замечая, как от еды мы согрелись, ословели и захотели спать. — Мое горе в том, что я понимаю слишком много... А вы знаете, за что я полюбил вашего мальчика? Я полюбил его за то, что он помог мне, когда еще не имел сведений, кто я такой. Он принес мне ведро воды. Не потому, что я Жора Суслов, а потому, что я просто человек. Понимаете? А мне никто ничего не делает бесплатно. Мне это льстит, но сердце все же из-за этого рвется на куски. И красивые женщины ничего не делают для меня бесплатно. А если со мной что-нибудь случится, они

плюнут в мою сторону. А я утру свой хронически сопливый нос... — тут он взрыднул и выпил.

Жора был силен и даже неотразим тем, что не только сознавал свое ничтожество, но и наслаждался им.

— Ваш мальчик, мадам хозяйка, — кричал он, — принес мне ведро воды! Просто мне была нужна вода, а он просто принес ее! Вы можете понять, как это дорого? Я бы мог отоварить вас, сделать вас сытыми, но вы же откажетесь. А они, а никто не отказывается! Они все требуют с Жоры Суслова счастья для себя! Вы только подумайте и приценитесь: я имею силу! Смешно! Некрасиво! Кому война, а для меня видите — что...

Тут Жора начинал плакать, а плакал он так же, как делал все другое — открыто, не боясь выглядеть смешным.

— Мне стыдно из-за людей... — сквозь всхлипывания и сморкания выкрикивал он. — Стыдно! Ужасно стыдно!.. Это невыносимо! — Наплакавшись и еще приложившись к стакану, Жора продолжал рассуждать, не замечая, конечно, что мы с мамой почти спали сидя: — Природа отняла у меня почти все. Вот, одна нога короче другой. Так это еще пустяк. Но меня из-за этого не приглашают даже на тот предмет, чтоб я погиб смертью хотя бы не очень храбрых. У меня отняты возможности стать простым выдающимся человеком. В общем, война сделала из меня Жору. А Жора, я вам расшифруюсь, хозяйственник... а честно говоря, снабженец... Между прочим, Жорой меня прозвали эти... красавицы... Как видите, у меня даже имя и то.... ворованное. Иногда я не могу заснуть. Лежит рядом со мной красивая женщина, — пальчики оближешь... А морально мне скверно, я думаю: какие мы с ней гадины. И еще неизвестно, кто больше гадина... Зато я имею то, чего не имеет большинство. Я ем, пью, удовлетворяю все мои потребности. Я ни в чем себе не отказую. Я...

И чем больше он хвастался, тем было его жальче. Потом жалость переходила почти в отвращение, если не в брезгливость. Словно догадываясь об этом, Жора распалялся. Лицо его багровело, веснушки белели, под носом почти высыхало, он кричал:

— Я человек или не человек? Я человек, но за человека меня не считали. Меня теперь считают человеком. Да, да, меня теперь считают человеком!

— Но ведь неправда это, — просила испуганно мама, немного отдохнувшая, — не все же люди...

— Нет, нет! — умолял Жора. — Все, все!

— Вы не имеете оснований...

— Я имею все! — Жора тяжело вздыхал, переживал, вздыхал еще тяжелее и повторял скорбно. — Я имею все. Но я бы не хотел этого иметь. Я бы хотел иметь маму, жену и детей. Но мамы я не буду иметь, потому что она умерла. Жены я не буду иметь, потому

что это будет не жена, а... извините за выражение, что это будет. Меня ведь никто никогда не полюбит. — Жора ненадолго замолкал, начинал моргать глазами — он устал от самого себя: вскакивал и, кивнув, быстро уходил, почти убегал, прихватив недопитую бутылку.

Да, женщины у него бывали красивые. Я встречал их на кухне, куда они обыкновенно заходили от нечего делать. Некоторые из них просили у меня что-нибудь почитать. Меня поражало то, что все они были невеселые, в глазах у них обязательно жила тоска или скука. Они, видимо, не знали, чем им заняться до прихода Жоры. Временами мне даже подумывалось, что они завидуют нам, голодным.

Было у всех этих женщин что-то общее, чего я долго не мог уловить. Даже в их красоте было что-то одинаковое, то ли бросающаяся в глаза необыкновенность, то ли отсутствие связей с нашей жизнью, которой жили мы с мамой. Они были как бы из другого мира. И этот мир был в комнате Жоры, из которой всегда, даже через дверь, густо пахло съестным еще сильнее, чем из комнаты художницы. Однажды, невольно задержавшись около двери в комнату Жоры, я до боли в ноздрях подышал запахами еды и вдруг понял, что все его женщины пахнут этим густым, этим невероятным запахом еды, который перебывал запахи духов и молодого тела. И тут же я сообразил, что необыкновенность этих красивых женщин проистекает от их сытости. Все они ели вдоволь, а мы с мамой голодали. И женщины Жоры перестали поражать меня своей красотой, а если и поражали, то примерно так, как открытая банка американских сосисок — предмет моих самых сильных вожделений. Они, женщины, были необыкновенны и недоступны для меня, как американские сосиски. Ведь и сосиски тоже были очень красивы.

И еще я запомнил ощущение несчастья. Я и сейчас могу вздрогнуть, вспомнив пронзительность этого ощущения. И вслед за ним я вижу промерзлую кухню, в которой я стараюсь не дышать, чтобы не закружилась голова от запаха сытой красивой женщины... Странно: я не запомнил их лиц, помню, что все они были красивы, и красоты у них было много.

А вот одна из них — по имени Бэла — сохранилась в памяти вся. Впервые она явилась на кухню вечером, когда я пытался читать при свете пламени примуса. По коридору что-то зашелестело, я приготовился вдыхать съестные запахи и видеть очередную красоту, но неожиданное предчувствие чего-то необычного, родившееся от непонятного шелеста в коридоре, заставило меня обернуться к дверям.

Передо мной стояла высокая женщина в длинном черном халате. — Бедный мальчик, — сказала она, — ты испортишь себе глаза. — И у меня почему-то сладко заныло сердце. — У вас нет лампы? — спросила женщина. — Или экономите керосин?

Голос у нее был густой, но прозрачный, она не говорила, а как

бы намеревалась петь и вспоминала забытую мелодию, вернее, выбирала из нескольких мелодий одну.

Женщина внимательно оглядела меня и сказала:

— Мое имя Бэла. Не Белла, а Бэла. Тебя я знаю, как зовут. От Жоры. Я велю, чтобы он дал тебе керосина. А ты дай мне что-нибудь почитать.

Я принес ей «Маленькую хозяйку большого дома», и на другой вечер, возвращая книгу, Бэла сказала:

— Я от души поплакала. Действительно, могло быть так, как описано? Или это все придумано?

Как мог, я объяснил ей. Она задумчиво кивала головой и заключила:

— Значит, выдуманно. Но я все равно плакала. Хочешь есть?

— Не буду.

— И презираешь меня?

Я пожал плечами. Все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы не смотреть в ее сторону.

— Это потому, что ты ничего не понимаешь, — грустно проговорила Бэла. — У меня брат на фронте. Если бы он знал... Я с мамой живу. В бараке. В угловой комнате. Холодина, сколько ни топи. И дети кругом плачут... Пойдем, я покормлю тебя?

Я промолчал, и она продолжала:

— Знаю, знаю. Жора мне рассказывал о тебе. Вот ты бы мог вынести пытки? А ведь голод — тоже пытка. Я не выношу голода. Я боюсь голода. Я не могу быть голодной. Мне кажется, что я тут же умру. — У нее даже голос дрогнул. — И получается так: я ем, а меня ест совесть. У меня был бы выход, если бы я могла полюбить. Хоть кого-нибудь. С кем и голодать не страшно. Но я ни разу никого не любила. Я не успеваю разглядеть человека, а он меня уже хочет любить.

— Но ведь Жора вас не любит, — вдруг сказал я.

— Конечно, — согласилась она. — Он добрый, но очень глупый. Оба мы с ним любим. Есть мы любим. Давай я тебя покормлю? У нас пропасть всякой еды. Или давай меняться: ты мне книгу, какую не жалко, а я тебе консервов?

В кухне появился режиссер. Я сразу понял, что мешаю ему. Он выразительно пучил на меня глаза, говорил:

— В доброе довоенное время такую женщину я был просто обязан пригласить в ресторан пообедать... А сейчас... — И он хохотал, потирая руки. Он был огромен, большеглаз, волосат, и сколько-то лет назад, верно, и красив.

Бэла молчала.

А голос режиссера исходил откуда-то, будто из самой глубины организма, напряженный, почти твердый:

— Трудно поверить, что на свете еще сохранилась такая красота. Боюсь показаться банальным, но...

— Вы же старый, — сказала Бэла, и даже это не прозвучало у нее грубо, — и у вас не на что пригласить меня обедать.

И режиссер не обиделся: по-моему, он был просто не в состоянии сейчас что-нибудь понимать и, как глухарь в брачном экстазе, ничего не слышал, а говорил свое:

— Мне всегда казалось несправедливым, когда мимо меня, понимаете, мимо меня проходила красивая женщина. А сейчас я счастлив хотя бы тем, что могу видеть такую женщину. Клянусь! — почти прохрипел он. — Я же впервые вижу вас, всего несколько минут, а...

— А кажется, что знаю вас всю жизнь, — досказала за него Бэла и ушла.

Тогда режиссер сказал мне:

— Ты бы мог догадаться выйти, когда разговаривают взрослые.

— Она с вами и не разговаривала, — ответил я, испытывая что-то похожее на ревность.

— Ты бы лучше помалкивал! — взъерился он. — Ты совершенно распустился! Да ты хоть знаешь, кто она такая?.. Откуда тебе знать... Но — красива... — Он развел руками. — Как говорится, найти бы место, где такие на свет появляются. Верится, что таких создают не люди, а сама природа. Ну вот как она создает облака, цветы...

На мгновение мне показалось, что передо мной сидит сумасшедший: глаза его и без того большие неестественно расширились, застыли, хотя и блестели; он побледнел, бормотал:

— Боже, боже, неужели все прошло? Неужели больше ничего не будет? — Он тяжело передохнул, подержался, сморщившись, за бок, встал. — Вот так... ничего ты не понимаешь. А когда поймешь, поздно будет.

А я понимал все. Я бы мог ему напомнить, какой у него был голос и откуда он исходил, когда здесь была Бэла. Но мне было жаль его. Я ненавидел, презирав и жалел его одновременно.

Вечером он пришел к нам озабоченным, мама сразу испугалась, и он начал, измучив ее молчанием:

— Не считаете ли вы несколько странным поведение вашего сына? Он все время на кухне с одной из этих... понимаете?

— Нет. — Мама так и села.

— Чему она может научить его? — вопрошал режиссер. — Женщины подобного сорта не останавливаются ни перед чем. Им наплевать на нравственность. Я, естественно, прошу извинить меня, но если вы не видите, а он не понимает, то мой долг... согласитесь, долг порядочного человека... Я обязан предупредить. Вы же знаете, что в молодости человека взрослеют чувства, а в зрелые годы — ум. Надо бережно и строго относиться к чувствам, ведь любое из них может

захватить молодого человека целиком. Бедное сердце бывало и опошлено, и превознесено, и воспето, и оболгано, а ведь долгое время человека по жизни ведет одно оно. Если оно доброе, то приведет к доброму уму... А ваш сын начинает жизнь с того, что может вверить сердце — кому?!

Режиссер говорил и говорил. Мама страдала. У нее сердце было доброе, у него — злое, у меня — еще никакое.

Он мучил маму, и я спросил его:

— Тогда почему же на кухне вы за ней ухаживали?

— Я?! У...ухаживал?! — Режиссер вскочил, но сразу сник, сел. — Я просто отдал дань уважения красоте. Красоте — вообще. Не больше. А тебя я предостерегаю. Ты не представляешь, чем занимается эта красотка.

— Не надо, — попросила мама умоляюще. — Он больше не будет.

— Чего — не будет? — вырвалось у меня.

— То, что... ну, тебе действительно незачем торчать на кухне.

— Хорошо. Примус перенести в комнату?

— Ты грубишь матери, — оскорбленно произнес режиссер. — Сознавайся честно, что ты не можешь перебороть нездорового любопытства.

— Я не знаю, что вам от меня надо.

— Вот ты грубишь уже и мне! — удовлетворенно воскликнул режиссер. — Прекрасно, дожили!

— Я не грублю вам, — ответил я, начиная понимать, что защищаю не себя, не маму, а Бэлу. — Я не сделал вам ничего плохого, и вы не имеете никакого права...

Тут вошел Жора, как он всегда входил к нам, — без стука, неожиданно, быстро; долго молчал и потом сказал:

— Я глубоко извиняюсь. Но мне не с кем разделить мыслями. Да и на душе у меня... плохо.

— Присаживайтесь, пожалуйста, — обреченно пролепетала мама.

А Жора был великолепен. Он изрядно выпил, мысли одолевали его, он придал своему лицу наиболее глубокомысленное выражение, на какое только был способен, скрестил руки на груди и гордо начал:

— Рано или поздно меня посадят. Этот факт не подлежит обсуждению. Только осуждению. Вы — останьтесь, — королевским жестом остановил он режиссера, поднявшегося, чтобы уйти. — У меня до вас тоже есть дело. Вы будете отвечать на мои вопросы, а потом мы сядем за стол.

И режиссер хохотнул подобострастно, но с оттенком презрения — для меня с мамой.

— Ответьте! — приказал ему Жора. — Если вы такой умный. Для чего человек живет на свете? Цель?

— Вопрос странный, — напыжившись, проговорил режиссер. — По крайней мере, сейчас, во время войны.

— Да, вы считаете себя умным, — страдальчески заметил Жора. — Нет. Я вас умнее, а меня посадят в тюрьму. Потому что я заврался. А вы заврались. Я несчастный человек, это понятно. Меня вообще зря родили. Таких, как я, нельзя производить на свет. Это подло! Это безнравственно!

— Боже, — прошептала мама.

— Бога нет! — отмахнулся Жора. — Люди должны быть красивыми, умными, честными.

— Вы абсолютно не правы, потому... — начал режиссер, но Жора оборвал:

— Я прав больше, чем абсолютно. Если бы я умел выражать свои мысли, вы бы от них ахнули.

Между прочим, когда вспоминаешь прошлое, не всегда удается уловить разницу между тем, как думал тогда и как думаешь сейчас. На иных мыслях сохраняются явные приметы времени и возраста, на других — таких примет нет, и не определить, когда же родились некоторые из них. И вот я не могу уяснить: то ли через много лет я составил излагаемое здесь впечатление о Жоре, то ли оно тогдашнее. Во всяком случае, отчетливо помню, что я его понимал больше, чем другие.

— Убедите меня, — уже не требовал, а просил Жора, — убедите меня в том, что лично в моей жизни есть смысл, кроме поесть, поспать и всего такого прочего.

— Жизнь сама по себе — благо, — провозгласил режиссер. — У вас или плохое настроение, или усталость, или...

— У меня совесть. И она иногда дает о себе знать. Я бы не стал садить меня в тюрьму. Это для меня маленькое наказание. Я бы отпустил Жору Суслова на все четыре стороны. Маленького, сопливого Жору Суслова, у которого одна нога короче другой... На меня рассказывают, что я добрый. Это клевета. Я иногда получаюсь добрым. А вообще, я мерзавец с низким моральным уровнем. Меня надо отпустить на все четыре стороны. Это мне будет хуже тюрьмы. Я перестану быть Жорой Сусловым. Все от меня отвернутся. Идемте.

Надо было видеть, как рванулся к дверям режиссер. Он пропустил Жору вперед, но Жора покровительственным взглядом уступил дорогу и сказал мне:

— И ты иди. Я тебе кое-что дам. — И маме: — Не волнуйтесь. Ваш мальчик — человек.

— Не задерживайте его, пожалуйста, долго, — вслед попросила мама.

Я пошел, конечно, не за подарком. Мне хотелось взглянуть на Бэлу.

Она сидела перед зеркалом и расчесывала волосы, через плечо посмотрела на нас, сказала:

— Я вынесла керосин на кухню. Можешь больше не экономить.

— Мы решили выпить, — мрачно сказал Жора. — С ума сойти, до чего мне мерзко. — Он достал из шкафа банку колбасы. — Чикагская. Это маме от всего сердца. Просто больше у меня ничего нет. Я могу выражать чувства только продуктами и промтоварами.

Я задержался на кухне. Стоя в темноте, я горько сожалел, что мне всего шестнадцать. Ощущение несчастья кольнуло сердце... Вернувшись в комнату, я лег. Я страдал, но — с удовольствием. Словно догадываясь, что в страданиях душа мукает, я и искал поводов испытать их. А лучший повод для этого — разнесчастная любовь.

Не всегда бывает так, что тот или иной человек или событие будят в тебе мысли и чувства, случается и наоборот: жизнь уже подготовила, подвела тебя к чувству, и ты ищешь человека, к которому оно может быть отнесено. Поэтому нет ничего удивительного в том, что размышления о Бэле помогали мне забывать даже о голоде. До встречи с ней я полагал себя убежденным женоненавистником: словно предчувствуя изобилие женской красоты в мире, я смутно боялся ее власти, надеялся оградить себя от связанных с ней тревог, потрясений и горя. Я и тогда подозревал, что встреча с красотой не всегда приводит к добру, хотя бы потому, что она не способна успокоить или надолго утешить. Как ни странно, красота может надоесть, но удовлетворить — никогда. Она всегда — неутоленная жажда. Но откуда мне было знать тогда, что в этом ее смысл и сила?

— Ты спишь? — среди ночи спросила мама.

— Сплю, — машинально ответил я.

Мама вздохнула.

Первая в жизни бессонная ночь. Первое судорожное от предчувствий колотенье сердца. Главное, что я несчастен, из-за нее несчастен! И сквозь все ощущения — голода, несчастья, тревоги пробивались надежда и радость, от которых я устал до того, что заснул. Уснул я сразу и глубоко, даже не слышал, как собиралась в очередь за хлебом мама. Увидел я сладкий и стыдный сон, от которого проснулся обессиленным, оглушенным и счастливым.

Мама вернулась недовольной — не выпалась потому что, сказала сердито:

— Не забудь вчерашнего разговора, сделай выводы.

А я старался не забыть того, что видел во сне, и все-таки сон улетучился, не оставив в памяти ничего.

Мне стало грустно, потом — все равно. Я решил не идти на занятия в техникум, лежал, ни о чем не думая, и страдал уже без удовольствия. Мне стало совсем плохо, когда я вспомнил об отце:

вдруг его часть именно сейчас отправляют на фронт, а я дурак дураком... Какое я имею право вот так валяться в постели, ведь я должен был идти в техникум через Комсомольский сквер, где из репродуктора, казалось, на весь мир — «Идет война народная, священная война»... Жизнь моя тут же представилась мне ничтожной и нелепой, а сам я — амебой какой-то. В голову проникла дикая мысль: стать еще ничтожнее — съесть банку колбасы, подаренную вчера Жорой, съесть всю, одному... На преступление меня толкал не голод, но нечто, похожее на желание сотворить настоящий грех, чтобы хоть в нем, да не быть мелким, ничтожным. Хуже всего, когда ты — ничто...

Весь строй жизни, образованный войной, каждому человеку придавал значительность, ставил его вровень со временем, каждый был незаменим, каждый был на вес золота, у всех была одна забота. Когда я надрывался на лесозаготовках или косил рожь под снегом или даже когда полел морковь под палящим солнцем, — я ведь верил, что иду в атаку на фашистов.

Сейчас же ощущение ничтожности рождалось несоответствием между серьезностью жизни, в которой люди были сомкнуты общей бедой, волей и общей надеждой, и — моими личными переживаниями... Теперь-то я о них не жалею, а тогда — худо мне было из-за них.

Я вспомнил о сне, в котором сладко и стыдно видел Бэлу, испугался, словно она могла узнать об этом, и хотя я сам уже не мог восстановить в памяти сна, встречи с ней боялся до того, что еле-еле заставил выйти себя на кухню. Да и все равно в комнате нельзя было оставаться: от соседей так и несло запахами съестного. Разобрать было невозможно, чего они там ели — хорошо и долго, да и вообще любая пища имела для меня один запах; я прошел через пропитанную этим запахом комнату, провожаемый суровым взглядом недорисованного вождя, и мне еще горше стало и за себя, и за все...

Я поставил чайник на примус, грел руки и мерз еще сильнее.

Рядом появился озабоченный режиссер, долго слюнявил самокрутку, потом жадно, с причмокиваниями курил и заговорил совсем неожиданно и быстро:

— Вчера я пережил ужасное потрясение. Просто немыслимое. Я вдруг понял, что я еще не стар, но уже — не молод. Опять, что ли, переходный возраст? Сколько их может быть? В общем-то, ясно все. Сначала жизнь состоит из бесконечных, часто не требующих усилий приобретений, затем — потеря, видимо, тоже бесконечных. Последняя потеря — само существование. Уход. Переход. Переезд. Вынос. Жаль, как жаль, что смолоду я был избалован всем. У меня не просто было все, что мне требовалось, у меня всего было — чересчур, лишка. Но зато я и не приобрел ничего, что можно было бы пронести через всю жизнь. Сказка о золотой рыбке имеет ко мне самое

непосредственное отношение. Я и сам — разбитое корыто... А почему ты не в техникуме?

Я хотел соврать, но ответил:

— Не знаю. Не пошел.

— Смотри, смотри, — многозначительно и даже угрожающе произнес режиссер. — Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Есть такая пословица. Кажется, английская... Кто вот сейчас поверит, что я был красив и талантлив? Ну ладно, красота связана с возрастом. Но куда делся талант? Ведь он был, я знаю...

Слушал я его рассеянно, не видя в потоке торопливых слов ничего для себя интересного. А он говорил, словно пьянея от своих слов, каждой фразой как бы возбуждаясь:

— Уходят дни — это я не в философском смысле, а просто, фактически. Вот сейчас я разговариваю с тобой, а жизнь моя идет, уменьшается. Вот секунда прошла, вторая... и так далее. И целый день пройдет. И хотя дней в жизни пропало великое множество, года из них составить можно, каждого дня — жаль. Во мне недавно появилось ощущение длительности жизни. Понимаешь? Я физически, оказалось, чувствую, что она у меня — не бесконечна. Понимаешь? Не то что я скоро умру, а вот когда-нибудь... обязательно.

Он свернул самокрутку и молчал, пока не затянулся несколько раз подряд.

— Мне бы вернуть молодость, я бы... я бы все — наоборот! Не то чтобы я был пошляком. Нет. Но тем не менее... Вот посмотри. На красоту уповают, как на добро, хотя она и оно не так уж часто совмещаются в одном человеке. Красота-то — явление исключительное. И далеко не все понимают ее или понимают, но превратно. Вот я не понимал. Для меня красивая женщина была просто приятнее, чем обыкновенная. А это чушь. Ее значение — выше!.. А бывают люди, вообще не восприимчивые к женской красоте. А есть еще дураки, которые противопоставляют физическую красоту красоте духовной. Уразумей, если способен: противопоставляют, и физическая почитается не за первый сорт. Чушь! Ты только слушай меня внимательно. Сейчас я постараюсь поймать эту мысль. ...Понимаешь, уже одно восприятие красоты — это уже духовный акт... Как содержимое нельзя отделить от формы... — Он крутил передо мной руками, словно этим помогая себе найти слова и расставить их в нужном порядке. — Понимаешь, когда я смотрю на просто красивую женщину... — Руки его замерли, пальцы еще некоторое время беспомощно шевелились, дернулись, и руки бессильно упали. — Или все это чушь? — спросил он. — Чушь... Ведь в жизни много чуши... Да, чу-у-ушь... — прислушиваясь к этому слову, повторил он, и слово это ему понравилось. — Все — чушь.

И режиссер надолго умолк, сник. Тут я понял, что ему тоже не с кем разговаривать, кроме меня. Я ведь слушал его, а молчание могло сойти и за согласие. И Жоре не с кем было разговаривать, и Бэле. Только эвакуированные из Киева художница и ее мать не ощущали, видимо, потребности рассуждать.

В кухню заглянула и исчезла молодая и бесцветная жена режиссера.

— Ла-а-а-дно, — протянул он мрачно. — Что-то я сегодня... разговаривался. А ты зря пропустил занятия в техникуме. Мама очень расстроится, если узнает.

Он посидел еще немного и ушел, так и не дождавшись Бэлы, из-за которой, конечно, он тут и оказался.

Да, мама очень расстроится. Ей все мерещится, что я вот-вот сотворю какой-нибудь несусветный проступок и меня исключат из техникума. А это значит, что я останусь без стипендии и вместо рабочих продовольственных карточек буду получать иждивенческие.

Не знал я, куда деться. Я понимал, что в техникум я не пошел единственно из-за того, чтобы побыть со своим горем, отдаться ему, а сейчас уже стыдился этого. Была у меня такая способность — подаваться горю, впитывать его в себя и только потом с ним бороться. Я как бы заманивал горе в свою душу, чтобы победить его там, в глубине.

Почему же — горе? Отчего же я ощущаю себя ничтожным, несчастным?

В кухню вошла Бэла, поздоровалась, но больше ничего не говорила. Я не поднимал глаз, будто она знала, что я видел ее во сне. Я чуть не дрожал от холода, у меня даже уши замерзли, но когда она оказалась рядом, уши у меня горели...

— Я здесь долго не задержусь, — сказала Бэла. — Жора, видно, проворовался, дурак.

Удивительно, что самые пошлые слова, произнесенные ее голосом, как бы теряли свое настоящее значение, превращались в нечто противоположное.

В черном халате до полу, с полураспущенными густыми черными волосами, большими темно-голубыми глазами, Бэла в нашей убогой кухне могла бы показаться прекрасным видением, если бы — не курила.

— Вы курите?! — вырвалось у меня.

— Иногда. Когда отвратительное настроение. Вот как сейчас. Хоть вешайся. Я, конечно, не повешусь, но думать о таком выходе из положения буду. Сейчас слушала по радио письма на фронт и вся изревелась... Ведь и не сволочь я... хуже бывают. Сама воровать не могу, но живу ворованным... Мне бы еще подлости или, наоборот, честности, а я... — Она ушла.

В душе у меня была горькая пустота. Я торчал в промерзшей кухне, уставясь на остывший чайник, и думал о Бэле, вернее, не думал, а пребывал в каком-то состоянии, связанном с ней, с ее существованием в моей жизни и предстоящей разлукой. Мне бы надо было как-то вырваться из этого состояния, сходить бы за дровами, вынести помой, истопить печь... Все эти обычные и необходимые дела казались сейчас мне бессмысленными. В то же время я сознавал, что если не сделаю их, то буду виноват и буду переживать.

Способность мучиться из-за пустяков, самому себе создавать их сохранилась у меня на всю жизнь. словно мало мне настоящих переживаний, я еще вдоволь обеспечивал себя мелкими неудобствами, словно намеренно избегал любой возможности хотя бы ненадолго побыть в покое, хотя бы в относительном самодовольстве.

Стоя в кухне, я мерз и мерз, пытаюсь увериться в невозможности бороться с унынием, сковавшим меня.

Будто на много лет вперед я догадывался, что до конца дней моих мне суждено переживать одну большую заботу, нести ее непрестанно. Я будто предчувствовал себя, того, которому надо еще долго и трудно существовать, и я не то что испугался своего жребия или пожалел о нем, а впервые, пусть подсознательно, ощутил главную заботу своей жизни. Может, впервые я понял, что жить можно по-разному, что само по себе жить и называться человеком еще равным счетом ничего не значит. И не до конца ли дней своих придется мучительно допытывать себя, а что все-таки из тебя получилось и не зря ли ты старался?

Долго я еще мерз на кухне. И подумалось мне, что если все эти взрослые догадаются о моих переживаниях, то вряд ли примут меня всерьез. А мама очень расстроится. Почему же я стараюсь понять этих взрослых, а они принимают меня за кого-то другого, не имеющего со мной ничего общего, кроме возраста и имени? Одна мама предчувствовала мою судьбу, и там, где мне казалась случайность или несущественность, мама угадывала опасность, потому что знала: в жизни цепь случайностей часто оборачивается проявлением жестокой закономерности, уловить которую удастся, да и то не всегда и не каждому, лишь где-то в середине жизни. В предостережениях своих мама была права, а правота ее была до того страстна, нетерпима, что представлялась только следствием обычного материнского страха за любимое чадушко. Ее, мамину правоту, я принял лишь тогда, когда уже сам выстрадал свою правоту, которая тоже, может быть, никому не пригодится.

— Чего ты здесь делаешь? — услышал я удивленный голос Бэлы. — Холодно ведь здесь... А я все думаю, что же я буду делать, когда нас с Жорой разлучит милиция. Опять в барак? Ни за что. А что ты мне можешь посоветовать?

Я пожал плечами, и Бэла обиженно продолжала:

— Вполне допускаю, что тебе даже разговаривать со мной неприятно. Я и на улице чувствую на себе такие взгляды, что будто бы все про меня все знают. Мне ведь и поговорить не с кем. Вот только ты меня и слушаешь. Потому что ничего не понимаешь. Ты думаешь, что ты хороший, а я дрянь. Ты уверен, что ты хороший! — в ее голосе задрожало презрение. — Это лишь потому, что ты не знаешь, как стать плохим. Вот когда ты узнаешь и не станешь, тогда можешь гордиться. — Она резко, хотя и без усилия сменила тон на более спокойный. — Впрочем, зря я все это говорю. Ты хорошо молчишь. И начинает казаться, что ты сочувствуешь... Или ты боишься меня? А может, я тебе нравлюсь?.. Не надо. Ни к чему... Не дай бог, чтобы тебе встретилась красивая баба. Беги от них. Добрую нищи, а не красивую. Впрочем, может достаться и некрасивая, и злая...

В кухню вошел режиссер, а я ушел за дровами. Я колот мерзлые поленья и думал, как долго они, проледенелые насквозь, не будут разгораться, сколько с ними придется помучиться. Недавно мы вырубали их из льда на Каме, потом грузили на автомашину. Возиться с ними было обидно не потому, что они были тяжелыми и выскальзывали из рук и каждое могло тебя покалечить, а потому, что сперва их словно специально заморозили во льду, а потом стали продавать горемыкам вроде нас с мамой, у которых не было возможности достать другого топлива. Вот у Жоры дрова были — легкие, звенящие, пахли лесом, и жаль было класть их в печь. Дрова ему носил я и за это имел право взять несколько поленьев для растопки.

Во мне навсегда сохранилось благоговение перед хорошими дровами, перед огнем, печью, в которой сильная тяга. Сейчас я понимаю, как это много значило — самому добыть дрова, разделить их, принести домой на руках, протопить печь и лишь потом получить необходимое для жизни тепло, которое сейчас идет от батарей центрального отопления.

И в тот день мне особенно хотелось, чтобы огня в печке получилось много, чтобы и мама, вернувшись с работы, посидела перед ним и помечтала, как мы будем жить после войны.

Я принес себе вязанку Жориных дров. Пусть сегодня в нашей комнате будет тепло.

Долго ли я буду помнить о Бэле и что же такое я к ней испытываю? Не одну ведь только жалость. Да и жалел я скорее не ее саму, а красоту ее. Но неужели красота может существовать и иметь значение независимо от той, кому она принадлежит?

Нащепав лучины, я растопил печь, и дрова затрещали веселозесело, словно хотели развеселить меня.

Тут явился Жора. Кажется, я впервые видел его трезвым.

— Сейчас я тебе кое-что покажу, — с гордостью произнес он и тяжело передохнул. — Произведение искусства. А ты мне честно скажешь, нравится тебе или нет. Мне кажется, что получилось здорово. Я ей хорошо заплатил. Идем! — резко и неожиданно позвал он.

Мы прошли в его комнату. Бэлы там не оказалось, и я сначала даже не мог сообразить, зачем же меня привели сюда.

— Ну? Ну? — нервно и нетерпеливо спрашивал Жора, больно толкая меня в бок, и только тут я увидел на стене портрет.

Первое, что мне бросилось в глаза, это прекрасно нарисованная еда: на краю стола две буханки хлеба, открытая банка сосисок, круг колбасы, на тарелке сахар, рядом две бутылки водки, банка лярда (искусственный жир) и пачка «Казбека». Лучшего натюрморта я не встречал в мировой живописи — не по технике исполнения, так сказать, а по силе воздействия: на мгновение мне показалось, что я сыт!

А рядом с едой сидел Жора, держа в руках газету, в своей огромной каракулевой шапке, в наглухо застегнутом черном френче, широченных галифе и в белых валенках.

— Ну? Ну? Ну? — уже криком спросил он.

— Похоже. Хорошо, по-моему.

— Я ей здорово заплатил, — он громко, с облегчением вздохнул, выпил водки, занюхал рукавом и воскликнул: — Вот каким я был! На свободу меня выпустят уже после войны. Буду вспоминать, как я жил, буду любоваться вот этим портретом. — Он отпил водку прямо из горлышка, поперхнулся, закашлялся, из глаз его брызнули слезы. — Буду вспоминать, как воровал водку, хлеб, валенки, телогрейки, тушенку, красивых женщин! И все равно... да, меня не переставали презирать. Ни на секунду. Меня обнимали, целовали и — сплевывали... Вот только сейчас меня оценят серьезно — упрячут за решетку.

Вернувшись к себе, я сел перед печкой. Я чувствовал, что во мне что-то сгорало без остатка, но что именно, еще не понимал. И что-то возникало на месте того, сгоревшего...

Больше я не видел ни Бэлы, ни Жоры. Его арестовали на другой день, когда меня не было дома. Все его имущество, кроме портрета, конфисковали.

Портрет некоторое время стоял в коридоре, я любовался нарисованной на нем едой. Потом он исчез. Художница выполнила на нем один из своих заказов.

СТАРИК И ЕГО САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ

Н

Алексею Решетову

е пейте с утра спиртных и иных возбуждающих сердечную и прочие деятельности напитков, — совсем невесело проговорил старик, наливая в рюмку глоток коньяка, а в чашку — холодного кофе. — Все в жизни надо по возможности делать наоборот, — грустно сострил он, по рассеянности выпив кофе и запив его коньяком. — Не мешайте, мадемуазель, — хмуро сказал он громкой черной мухе, а бесшумной бабочке он сказал: — Я вас приветствую, мадам.

И хотя на самом деле муху следовало бы назвать мадам, а бабочку — мадемуазель, старик, ссылаясь на свой возраст, считал для себя необязательным вдаваться в такие несущественные подробности. Да и просто ему обидно было, что муха хозяйничала на столе, а бабочка брезгливо пролетела мимо.

— Нельзя курить на голодный желудок, — мрачно сказал он, — это очень вредно. — И раскурил трубку, лениво успокаивая себя тем, что если дымил всю ночь, то вроде бы даже обязан встретить восход солнца глубочайшей затяжкой.

...Эх, он ведь был стар, как дом, в котором он жил. А дом за свою долгую жизнь высох, как старик, и каждая дощечка в нем, каждая половица, каждый шарнир превратились в немудреные музыкальные инструменты. И когда ночью, в тишине, налетал ветер, дом наполнялся звуками, которые воображение старика легко соединяло в мелодии любого содержания — от нежных до тревожных.

Днем же никаких мелодий не получалось, дом поскрипывал, повизгивал, покряхтывал самым обыкновенным образом.

Вокруг стоял вековой бор. Сосны неумолчно шумели — глухо шептали кроны, коротко постанывали стволы. Гигантские корни,

будто скрюченные ревматизмом пальцы, в неустанном напряжении держали крутой песчаный берег.

Противоположный берег был пологим, и в безлунные ночи представлялось, что Кама разлилась до бесконечности...

Неподалеку существовала танцплощадка, хилое деревянное сооруженье. Оттуда ветер приносил обрывки музыки: духовой оркестр старательно выдувал чистые старинные вальсы вперемешку с подпрыгивающими, разорванными ритмами.

Старик сердился на танцплощадку — она мешала вслушиваться в музыку бора, в его нескончаемую песню...

Длинными для него ночами старик внимал бору и думал. Он страдал бессонницей и воспринимал ее уже не как болезнь, а как давнишнего врага, коварного и беспощадного. Ведь самый опасный враг тот, кого когда-то, считая другом, близко подпустил к себе, который знает все твои уязвимые места.

Когда-то бессонница, тогда он еще не был стариком, была другом, он звал ее на помощь, и она помогала ему работать.

Конечно же, он и не заметил, как из друга она стала врагом. Старик не сдавался ей, но и победить не мог. У них была многолетняя ничья. Ноль-ноль.

Засыпал старик под утро, просыпался через несколько часов, наугад капал в стакан из какого-нибудь пузырька, неестественно бодро кричал и внушал себе, что абсолютно здоров.

И правда, днем он обычно забывал о недомоганиях, но панически боялся наступления вечера, уже заранее готовясь к изнурительному выжиданию сна.

Хотел он этого или не хотел, а вечерами старик начинал подводить итоги прожитого дня, — вот и не спалось: опять казалось, мало сделал, опять не успел...

Бессонница выматывала еще и тем, что вынуждала вспоминать — не особенно приятное занятие, когда оно не признак молодых нерастраченных сил, а следствие усталости. Да к тому же иногда по сердцу тупо бороздило ощущение тщетности... А о чем, собственно, жалеть? Всю жизнь у него была любимая работа. Сначала он учился строить города, потом строил города, потом учил строить города... Его не будет на земле, а они останутся — и города, и его ученики, а потом — города учеников, потом — ученики учеников...

Ночью, без сна, человек откровенен сам с собой до конца. Размышляя, он как бы снимает с жизни все условности, называет вещи своими именами, и многое становится ясным. Поражаешься простоте и мудрости пришедших в голову решений. Но ближе к рассвету они кажутся в лучшем случае наивными, и снова — тревожно...

А тут еще о чем-то рокошет бор. И даже старый дом, если вслушаться, о чем-то напоминает своими песнями.

«Я совсем, совсем старею, — думал старик. — Жалко...»

Нет, не старость сама по себе пугала его. Он не воспринимал ее, как нечто обязательно связанное только с нездоровьем, угасанием сил и невозможностью ничего исправить. Наоборот, он предчувствовал, что иногда именно в старости приходит награда за то, что не успел получить в молодости.

Да и что такое старость?

Если ее воспринимать лишь как вынужденность коротать оставшиеся дни и тщетно пытаться любой ценой не выбыть из строя, тогда старость — серьезное наказание.

Он верил в другую старость. Пусть она будет телесным недомоганием, но зато принесет с собой ясность ума и чувств, беспристрастную оценку пройденных дорог, и — учтя победы и поражения — он еще сделает бросок вперед. И кто знает, может быть, вся его жизнь и окажется подготовкой к этому броску?

— Ты хитрюга, — говорил он сам себе, — ты уже практически старик, так что брось подобру-поздорову теоретические исследования на тему о старости.

И как же случилось, что он утром вместо капель выпил глоток коньяка, покурил на голодный желудок и — еще несколько глотков?

Старик усмехнулся: все понятно. Так случилось потому, что вчера он встретил свою самую большую любовь, с которой не виделся черт его знает сколько лет.

Увидев ее, старик воскликнул:

— Ты! — и небрежно пожал ей руку. — Ты можешь не попадаться мне на глаза?

— Изменись хоть немного! — смеясь, воскликнула она. — Нельзя же всю жизнь быть одинаковым. Просто удивительно, как я ухитряюсь любить человека с таким отвратительным характером.

— Я могу уйти, — гордо проговорил старик.

— Можешь, — весело согласилась она, — потому что знаешь: я побегу за тобой.

— Скажи! — оборвал старик и больно схватил ее за руку. — Ты действительно любила меня? Да?

— Глупый, — она с сожалением вздохнула и отвернулась, — ни разу в жизни я не произнесла слова «любить» в прошедшем времени.

— Ну, это ты врешь, — с надеждой выговорил старик. — Так не бывает.

— Ты прекрасно знаешь, что я никогда не лгала тебе. А ты никогда не хотел верить мне.

Старик поперхнулся от возмущения и обиды, но его самая большая любовь сказала:

— Когда ты не прав, тебя так и тянет со мной поссориться. Но это удалось тебе только раз.

— Ты стала болтливой, — проворчал старик.

— Конечно. Раньше у меня были зоркие глаза, чтобы глядеть на тебя. Были сильные руки, чтобы обнимать тебя. Раньше у меня были сильные ноги, чтобы спешить к тебе.

— Надеюсь, ты не будешь продолжать этот перечень частей тела? — грубо спросил старик, потому что сейчас ему было необходимо расплакаться.

— Я и до сих пор думаю, как бы я прожила жизнь, если бы не встретила тебя.

— Да хватит, — жалобно попросил старик, шмыгнув носом. — Не смеши меня.

— Если бы я не встретила тебя, — продолжала она, — до чего же тускло я прожила бы! Даже подумать страшно.

— Врешь, так не бывает! — и старик вцепился зубами в трубку.

— Как ты изводил меня! — восторженно воскликнула его самая большая любовь. — Сколько я слез выплакала из-за тебя!

— Сто ведер. Эмалированных.

— Не меньше.

Она стояла перед ним, маленькая, высохшая, в больших круглых очках, в каких-то детских тапочках. Старик сказал с невольным вздохом:

— Кто бы сейчас поверил, что когда-то ты... — он опять погрыз мундштук.

— Ты веришь, и мне этого достаточно.

Старик задумчиво покачал головой. Сгорбившись, он смотрел на свою самую большую любовь сверху вниз, долго смотрел, спросил:

— Значит, ни о чем не жалеешь?

— Не знаю. Скорее всего, нет.

«А я? — думал старик, бродя ночью по берегу. — А я жалею?» Ноги словно сами собой обходили в темноте узлы корней, перешагивали через вросшие в песок пароходные цепи.

Река всегда успокаивала его. Если он приходил к ней растерянный или отчаявшийся, то смотрел на воду до тех пор, пока поток чувств и мыслей не становился плавным, как течение реки. И даже зимой она оставалась для старика живым существом, страсти которого сокрыты, но ждут времени, чтобы прорваться.

Но вчера река оказалась впервые бессильной. После встречи со своей самой большой любовью старик не мог успокоиться.

Он вернулся домой, сел на балкончике.

У него было такое состояние — то ли он чего-то потерял, то ли вот-вот найдет что-то.

Давно смолкла танцплощадка. Он слушал бор. Его монотонная, похожая на морской прибой песня напоминала о чем-то вечном...

Стало прохладно, и старик шагнул в комнату, сел и зажег настольную лампу, и увидел свою тень на стене.

«Старики часто бывают похожи на сердито нахохлившихся или задумавшихся птиц, — пришло ему в голову. — Птица — символ свободы, молодости, устремления вверх, в беспредельность, в недостигаемость. и — старость? — Он пожал плечами, а его тень как бы пошевелила сложенными крыльями. — Причем птицы чаще гибнут, чем стареют... И все-таки старики часто бывают похожи на птиц, — упрямо думал он, — на птиц! Усталых, неспособных к полету, но ведь летали когда-то? Иначе откуда быть сходству?»

Старик встал и раскрыл окно, чтобы лучше слышать бор.

Комната была большой, но столь нелепо загромождена вещами, что свободного пространства почти не осталось. Радиоприемник на низкой подставке оказался почему-то на самой середине комнаты, кровать почему-то была далеко отодвинута от стены. Книжные полки наклонились и грозили рухнуть.

Сюда старик переехал лет десять назад, когда захотелось тишины, и как в суматохе переезда расставил вещи, так они и стояли до сих пор.

На столе лежала рукопись его последней книги. Старик был уверен, что успеет ее закончить, и она получится именно такой, какой он мечтает ее увидеть. В ней он расскажет обо всем, что узнал за всю свою жизнь о науке строить города. Может быть, ради этой книги он и жил, а все остальное так, сопутствовало.

Жил он один.

Одиночества он не боялся, да и сюда, в пригород, друзья навещали куда чаще, чем раньше в городскую квартиру. Они приезжали неожиданно, возбужденные недолгой свободой от жен и внучат, шумные, веселые; доставали бутылки с вином и скляночки с валидолом, рассаживались кто где и начинали разговоры.

Случалось, что и пели.

А под конец почти всегда ссорились: видно, модели, вырвавшись из круга привычных, но старящих забот, горячились...

А вчера старики расхвастались. У них, оказывается, у каждого была в жизни большая любовь, да такая, что — давайте-ка выпьем за нее!

Эх... были когда-то и мы этими самими... как их?

У каждого и большая... Ах, какие это были любви! Беззаветные, самоотверженные, добрые, готовые на любую жертву... И если не выскакивала на дряблые щеки слеза, то лишь потому, что есть еще порох в пороховницах!

Эх, какие они были, эти любви...

Старики пели с молодой удалью и отчаянием, разбросав галстуки и пиджаки по всей комнате, стиснув друг друга за плечи...

хрустели под ногами запонки... И появись здесь нынешние девушки, они бы погоревали, что родились поздно, что настоящие-то парни — вот они...

Тут старик и придумал историю о своей самой большой любви и о недавней встрече с ней. Сочинял он с такой верой, убежденностью и потребностью, с какой зовут на помощь в трудные минуты жизни.

Начав сочинять, он еще сдерживался, чтобы рассказ его выглядел наподобие тех, которые он слышал от друзей, но увлекся и...

И она сказала, когда уже собрались прощаться:

— Напиши мне хоть одно письмо. Несколько строчек, и я буду носить их у сердца.

— У старого сердца, — проворчал он. — Ты стара для лирики. Тем более я. И вообще...

— Ты просто не можешь простить себе своей главной ошибки, — мягко перебила она. — Злишься, что слишком поздно понял, что одна я любила тебя по-настоящему.

— Я слишком поздно понял! — воскликнул старик, и трубка упала на землю. Он. кряхтя. нагнулся за ней, вытер полый пиджака мундштук и закусил его. — А ты не могла подождать? — поневоле сквозь зубы спросил он. — Ты могла не выскакивать замуж сломя голову?

— Я женщина, — тихо и виновато объяснила она, — представительница так называемого слабого пола. А мы прощаем мужчинам все, кроме того, когда они не считают нас женщинами.

...Сочиняя это, старик боялся, что ему не поверят. Но случилось нечто более неприятное: ему поверили. И тогда ему стало стыдно. Но останавливаться было уже нельзя, да он и не мог, и — продолжал.

— Ты знаешь, — сказала она, — иногда судьбу решают десятки лет, иногда годы, а иногда, особенно у женщин, и мгновения. Ты не уловил мгновения, которое решило твою и мою судьбу. И я знаю, почему ты поступил так. Мужчины настороженно и недоверчиво относятся к тому, что их сильно любят. Боятся. Потому что встреча с такой любовью требует, чтобы человек стал лучше. И вот ей, этой любви, назначают испытание за испытанием: она ведь все должна выдержать, раз она сильная. А пока мы испытываем, глядишь, она и согнется.

— Здорово ты научилась философствовать, — как можно насмешливее постарался сказать старик. — Сильная любовь, — почти продекламировал он, — зависит от мгновения... Так?

— Всего-навсего. Сколько я прощала тебе, помнишь? А ты придумывал и придумывал новые испытания. — Она посмотрела на него с сожалением. — Ты боялся моей любви, потому что она была во

много раз сильнее твоей. Тебе было стыдно, что ты не можешь полюбить, как я.

— Неправда, — сказал старик.

— Правда, — ласково возразила она. — Ты долго боролся сам с собой, самому себе доказывая, что ты — конечно, счастье для меня, а вот я для тебя... Хоть бы оттолкнул меня, что ли! — она даже прикоснулась к его руке, словно все это происходило не много лет назад, а сейчас. — Нет, не оттолкнул. И не звал. Я всегда приходила сама. И вдруг я устала, — виновато призналась она, но в голосе проскользнули нотки горького сожаления. — Я бы все выдержала, но... устала. На какое-то маленькое мгновение мне потребовалось доказательство твоей любви, чтобы передохнуть, набраться сил, и именно в это маленькое мгновение... — она закусила губу, — ты и был занят вышеупомянутой борьбой. И я ушла. Сразу. И навсегда.

— Жалеешь? — только и мог спросить старик.

— Я не хотела этого, — не слыша его, продолжала она, — но отомстила тебе. Отомстила, — устало повторила она. — Тебе казалось, что ты легко забыл меня, а пронес меня через всю свою жизнь. Забытая, я владела тобой, с кем бы ты ни был. И они, с кем ты бывал, чувствовали, что я рядом, и ты не весь принадлежишь им. Тебе казалось, что ты сам уходишь от женщины, потому что разлюбил ее, а ты никогда и не любил ее, а это я уводила тебя. Я не разрешала тебе никого полюбить так, как я любила тебя...

— Ладно, — одними губами говорил старик, — пусть... Но... неужели у тебя не появлялось... как это?.. желания напомнить о себе?

— А зачем? Стоило бы мне вернуться к тебе, и все началось бы сначала. Но я боялась не этого. Дело в том, что я, которая ушла от тебя, я ушла вообще, меня больше не существовало. Была уже другая я. Иногда я даже завидовала самой себе. Бывают счастливые люди — которые умеют любить. И как! Мне это счастье выпало один раз в жизни...

...Старик замолчал.

Молчали старики.

— Дурак, — сказал один из них, самый старый, — вопиющий дурак. — Никто ему не возразил.

Каждый взял стакан и выпил за здоровье своей самой большой любви, потому что каждый перед ней был хоть немного, но виноват.

И в этот вечер старики впервые долго сидели молча, слушали бор, морщились от звуков танцплощадки и ожесточенно дымили, даже те, кто давно бросил курить.

— Дурак, — повторил самый старый старик.

А когда ветер перемешал песнь бора со звуками танцплощадки, засобирались домой.

Старик проводил их до пристани, помахал шляпой, долго стоял, словно чего-то потерявший, а потом бродил по берегу.

Плохо было старику.

До того плохо, что даже река не утешила его.

Для чего он придумал ту, которой не было?

Он тяжело поднялся по скрипучей лестнице к себе на второй этаж, постоял на балкончике и ушел в комнату.

Тревожно и мудро пел бор. И старый дом, как бы подхватывая эту песнь, был наполнен грустными короткими мелодиями. Ведь за свою долгую жизнь он высох, и каждая дощечка в нем, каждая половица, каждый шарнир превратились в немудреные музыкальные инструменты...

Старик сидел на подоконнике, забыв о бессоннице.

То есть как это — не было большой любви?

Была когда-то, но когда?

Позвольте, позвольте... Жenu он любил, конечно, это он точно помнит. Жили, как люди живут, только вот детей не было. Восемнадцать лет длилась эта история. И восемнадцать лет жена упрекала его в том, что он плохо ее любит. Каждым взглядом своим, каждой ноткой голоса упрекала... И он всегда чувствовал себя виноватым перед ней. Когда же она умерла, он лишний раз понял, что все-таки любил ее — горькой, какой-то словно согнувшейся в ожидании удара любовью...

Были еще женщины, поначалу даже хорошие, иногда добрые, но потом они упрекали, упрекали, упрекали... и в душе возникала пуста.

И, слава богу, со временем он получил возможность обходиться без них.

...Может быть, самая большая любовь — это работа?

Ему давно хотелось лечь, но он устал и больно сидел и курил.

Таяла ночь.

Из-за Камы едва-едва светало. Вернее, еще не светало, но у всего живого рождалось предчувствие близкого рассвета.

Бор успокоился, и песнь его была просто грустной.

Дом замолк. Ведь он был стар, как старик, и ему требовался отдых.

А старик вышел на балкончик, чтобы быть поближе к песне со-сен.

Нет у него к судьбе особых критических замечаний, хотя она могла быть и лучше.

Могла быть и хуже.

Не в этом дело.

Просто надо выдержать свою судьбу, и ничего у нее не просить. Непоправима только смерть.

...Ночь растаяла.

Вокруг уже начинали петь птицы — понеделугу, пробуя голос. Ночная песнь бора сменилась утренней — светлой, наполненной ожиданием радости и покоя.

«Я честно прожил свою жизнь, — подумал старик, но от этой мысли ему не стало легче. — Я был счастлив своим трудом. — Он вздрогнул от возмущения. — Ты еще похвастайся тем, что никого не предал, не убивал, не воровал! Был ли ты счастлив лично? Дал ли кому-нибудь личное счастье? Хоть одной женщине? Хоть одному ребенку?»

Детей у него не было. Женщины были.

...Старый дом словно отдохнул и начал повизгивать, поскрипывать, покряхтывать.

Солнце стало теплым.

Старик поздоровался с мухой и бабочкой, выпил глоток кофе, запил его коньяком и раскурил еще теплую трубку.

И тут он обрадовался. Ведь была в его жизни большая любовь! Была! Он вспомнил ее сразу, в один миг, как будто она появилась рядом.

— Не пейте с утра спиртных и иных возбуждающих сердечные и прочие деятельности напитков! — весело и громко повторил он. И выпил еще глоток.

Охо-хо... Это была самая большая и самая первая его любовь — глупая, как ему тогда казалось, девчонка с острыми локотками, в застиранном платьице, робкая на людях и отчаянная, когда оставалась с ним вдвоем. Никогда ничего она не просила, всегда была за все благодарна, богатая своей любовью. Она была его первой, и никто не сумел с ней соперничать. Все, что он узнал о женщине, о любовном счастье, он узнал от нее, и ни одна не смогла этого повторить.

А он не понял.

И она ушла.

Или он ушел?

И долго казалось: забыл.

Забыл по-молодому, без сожаления, тем более без укоров совести. И пронес ее через всю жизнь. Она была в такой глубине души, что чувствовалась оттуда как далекое-далекое эхо неизвестного голоса. Забытая, она владела им. Она не простила ему, что он не понял ее. Она как бы растворилась в нем... Ему казалось, что он уходит от женщины, потому что разлюбил ее, а он и не любил ее, а это она уводила его, она, его самая первая, самая большая и последняя любовь. Не разрешила она ему никого полюбить так, как она его любила.

И все-таки она была.

...Старик вернулся в комнату, и остатки запонок проскрипели у него под ногами.

Он куда-то торопился, но не мог понять куда.

А он торопился доказать ей, что не зря они встретились. Он докажет ей это.

Старик сел за стол работать. Ведь он был стар, как дом, в котором он жил, и ему действительно надо было торопиться...

1964 г.

НАТАЛИ ПЕТРОВНА

Н

атали родила девочку и от радости чуть не заплакалась, а вспомнила, как вчера ехала сюда, и чуть не засмеялась.

Она любила необычные ощущения и всегда их искала. Ей до замирания сердца, до холодка по коже нравилось совершать поступки, неожиданные не только для окружающих, но и для нее самой, и обязательно наперекор привычному.

А может быть, она просто обманывалась. Может, это жизнь все время подсовывала ей неожиданное, вынуждала ее поступать наперекор привычному, а Натали думала, что это она делает по собственной воле.

Роды предстояли, как говорили в консультации, чрезвычайно тяжелые. Ей даже советовали отказаться от ребенка, показывали научные книги, где описывалось то, что могло случиться с ней.

Врач сказал:

— Тем более в вашем положении, милая...

— Положение тут ни при чем, — резко и гордо отозвалась Натали и сразу почувствовала себя виноватой. — Простите, но я сейчас плохо соображаю. Очень плохо соображаю.

На самом же деле ей просто захотелось поступить наперекор тому, что ждали от нее все.

Врач словно учуяла причину сопротивления Натали разумному совету и сказала:

— Смотрите. Дело ваше. Я вам советую не только как врач и как женщина, в конце концов, как пожилой человек. Даже если все окончится более или менее благополучно, а в такой исход можно верить, жить вам будет... — Она прищурила усталые глаза, помолчала, видимо, прикидывая, сможет ли Натали выдержать. — Словом, решайте. Вернее, решайтесь.

И Натали решилась. И ничто уже, и никто уже не мог бы ее переубедить.

Игорь проворчал:

— О таких вещах по телефону не говорят.

Удивительнее всего было то, что она нисколько не боялась. Большая часть ее жизни, особенно после смерти матери, представлялась ей как бы чужой, принадлежащей кому-то другому. Она не могла свыкнуться с тем, что вот она — это она. Натали казалось, что настоящая она осталась где-то лет десять назад, а вместо нее появилась новая Натали... И рожать надо было этой, новой, а не ей, настоящей...

Вчера, почувствовав внутри себя тупые толчки, она испугалась, но не вызвала «скорую помощь», а отправилась пешком; ждала приближения боли и радовалась, что уже не боится их. Как бы там ни было, а скоро все станет на свое место.

Ей всегда говорили: «Дело твое. Решай сама». Она и привыкла решать сама, решать быстро, бесповоротно.

...Войдя в трамвай, Натали едва не вскрикнула; кусала губы, отвернувшись к окну.

— Билетик, гражданочка, купим.

А ей подумалось, что если она сделает хоть одно движение, то случится что-то страшное.

И она виновато прошептала:

— Я в родильный дом еду.

Кондукторша кричала на остановках:

— Граждане, поторопимся при выходе — девушка в родильный дом спешит!

Натали еле сдерживала стоны и улыбалась вместе с пассажирами. А в трамвай она села зря: пешком было куда ближе. Но она лишний раз доказывала себе, что ничего не боится.

...Потом она долго лежала под слепящим светом огромной лампы, будто развороченная болью, пыталась вспомнить страницы научных книг, чтобы представить, что же сейчас с ней будут делать.

— А мне никто не советовал, никто, никто, — сквозь зубы прошептала она гордо, чтобы подготовиться ко всему. — Никто. Не советовал. — И когда боль стала захлестывать сознание, Натали сказала почти спокойно: — У меня просьба. Если со мной что-нибудь... дочь назовите Настей. А если мальчик, то Степа... то есть Степан...

«Усну, усну», — с блаженством подумала она и уснула.

А потом она как бы выплывала из глубокого-глубокого сна и не могла выплыть, только чувствовала сквозь полузабытье, что над ней тревожно трудится много осторожных, ласковых рук.

И непонятно, то ли во сне, то ли наяву, — полуодетая, в одной рубашке, мокрой на груди от молока, брела она по снегу, кото-

рый сначала был холодным, потом — горячим. Потом она вдруг оказалась на берегу моря, наполненного грозными голосами: не волны катились по нему, а хоры, грозно и монотонно рокошующие о беде и опасности.

Она раскрыла рот, пыталась крикнуть и — не могла. Временами она чувствовала, что умирает, но не чувствовала страха, и тогда от этого было страшно. Ей хотелось вырваться из долгого ощущения нереальности, но даже боль принадлежала уже как будто не ей, а, чужая, летала вокруг и часто вливалась в Натали, чтобы через мгновение отлететь, а через мгновение — снова впиться...

А на берегу моря свирепствовала метель и пронизывала всю Натали насквозь... Хлынул липкий теплый дождь...

— Не кусай губы-то, — неожиданно ясно услышала Натали, открыла глаза, сначала ничего не видела, но уже понимала, что проснулась; попросила сухими губами:

— Пить.

— Переоденемся, милая, чуток... вот так... хорошо нам будет...

Натали исполняла приказания как бы не сама. И только резкая боль в животе привела ее в себя. И одновременно с болью возникла уверенность, что сейчас боль уйдет... Тело казалось ватным, но боль таилась в каждой мышце, в каждом движении. Захотелось стонать громко, жалобно, дико...

— Пить.

Вода была невкусной, и именно это ощущение помогло Натали вконец очнуться.

Тут нянечка сказала ей, что она родила дочь, и вот тут Натали чуть не расплакалась от радости. Сразу подумалось: «Теперь все хорошо. Больше я ничего не боюсь. Больше мне ничего не надо».

— Два сто. Человек, — сказала нянечка.

— А зовут ее знаете как? Настя.

— Кто придумал? — восторженно спросила нянечка.

— Я, — гордо отозвалась Натали и добавила грустно: — Сама. Одна.

И снова уснула, вернее, погрузилась в сон. Спала она плохо, часто просыпаясь, не понимая, что с ней, где она и даже — кто она.

— Все, — сказала Натали, заставив себя очнуться. — Хватит. А то стыдно.

— И не ругает тебя никто, — шепнула нянечка. — Кричи вдоволь. От этого легчает. И врачи советуют. У нас все кричат.

— А я не буду.

— Ну и зря. Надо тебе чего?

— Нет.

Была ночь.

Кто-то капризно стонал в дальнем углу палаты, под кем-то скри-

пела металлическая сетка, откуда-то снизу доносились дикие выкрики.

«И я так же кричала. Хватит, — с неприязнью подумала Натали. — Просто надо взять себя в руки. Самое страшное позади».

Думать было легко. Она наслаждалась самым сознанием того, что может думать, вспоминать... А думать было о чем, и было что вспоминать... Вот ведь как бывает. *Sectio caesarea* — кесарево сечение. Как там, в научных-то книгах, сказано? Или в интересах матери? Или в интересах плода? Интересно...

Надо завтра попросить врачей, чтобы ей разрешили взглянуть на свой бедный животик... Разрезали, зашили... А Настя живет...

И если бы Натали не умела поступать наперекор привычному, дочери не было бы на свете. Натали поступила в ее интересах...

Думать было больно. Двигаться было больно. Не двигаться — тоже больно.

Все было больно.

Но в ней еле-еле, да теплилась какая-то сила, которая заставляла Натали и думать, и не сдаваться боли, и быть готовой ко всему.

...Почему она изменила самой себе? Где? Когда? Не так ведь она хотела жить, не так! Может, сделать *sectio caesarea* самой жизни? А в интересах кого?

«Хватит, — приказала себе Натали, — хватит. Только не паниковать. Решай сама». И она стала мечтать, как будет жить с Настей, кем вырастет дочь. Конечно, лучше, если она станет певицей, — сможет петь людям песни.

Бабушка рассказала однажды грустную историю своей жизни. Муж запретил ей учиться пению: тогда профессия актрисы в обществе, к которому он принадлежал, считалась чуть ли не позорной. Муж умер рано, а она так и не стала певицей. И теперь, старая, она иногда садилась за пианино и пела... Голос был молодой. Слушая, Натали думала, что легче жить тем, кто умеет выразить свою душу...

Неожиданно и резко закрыв пианино, бабушка говорила:

— А и ладно.

И долго сидела, сгорбившаяся, какая-то очень одинокая.

К ней даже приезжал длинноволосый, обсыпанный сигаретным пеплом старик, недоверчиво расспрашивал о том, что у нее будто бы сохранился голос. Бабушка очень смеялась «нелепым выдумкам» и «непродуманным сплетням», а когда длинноволосый старик уехал, вымела пол около стула, где он сидел, и — заплакала.

— О чем ты? — спросила внучка.

— Так. Обо всем. Или ни о чем.

Почему же бабушка, человек с твердым и сильным характером,

не настояла на своем? Почему покорилась чужой воле? Разве обязательно расплачиваться собственной судьбой за судьбу другого, даже любимого?

Натали спросила однажды:

— Но почему ты не вышла замуж... ну, вторично?

Бабушка ответила, подумав:

— А мне больше никто не понравился. А без любви... я не рискнула. Я ни разу в жизни никому и ничему не изменила. Особенно — себе. Даже тогда, когда это было в высшей степени бессмысленно. Вообще, я прожила странную жизнь, временами просто нелепую. Но я ни от кого не зависела.

— Неправда, — возразила Натали, — ты всегда зависела от него, — и кивнула на портрет деда.

— Мне этого хотелось. Я любила его.

...Настя будет певицей, не обязательно профессиональной, а вот как ее прабабушка, чтобы в иные — трудные минуты жизни уметь выразить свою душу, освободиться от того, что теснится в ней и ищет выхода.

Проснулась Натали раньше всех в палате.

Ей показалось, что сердце лопнуло — резкая боль в нем содрогнула ее и сразу исчезла.

Натали выждала, осторожно передохнула и подумала: «Ничего, ничего. Ничего особенного. Это вполне естественно. Так и должно быть. Будет еще хуже. И я должна все выдержать».

В глубине сознания бродили тревожные мысли, неуловимые и холодные. Она боялась пошевелиться, словно могла спугнуть их резким движением.

«Не надо ничего бояться, — твердила она себе. — Что бы там ни случилось, ничего уже не исправить. Тебе осталось одно — жить, исходя из того, что произошло, а не из того, чего бы тебе хотелось».

И опять она заметила, что в ней тлеет какая-то сила, от которой легче, и она, эта сила, зреет.

Нянюшка пришла подозрительно веселой и шумной, что-то без умолку говорила, и Натали готовилась встретить недобрую весть.

Стали разносить детей для кормления. Натали уже знала, что Настю не принесут.

— Настасья-то наша заболела, — напряженно-весело сказала нянюшка. — Сегодня мы ее без тебя покормим. Лежать ей надо, не двигаться. И волноваться ей нельзя. И тебе волноваться нельзя. И двигаться тебе нельзя.

Врачей пришло неожиданно много, и вели они себя подозрительно.

Натали все выслушала внешне спокойно, и врачи, как ей показалось, растерянно переглянулись.

Но пока говорили только о Натали, а о Насе не было сказано ни слова.

— Она умерла? — не своим голосом спросила Натали.

Кто-то из врачей машинально кивнул. Нянечка всхлипнула.

— Дайте мне чего-нибудь уснуть, — тихо попросила Натали.

Ее освободили от молока, туго перебинтовали груди, сделали укол, дали чего-то выпить и все время говорили...

У нее хватило сил сдержаться, вернее, у нее не хватило сил ни крикнуть, ни пошевелиться. Натали молчала. Немота сковала ее. Онемели мысли и тело. Даже боли в нем не было.

Она — потом — кричала нечеловеческим голосом, рвала на себе волосы, металась, запутавшись в бинтах, вскочила, кулаками разбила окно, бросилась вниз на асфальт, с наслаждением, после долгого полета, ударилась о него головой, но все это лишь мысленно и оттого — страшнее...

И ей показалось, что она не спит, а оглохла и ослепла. Натали вся напряглась, укусила губу и заставила себя проснуться.

Болела голова. От прикосновения к подушке ныл затылок.

Увидев нянечку, Натали едва пошевелила губами:

— Что же мне теперь...

— Об себе думать, — строго, даже грубовато ответила нянечка, — о том, чтоб на ноги встать.

— А за что? — вырвалось у Натали. — За что меня... так?

— Медицина, — виновато отозвалась нянечка. — Организм.

У врачей потом спроси. Они тебе все опишут.

— У врачей... я не о том.

— А об чем же?

— Вот раньше говорили: бог наказал. А меня кто?

— Температуришь? — обеспокоилась нянечка. — Может, дежурного врача позвать?

— Сама я себя наказала, — неуверенно произнесла Натали. — Принесите мне, пожалуйста, чаю.

— Ты лишние-то слова не говори, — грубовато посоветовала нянечка. — Какие тут «пожалуйста» могут быть? Тяжело ведь тебе.

— Чаю. Крепкого. И уснуть чего-нибудь. А то я с ума сойду.

— Нет. — Нянечка глубоко заглянула ей в глаза. — Не сой-дешь. Не имеешь права. Да и крепкая ты.

Потом Натали пила вязкий, пахнувший веником чай, обжигалась, потому что руки мелко дрожали.

— Тебе, главное, на себя надеяться, — задумчиво шептала нянечка, — это уж надо. Такое пережила, что хуже может быть? А ты все выдержишь. Обязана потому что.

Проснулась Натали в другой палате. Рядом опять сидела нянечка. Они встретились глазами, долго смотрели друг на друга.

— Вот поправлюсь, — заговорила Натали, чтобы ни о чем не думать, — и буду жить не так, как раньше жила.

— Ты, главное, витамины ешь. Не жалея уж денег.

— Денег? — удивилась Натали и стала судорожно вспоминать что-то. — Денег? — с неожиданным раздражением переспросила она и вдруг разрыдалась, словно только что нашла для этого причину.

— Ты чего? Ты чего? — испугалась нянечка.

Натали бормотала сквозь всхлипывания:

— При чем тут деньги... я их ненавижу... из-за них... — И резко, подавив рыдания, проговорила: — Деньги тот любит, у кого души нет.

— Да как сказать... Я вот из-за них работаю, из-за денег. Чего ж мне их не любить? Да и душа у меня вроде бы имеется. Нет, их уважать надо, а то ножки протянешь.

Натали приподнялась на локтях, но нянечка крепким движением придавила ее обратно, приговаривая:

— Лежи, лежи. Не травми себя разговорами. А то, как сюда упадут, так и начинают... будто раньше не было времени об жизни толковать.

— У меня Игорь... муж... то есть... неважно, кто он... ну, он потерянных билетов сто штук купил... систему придумал... рассчитал... и ничего не выиграл... злой был. Понимаете, злой. Долго злой.

— А как же? Сто штук. Я два покупала и то сплонула, когда ничего не получилось...

Они опять долго смотрели в глаза друг другу; машинально поправив полотенце на спинке кровати, нянечка пошла к выходу, в дверях задержалась, но не оглянулась.

Нудно ползли дни.

Натали покорно принимала лекарства, морщилась от уколов, радостно ощущая, что силы понемногу возвращаются к ней. На последнем осмотре ей сказали, что она довольно легко отделалась. Слова эти, произнесенные самым добродушным тоном, все же обидели Натали.

— Да, вы легко отделались, — повторил врач, видимо заметив, как нахмурилась Натали. — Все могло быть гораздо хуже.

«А еще — будет, — подумала Натали, — но я уже не боюсь. Теперь-то я знаю, что все зависит от меня».

Временами казалось, что гнетущие мысли, тоска и неверие в счастье существуют как бы сами по себе, рядом с радостями, не соприкасаются, и от нее зависит, которым из них подчиниться.

Впервые она принимала бытие в его разительных, почти несовместимых противоречиях. Еще недавно Натали считала, что судьба

бывает либо счастливой, либо несчастной, что горе — это только горе, радость — только радость. Нет, в каждой судьбе переплелось все, и в несчастье заложена возможность обязательного освобождения от него, а в радости — опасность ее потерять. И самые счастливые те, кто воспринимает жизнь не как чередование не зависящих от них случайностей, а как всегда трудную задачу, условия которой могут быть любыми, но решать ее надо именно в том виде, в каком она задана.

И еще Натали остро отметила: в каждом случае человек знает или, по крайней мере, догадывается, что ему следует делать, но часто пытается уйти от единственного разумного выхода, ищет легкий, запасный, а этот почти всегда бывает неверным.

«Вы легко отделались», — вспомнила она и попросила нянечку принести зеркало.

— На поправку, значит, идешь, — нянечка лукаво улыбнулась. — Вчера бы я не принесла. До сегодня ты смутно выглядела. А вот с утра — ничего.

Зеркало оказалось большим, нянечка прижимала его к животу, как икону.

— Ничего, ничего, — приговаривала она, глядя на недовольную Натали, — другие куда похуже в таких-то случаях бывают. Нагляделась?

— Вполне, — ответила Натали. — Спасибо. Сама не знаю, чего-то вдруг захотелось на себя взглянуть... — Она замолчала, подумав, что, может быть, и не следовало просить зеркало, когда рядом лежат пожилые больные женщины. — Понимаете...

— Все понимаем, — оборвала нянечка и ушла.

И Натали вспомнила лицо, которое увидела в зеркале, и поразилась ему, как чужому, — будто знала она раньше этого человека, а тут не узнала. И не худоба изменила его. А только взгляд. Она долго искала ему определение и решила, что взгляд теперь стал взрослым, что ли.

Да, она выросла, и даже сама чувствовала это. Здесь, окруженная бедами и несчастьями, угнетенная собственным горем, она не упала духом, а, наоборот, — снова убедилась, что все беды преодолимы.

Здесь часто бывала смерть, иногда — неожиданная, а иногда — и долгожданная.

Здесь Натали слышала столько рассказов об искромсанных судьбах, неудачных жизнях, болезнях, похожих на кошмарные сновидения, что сначала была подавлена. Конечно, она понимала, что в больнице нервы обнажены и натянуты, что нельзя судить о всей жизни по этим вот несчастным людям, но и не знать о них — нельзя.

Пожалуй, ни к чему человек не относится так беззаботно, как к здоровью. А ведь болезни, верно, самый коварный враг жизни. И, как всякого врага, их не надо бояться, но помнить о них надо всегда.

И Натали воспринимала многие страшные рассказы, словно горькое, но целительное лекарство.

Здесь она видела и много счастья — большого, теплого материнского счастья... И кусала губы, чтобы криком не позвать Настю, которой она даже и не видела ни разу.

Дочь приходила к ней ночами, и было стыдно, как всегда бывает стыдно перед умершими, стыдно и пусто. Натали чувствовала себя виноватой, до того виноватой, что начинала оправдываться за свое поведение...

Тогда наступало самое жуткое — мысли исчезали, будто растаивали, исчезали все чувства и ощущения, даже физическая боль — когда ничего не было... Тогда она была готова уже не заплакать или зареветь, а просто — взвыть. Она неподвижно лежала на спине, вытянув руки вдоль тела, не в силах сжать кулаки. И хотя сознание работало притупленно, она понимала, что обязана выздороветь. Для этого нельзя распускаться ни на мгновение, иначе... Она помнила, чего ей стоило одно мгновение слабости... вот оно привело ее сюда...

И лишь когда неожиданно и ненадолго наступала тишина, Натали отдыхала — разрешала себе поплакать, а после засыпала глубоким, живительным сном.

Так боролись в ней здоровье с нездоровьем, зато в сознании все чаще и чаще наступал покой.

Многое она здесь узнала.

О многом она здесь передумала.

О многом вспомнила.

...Сидели как-то с Игорем в гостях. Обильно накрытый стол, разговоры ни о чем, совсем немного танцев, чуть-чуть песен.

И вдруг она услышала тоскливый, грозный и отчаянно беспомощный львиный рык.

— Это в зоопарке, — объяснили ей, — тут рядом.

То ли обидели льва, то ли им овладели воспоминания — он рычал со звериной откровенностью и человеческой надеждой быть услышанным и понятым. Может, он ни разу в жизни и не был настоящим львом, может, он и родился-то в клетке, но в эту ночь ощутил себя львом и — удивился своей судьбе?

— Чего он разорался? — спросил Игорь, с наслаждением затягиваясь сигаретой (он все делал с наслаждением). — Глупо, правда? Помалкивал бы уж лучше. Царь зверей.

— И все же он царь зверей, — почему-то возразила Натали, — даже в клетке.

Игорь снисходительно усмехнулся (он всегда снисходительно усмехался, когда с чем-нибудь был не согласен) и проговорил:

— Каждому свое, Натусь. И лев, лишенный возможности быть львом, смешон и жалок. И тем он смешнее, чем больше хочет быть львом.

— Ты сам сказал: лишенный возможности. Значит, он не виноват в том, что он не лев?

— Пожалуйста, не надо философии.

В ту ночь Натали долго мерещился львиный рык, и было жаль льва. Игорь спал спокойно, и она подумала: что, если — закричать?

...Пусть во многом она и не права. Но в одном она права безусловно: она старалась жить так, чтобы, даже потерпев поражение от судьбы, сказать: «Я сделала все».

Ее прежняя жизнь сейчас казалась ей картиной, которую писали разные люди, и оттого на картине был беспорядок, состоящий из случайных деталей, главного — не было видно.

«И не надо, — твердила она себе. — Вот возьму и — не буду переживать. Ничего не буду переживать. Буду жить».

А — переживала.

Отец ее был бухгалтером, мать — хористкой в оперном театре.

Существовала Виолетта Яковлевна безалаберно, без всяких на то оснований считала себя красавицей и непризнанным талантом, часто пыталась испугать тихого, покорного мужа выпренними угрозами «уйти хоть куда, только бы не быть с таким под одной крышей» и еще чаще, выпренное обвиняла его в том, что он «искалечил мою, блестяще начавшуюся жизнь».

Петр Евгеньевич был книголюб и коллекционер. Приходя домой с каким-нибудь новым приобретением, он только и ждал, чтобы остаться одному.

Жена могла говорить ему что угодно, кричать, жестикулировать у самого его носа — он не обращал на это внимания.

Даже маленькая дочь не знала, как к нему подойти, и держалась от него в стороне, а когда подросла, то поняла, что это он сам держался в стороне от всех и не хотел, чтобы к нему подходили. Он даже физически занимал немного места — обычно сидел за своим столиком в углу, поджав ноги. Спина ко всем.

В начале войны театр перевели из областного города в небольшой районный центр, чтобы освободить место для эвакуированного крупного театра.

А через несколько дней после переезда провожали в армию Петра Евгеньевича. Он уходил на фронт добровольцем.

Виолетта Яковлевна раскричалась. Он ответил:

— Сейчас подло думать о своей шкуре. Отечество в опасности.

— Но там от тебя будет меньше пользы, чем...

— Молчи. Ты ничего не понимаешь.

Впервые он оборвал ее, и она даже испугалась.

Всегда он носил мешковатые костюмы, а тут, в военной форме по росту, Петр Евгеньевич оказался неожиданно стройным, высоким.

Перепуганная на вокзале шумом, гамом, духовым оркестром, Натали разревелась. Отец больно обнял ее, и она заплакала еще громче.

— Не забывай меня! — кричала Виолетта Яковлевна. — Помни, что я не переживу твоей гибели!

И вот, когда подступили настоящие беды, когда для того, чтобы выжить, потребовалось мужество, она словно сбросила с себя привычный театральный костюм, стерла грим и стала добрым, понимающим свое назначение человеком.

Жили они с дочерью в маленькой комнатухе, голодали, мерзли, болели, а — хорошо жили. Виолетта Яковлевна, не умевшая раньше толком пришить пуговицу, сейчас шила госпитальное белье, организовывала шефские концерты, в свободное время, то есть ночами, ходила в соседние деревни обменивать вещи на продукты.

С особенным удовлетворением она ощущала себя верной женой воина.

А он, воин, надолго затерялся, от него не было ни одного письма.

И сразу — похоронная.

— Вот и кончилась моя жизнь, — сказала Виолетта Яковлевна. — Если бы кто-нибудь знал, как я ужасно страдаю!

— Я тоже, — сказала Натали и подумала, что незачем знать другим, как ты страдаешь.

— Боже!

— Но ты же не веришь в бога.

— Глупая, так говорят, когда очень переживают.

— Боже, — сказала Натали.

На какое-то время Виолетта Яковлевна постарела, осунулась, замкнулась и — обленилась. Все по дому делала Натали.

Но когда после войны театр вернулся в областной центр и они въехали в свою прежнюю квартиру, Виолетта Яковлевна за короткий срок приделась, помолодела и — вышла замуж.

Отчим — толстенький, низенький, начинающий лысеть тенор из филармонии — поразил Натали тем, что сам ходил на рынок и по магазинам, часто сам готовил обеды и брился только перед концертами.

Раньше, при отце, в дни зарплаты дома всегда был хоть маленький, да праздник — покупался торт или еще что-то. Сейчас даже праздники были буднями.

Когда же — очень редко — приходили гости, Натали заранее выпроваживали в соседнюю комнату, к столу не пускали, мать тайком приносила ей чего-нибудь полакомиться.

Вскоре Натали возненавидела отчима: он продал коллекцию марок и библиотеку отца. И чем больше она не любила отчима, тем больше любила (или жалела?) мать, которая стала тихой, кроткой, почти напуганной.

Как-то ночью, проснувшись, Натали услышала из соседней комнаты голос отчима:

— Почему ты скрыла это от меня?

— Я надеялась... — шептала мать с отчаянием. — Я думала...

— Думала! Надеялась! Мне нужен мой собственный ребенок!

— Я еще схожу в больницу... может быть...

— Что — может быть? Родила же ты эту... Ты воображаешь, что я женился на тебе из-за каких-то твоих несуществующих достоинств?

Натали больно зажала уши руками.

А мать стала еще напуганней. Из театра она ушла. Поступила в столовую кассиром.

Когда Натали заканчивала семилетку, отчим как-то сказал весело:

— Выбирай техникум. — И ласково объяснил: — Там дают стипендию. Деньги.

— Я хочу учиться в школе.

— Какая разница? — умоляюще спросила Виолетта Яковлевна. —

А в техникуме...

— Дают стипендию, — уже жестко повторил отчим и постучал кулачком по столу. — Деньги.

Ей было все равно — техникум или школа, но после этого разговора она решила: будь что будет, а в техникум она не пойдет.

Так она и сказала отчиму на следующий день.

— Да? — спросил он и усмехнулся. — Слушай. Ты еще глупа. Но у тебя хватит ума...

— А у тебя грязные руки, — перебила Натали. — Он погиб за Родину, а ты продал его книги. Мы их даже в войну не тронули.

— Книги и дурацкую коллекцию, — спокойно, даже с достоинством сказал отчим. — И за хорошие деньги. Деньги эти проедает кто? Я? Нет, ты. На какие деньги ты кушаешь? И вообще. — Отчим сжал кулачки, постучал ими друг о друга. — Пока человек не умеет зарабатывать деньги, он не имеет права рассуждать и поступать по-своему. Сначала научись зарабатывать, потом можешь иметь свой аспект, то есть точку зрения. И вообще, не заставляй меня принимать меры. Изволь делать то, что я тебе приказываю. Запомни раз и навсегда: все ерунда, кроме денег. Денег! — радостно выкрикнул он. — Без них я что такое, например? Ничто! Пустота. Нуль! А с ними я — человек. И ты можешь стать человеком, то есть жить разумно, правильно, с пользой для себя.

Пытаясь его понять, Натали слушала внимательно, и отчим разговаривал:

— Ты пойми, со всех сторон человека подстерегают беды и опасности. Со всех сторон. Кругом беды. Что делать? Как спастись? Как гарантировать себе спокойствие? А? — И он ласково ответил: — Деньги, деньги, деньги. С ними я почти ничего не боюсь. Более того! — Он постучал кулачками друг о друга. — Они избавляют меня от одной неприятной необходимости. Имея их, — почти пропел он, — я могу не думать. Понимаешь? Могу не думать. Они думают за меня. Они дают мне советы. Они учат меня. Они — умные. — Голос его приобрел торжественность. — Они все знают. Они даже знают, кого уважать, кого презирать, кого ненавидеть. В любую минуту, когда мой разум не может дать уверенного ответа, я могу спросить их: «А что вы посоветуете мне делать? Как по-вашему?» И они ответят. И это будет правильный ответ. — Голос отчима стал хриплым от волнения. — И чем больше денег, тем они, вернее тем я, их обладатель, умнее. Понимаешь? Постарайся понять. И ты будешь жить хорошо... — Он устало сел, тыльной стороной ладони отер вспотевший лоб. — Значит, ты поступаешь в техникум, получаешь ежемесячно стипендию, а через четыре года ты — самостоятельный человек и получаешь право возражать мне. А пока будь любезна подчиняться.

— Учиться в техникуме я не буду. Принципиально.

— Посмотрим.

— Не буду.

— Посмотрим, я сказал. Как бы твоя судьба не стала такой же нелепой, как твое имя.

— Не я выбирала себе имя.

— Но судьбу ты можешь выбрать сама.

— Не могла же я назвать свою дочь, например, Настей?! — словно очнувшись, Виолетта Яковлевна всхлипнула.

— Разговор окончен, — тихо и холодно произнес отчим. — Пока я здесь хозяин. А ко всякого рода несовершеннолетним можно применить элементарные меры наказания.

— Например? — с вызовом спросила Натали.

— Например, снять штаны и выпороть, — объяснил отчим.

Она выбежала на улицу, сбросила валенки и в одних чулках стояла на снегу, пока к ней не подскочила Виолетта Яковлевна.

— Дурочка, дурочка, дурочка, — бормотала она, всовывая ноги дочери в валенки; выпрямилась, тяжело дыша. — Тебе уже пора понять: Иосиф Иванович твой отец, ты обязана...

— Мой отец погиб на фронте, — мерзлыми губами выговорила Натали, — а этот жирный, безголосый, бессовестный...

Пощечина оглушила ее. Натали стояла с закрытыми глазами. Откуда-то доносился голос матери:

— Хотя бы ради меня...

— Как тебе не стыдно? — прошептала Натали.

— Молчи. Ты ничего не понимаешь. У тебя нет сердца. Ты...

— Идем. Я понимаю все.

Несколько дней после того, как прошло воспаление легких, были для Натали самыми счастливыми за последнее время. Ничего уже не болело, просто она ослабла, с удовольствием лежала в просторной и теплой палате и читала. И думала.

Она очень боялась встречи с матерью, но встреча оказалась радостной. Они обнялись и поплакали. Натали спросила:

— У меня будет брат или сестренка?

Виолетта Яковлевна даже не удивилась вопросу, ответила скорбно:

— Нет. Никогда.

— Но ведь он будет сердиться из-за этого.

— Нет, он умный, он понимает, что если врачи не советуют, то... А тебе рано рассуждать на подобные темы.

— Я еще спрошу. За что ты его любишь? Объясни, мне будет легче его терпеть.

И мать сразу стала прежней — робкой и напуганной, пробормотала:

— Подрастешь, я тебе все расскажу.

Домой Натали вернулась исхудавшей и уже какой-то другой.

— А ты изменилась, — сказал отчим, — надеюсь, что в лучшую сторону.

Она встретила умоляющий взгляд матери и промолчала. И так теперь случалось каждый раз: только Натали собиралась ответить отчиму, как встречала умоляющий взгляд матери. И жалела ее.

— Давай подведем итоги твоего последнего проступка, — через несколько дней сказал отчим. — Ты здорова, тебя можно немного и поволновать. Для чего ты выкинула этот трюк?.. Не надейся отделаться молчанием. Отвечай.

— Ты же сама говорила мне, что раскаиваешься, — подсказала Виолетта Яковлевна.

И когда отчим раздраженно зашевелил губами, Натали ответила:

— Да. Я раскаиваюсь.

— Ты врешь, — удивленно протянул отчим, — это очень хорошо. Значит, ты способна подчиняться. Значит, ты поступаешь в техникум.

— Нет. Я буду учиться в школе.

— Ты не учишься одного: у меня лопнет терпение и...

— А ты не учишься, что я скоро получу паспорт.

— Ну и что?

— Увидишь.

Отчим сам написал за нее заявление, сам отнес документы в механический техникум, посадил падчерицу перед собой и заговорил:

— Слушай. Ты плохо кончишь, если...

Виолетты Яковлевны не было дома, и Натали сказала:

— Ее ты чем-то запугал. Она тебя боится. А я тебя не боюсь. Нисколько.

— Вот как? — деловито удивился отчим. — Но ведь я могу поступить просто: я не дам тебе ни крошки хлеба. Об этом ты хоть думала?

— Лучше будет, если ты от меня отстанешь.

Натали получила паспорт, продала почти все свои вещи, купила пишущую машинку и поступила на курсы стенографии.

Отчим остался доволен.

— Собственность, — с уважением произнес он, погладив футляр. — На такой вариант я согласен. Посмотрим, что последует дальше.

Днем Натали училась в школе, вечером — на курсах, ночами готовила уроки и осваивала пишущую машинку.

Подруг у нее не было. Одноклассницы казались ей девчонками, до раздражения беззаботными, она чувствовала себя намного взрослее их, ее интересы были им недоступны. А она держалась неестественно, пытаясь то подражать сверстницам, то совершенно отдалялась от них.

Настало время, когда она бросила на стол свой первый заработок. Не притронувшись к деньгам, улегшимся всею, отчим точно определил сумму и сказал:

— Ты молодец. Я ошибся в тебе.

— Ты меня еще узнаешь.

И она, чтобы доказать ему свое презрение к деньгам, работала и работала, отдавая немаленькие суммы, — с наслаждением. Она просто ждала дня, когда могла швырнуть на стол деньги. Впрочем, она могла бы швырять их и на пол — отчим спокойно бы нагнул и подобрал.

К лету Натали так вымоталась, что после экзаменов слегла. Почти месяц пролежала она, а когда встала, то заявила:

— Я еду путешествовать.

— Зачем? — испугалась Виолетта Яковлевна. — Куда?

— Не знаю. Далеко-далеко.

— Я не дам тебе ни копейки! — из кухни крикнул отчим.

Натали рассмеялась, сказала:

— Теперь я имею право рассуждать и поступать по-своему, потому что умею зарабатывать.

— Не надо воспринимать эту мысль буквально, — пролепетала Виолетта Яковлевна. — Как-то все у тебя получается... не так.

Собрать деньги на поездку удалось лишь после окончания десятого класса: не было времени подрабатывать, надо было учиться.

— Куда же ты теперь? — спросил отчим. — Конечно, в институт? А зачем? Учиться можно и заочно.

Натали не ответила, и он всплеснул ручками:

— В кого ты такая?

— Во всяком случае, не в тебя.

Стоя в очереди за билетами, Натали еще не знала, куда поедет. И взяла билет до Москвы.

Виолетта Яковлевна смотрела на дочь тоскливыми, виноватыми глазами.

— Предупреждаю, — сказал отчим, — если с тобой что-нибудь случится, домой не возвращайся. Не приму.

— А что со мной может случиться?

— Что! — он хмыкнул. — Таких дурочек специально ловят разные... любители. Потом бросают. После использования.

У Натали отяжелели от стыда щеки, но она спросила:

— Какого использования?

— Будь осторожна, — сказала Виолетта Яковлевна, опустив глаза. — Ты еще ребенок.

— Ребенок! — отчим посмеялся деланным смехом и взглянул на грудь Натали.

— Да, я не ребенок, — скорее разочарованно, чем возмущенно проговорила Натали. — Но ничего со мной не случится. — И, увидев жалкий, тоскливый взгляд матери, спросила горячо, вернее, не спросила, а позвала: — Поедем, мама, вместе? А?

— Ну! Ну! Ну! — отчим трижды стукнул кулачком по столу. — Не болтай ерунды. Бросать деньги на ветер!

Натали вытащила из сумки сторублевую бумажку, показала ее отчиму, подошла к окну, протянула руки и разжала пальцы.

— Психопатка, — сквозь зубы процедил отчим, следя за полетом бумажки, и выбежал из комнаты.

— Зачем ты это? — с укором спросила Виолетта Яковлевна.

— А ты зачем? — с болью спросила Натали. — Зачем мы живем с этим. Ведь он...

— Замолчи! — беспомощно вскрикнула Виолетта Яковлевна и прошептала: — Прости меня за все...

Отчим вернулся радостный, запыхавшийся, возбужденный. Он бормотал, не торопясь выложить сторублевку на стол:

— Понимаете, все идут мимо, а ее ветерком гонит, и никому в голову не ударит, что это деньги!.. А тебе надо лечить нервную систему. Таким образом ты скоро можешь оказаться знаешь где?

Виолетта Яковлевна сказала глухо:

— Ты опоздаешь на поезд.

— Ничего, мама, я успею.

— Она успеет! — насчетливо, многозначительно воскликнул от-

чим и со вздохом положил сторублевку на стол, не убрав руки.

— Можешь взять себе, — устало предложила Натали.

— Могла бы сказать повежливее. — И отчим сунул деньги в карман и вздохнул облегченно. — Вернешься, я займусь твоим воспитанием.

— Я поступлю в педагогический и буду жить в общежитии.

— Сказочный вариант!

А Натали смотрела на отвернувшуюся к окну мать, высохшую, робкую, до боли свою и одновременно чужую, и думала: «Как же мне спасти тебя?»

— Иди, иди, иди, иди, — заторопил отчим.

Ушла Натали, как уходят не очень званые гости — вроде бы и приглашают заходить еще, да только потому, что уверены: больше не зайдешь.

И уже, закрывая дверь, она подумала: «А не остаться ли? Вдруг без меня...»

За дверью послышалась возня, приглушенный спор, всхлипывания; дверь открылась, мелькнуло лицо матери, и отчим спросил:

— Ну?

— Не думай обо мне плохо, — из-за спины просила мать, — я предчувствую, что мы больше...

— Старческая сентиментальность! — крикнул отчим и ушел.

Натали обнимала мать, бормотала:

— Если хочешь, я останусь. Я же не знала, что тебе так плохо. Давай я останусь, а?

— Нет, нет. Ты поезжай. Тебе надо съездить. Это лучше. А у меня пройдет.

Натали постояла в подъезде, словно что-то не отпускало ее. И вместе с тем она понимала, что возвращаться нельзя.

И она пошла по улице, размахивая портфелем, в котором уместились все ее вещи.

Шагалось легко.

Да ей просто не хватало воздуха: рядом с отчимом даже дышать надо было экономно.

Так часто бывает — требуется освобождение, чтобы оценить ужас плена.

А когда застучали колеса поезда, у Натали чуть-чуть закружилась голова. Впервые ее лицо овеял ветер дороги, и она понимала, что теперь будет тосковать по нему.

Она была молода, она еще не знала своих сил, которые смутно, сладко и стыдно тревожили ее, но не пугали пока. Она только догадывалась о том, что ей предстоит испытать. Предчувствия были радостны и светлы, и если бы кто-то сейчас предсказал Натали то, что ей суждено пережить, она бы просто не поверила...

Все поглядывали на нее с улыбкой — такой у нее был взбудораженный вид, а высокий парень в черной рубашке, кудрявый и голубоглазый, встал рядом и спросил:

— Впервые? Да?

Натали кивнула.

— В Москву?

— В Москву, — с наслаждением выговорила она и повторила: — В Москву, впервые. Да.

— Одна?

— А что?

— Любопытно.

Глаза у парня были задумчивые, даже грустные, а разговаривал он весело.

— Почему любопытно? — спросила Натали. — Ведь вы тоже один?

— Я один, — уж совсем грустно сказал он, а она неизвестно отчего покраснела. — Я большой, а вы еще цып-цып-цып... Понятно?

— Нет, я не цып-цып-цып, — серьезно возразила Натали, немножко обидевшись. — Я уже имею право рассуждать и поступать по-своему.

— Да ну?

— И не смейтесь, пожалуйста.

— Я, в общем, не смеюсь. Вы учиться?

— Учиться, учиться, — торопливо соврала Натали, потому что не смогла от неожиданности придумать ничего более правдоподобного, и опять покраснела. — Вернее, попытаться.

— Куда?

— Мне хотелось бы в педагогический.

— Это вам не подойдет.

— Ну почему?

— Рост маленький. Дразнить ученики будут. Авторитета не завоевать.

Натали ответила серьезно:

— Завоюю.

Парень кивнул.

— А вы учиться? — спросила она.

— Нет. Просто так. По Москве побродить.

Ей было хорошо стоять рядом с ним. Головой она едва доставала ему до плеча, — чтобы слышать ее шепот, он наклонялся, — и это было еще приятнее.

Потом она с блаженством пила чай. Ее забавляло все: и то, что он плещется, и то, что она обжигается, и то, что можно заказать столько стаканов, сколько хочешь. А главное — она одна, впервые в жизни сама себе хозяйка. Натали даже хихикнула несколько раз.

А парень был грустный и улыбался лишь тогда, когда встречался с ней взглядом. И улыбка была тоже невеселой.

— Приятно на вас посмотреть, — сказал он, — радостная вы до предела.

Они снова встали у окна.

— Звать вас как? — спросил парень. — Меня Виктор.

— А меня... — она помолчала, раздумывая — соврать или не соврать, и ответила с отчаянием: — А меня называли Натали. Вот!

— А что? Натали. Красивое имя.

— Красивое, — насмешливо согласилась она, — представляете: Натали Петровна!

— Ну и что? Вот если у меня родится дочь, я обязательно назову ее Настей. А если сын — Степа. Но и Натали — совсем неплохо. И очень переживаете?

— Иногда — ужасно!

— Зря. Кстати, вам идет это имя.

Встречный состав прогромыхал, казалось, по крыше вагона. Натали долго ждала, пока он затихнет...

Виктор молчал.

Она спросила, подавив робость:

— Почему вы невеселый?

— Нет, я в принципе веселый, — грустно отозвался он. — Был веселый.

А ей захотелось провести ладошкой по его льняным кудрям. Она устыдилась этого желания и отвернулась. И сколько ни пыталась смотреть в окно, придумывать фразы под стук колес, а — думалось о Викторе. Ей верилось, что она может помочь ему чем-то, только не знала, чем.

И сказала опять с отчаянием:

— Вы странный.

— Обыкновенный я, — сказал Виктор, — самый что ни на есть обыкновенный. А мечтал, представьте себе, быть незаурядным. Личностью мечтал стать. А превратился... — он махнул рукой.

— Почему вы о себе говорите в прошедшем времени?

— Нет, вы все-таки цып-цып-цып. — Виктор рассмеялся и провел ладонью по ее голове, и Натали закрыла глаза. — Подрастете, поймете кое-что, можно будет с вами о жизни философствовать.

Когда она пришла в себя от его прикосновения, Виктора рядом не было. Натали всполошилась. Она жалела его, и жалость оказалась неожиданно острой.

«Я должна помочь ему, — торопливо думала Натали, — я могу ему помочь, только не знаю — как!»

И все вместе — и то, что она впервые ехала одна, и стук колес, и воспоминание о том, как его ладонь прикоснулась к ее волосам, и

то, что в сердце была жалость, и желание сейчас же увидеть его — все это было радостно и тревожно. Все было впервые.

И когда Виктор подошел, Натали призналась:

— А я ждала вас.

Глаза его стали еще грустнее, он сказал:

— Спасибо.

— За что?

— За то, что ждали.

Она недоуменно пожала плечами, и Виктор проговорил:

— Это вы странная, а не я.

— Я не странная, — сказала Натали, — я просто нелепая. Да, да. У меня все как-то глупо получается. То есть не глупо, конечно, а... Когда папа ушел на фронт...

И Натали впервые в жизни рассказала о себе. Рассказывая, она не смотрела на Виктора, даже вроде бы и забыла о нем, хотя каждым своим словом обращалась к нему.

— Мне жаль маму, — устало заканчивала она, — и себя тоже. У всех есть дом, а мне противно приходиться туда. И я часто слоняюсь по улицам, чтобы прийти домой позднее, быстренько что-нибудь съесть на кухне и — в свою комнату. Но и там плохо. Только когда с головой накроюсь одеялом, тогда я одна. А утром я убегаю.

— Давай на «ты», — предложил Виктор, — и пойдем в тамбур.

А была уже ночь.

— Да, никакая ты не цып-цып-цып, — сказал Виктор. — Поступай в институт, лучше, конечно, в Москве, и будешь жить нормально.

— А мама?

— А ей еще хуже, когда ты рядом. Со мной примерно то же самое было. Только у меня мачеха. И отцу было стыдно передо мной, она помыкала им.

— Ты ушел от них?

— Отец умер. А мачеха просто попросила меня удалиться. Я тогда техникум заканчивал. Дали место в общежитии.

Поезд летел под звездами. Небо слилось с землей.

— А как ты дальше жил?

— Да вот так... История у меня получилась. Надо мне жениться, то есть вынужден я жениться.

— Вынужден?

— Даже и не знаю, как это случилось. В общем, она ждет ребенка. А я ее не люблю.

— А я думала, что это бывает только из-за любви.

— И я так думал, а получилось... Ну, понимаешь... я один. Ни отца, ни матери. Никаких даже родичей. А она по-доброму ко мне подошла, по-хорошему. Рубашки мне однажды выстирала, а я чуть не в слезы... ну и...

— А она-то тебя любит?

— Да ведь смотря что понимать под словом «любовь». Она считает, что любит.

— Ты много куришь.

— Да вот разоткровенничался... не знаю, зачем.

— А я? Я ведь тоже тебе все рассказала. Мне тут подумалось, когда ты уходил, что могу тебе чем-то помочь. Только не знаю, чем.

— Интересно, — Виктор помолчал. — Нет, ничем и никто не может.

Вслушиваясь в тихий голос, Натали почувствовала тяжесть своей груди, испугалась, обрадовалась... Было это с ней впервые.

И вдруг Натали пришло в голову: а ведь она может полюбить. Очень просто: влюбится и — все! И он ее полюбит. И будет счастье.

Они слишком быстро и откровенно рассказали друг другу о себе, были еще совсем чужие, но уже что-то сблизило их, они застыдились этой близости и молчали.

Натали замерзла.

«Дурочка ты дурочка, — пронеслось в голове, — забудет он о тебе завтра же... А ты?»

— Пора спать, — сказал Виктор.

Устраивая постель, Натали больно ударилась лбом о верхнюю полку, а Виктор шепнул:

— До свадьбы заживет.

Она, не раздеваясь, забралась под одеяло и расплакалась. Сначала она думала, что плачет от боли, но оказалось — от радости. И еще ей было стыдно. И она ничего не понимала.

А тут вдруг стук колес стал тревожным.

Натали словно лишь сейчас осознала, что едет одна, едет в Москву, что дома остался отчим, а глаза у мамы тоскливые; что, когда стоишь рядом с Виктором, приятно и стыдно...

И уснула.

В Москву поезд пришел рано утром. Теплое солнце только-только поднялось.

Москва... Сначала она подействовала не своим обликом, а своим сознанием, что это — вот это! — Москва.

Натали стояла на привокзальной площади. Стояла и смотрела. Она еще не успела оглядеться, а уже переживала чувство, которое можно назвать чувством Москвы. Самое яркое ощущение, вызываемое им, состоит в душевном очищении: душа твоя светлеет, отбросив все будничное, мелкое. Так бывает, когда ты в Москве впервые...

До вечера бродила Натали по Москве, узнавая и не узнавая ее:

это была Москва живая, а не картины и фотографии. Она оказалась и скромнее, и величественнее.

Красная площадь поразила уютностью, и даже Спасская башня выглядела не очень огромной. Так всегда бывает, когда впервые видишь значительные по сути своей сооружения — в твоём сознании их значительность невольно связывалась с внушительными размерами.

О Викторе Натали вспоминала с грустью и недобрым предчувствием. Она несколько не сомневалась, что вот-вот они встретятся, и почему-то боялась этой встречи.

Расстались они в поезде странно. Натали сказала «до свидания», думая, что он предложит сойти вместе, а он ответил «до свидания», даже не взглянув в её сторону, и она ушла одна.

Сейчас она уже не понимала, как могла обижаться на него... «Видимо, я очень глупая, — подумала она, — ничего-то я не понимаю. Действительно, цып-цып-цып».

За день Натали не догадалась поехать, и у неё неожиданно подкосились ноги.

Она купила кусок колбасы, булку и, усевшись на скамейке в сквере около Большого театра, принялась громко и радостно жевать. Сидевшая рядом усатенькая старушка морщилась, вздыхала, всем своим видом показывая предельное возмущение.

— Хорошо поела, — сказала ей Натали и почти сразу же заснула, свесив голову на грудь, опустив руки. Сон продолжался недолго — может всего несколько секунд, но она проснулась отдохнувшей, потянулась и легко вскочила.

Нет, она не подумала, что это ей снится, и все-таки это было похоже на сон: она в Москве!

И уже не верилось, что есть на свете такое существо, как отчим, и уже верилось, что она спасет маму от него. И еще верилось, что они встретятся с Виктором, и встреча эта будет какой-то особенной. Она многое изменит в жизни Натали.

Неожиданно она вышла на Красную площадь.

— Вот мы и встретились.

— Вот так встреча... — радостно и растерянно пробормотала Натали.

— Ничего особенного, — грустно ответил Виктор. — Гора с горой не сходятся, а человек с человеком, да еще в Москве, да на Красной площади...

— Я все бродила, бродила... потом есть захотела... чуть не уснула... Я думала, я ее знаю, а она совсем не такая...

— Ты где остановилась?

— Как — где? Вот тут. Перед тобой.

— Ночевать где будешь?

— Не знаю.

— Да-а, — протянул Виктор, словно она сообщила ему что-то очень печальное.

— Да ну! — отмахнулась Натали. — Пойдем лучше, знаешь, куда? В ресторан! Ни разу в жизни не была. А?

— Вино пить, водку, коньяк или ликер?

— Пить я буду чай или какао, — строго сказала Натали. — И попрошу вас с шуточками ко мне не относиться. Я не цып-цып-цып. Ясно?

— Ясно. — Виктор грустно усмехнулся. — Ты еще узнаешь, как я к тебе отношусь.

Поздно вечером пришла сияющая нянечка и принесла записку: *„Натусь! Сегодня вернулся из командировки. Принял ванну и сразу к тебе. Съездил удачно. Напиши, что тебе прислать из продуктов.“*

Я знаю все. Крепись.

Игорь

— Обходительный он у тебя, — с гордостью сказала нянечка, — чистый такой, нарядный, вежливый. Ответ давай пиши.

— Скажите ему, — тихо проговорила Натали, — что... что я писать не могу, и мне ничего не нужно.

— Да ты, милая, одумайся... человек-то к тебе как...

— Мне от него ничего не надо.

— Охо-хо, — нянечка вздохнула. — Чего только здесь не нагладишься... любые выверты... Посоветую ему, чтоб витаминов тебе принес.

Мороз пробежал по коже, когда Натали шагнула в распахнувшуюся перед нею дверь ресторана.

Седобородый швейцар с мудро-плутовской улыбкой, не пошевелившись, машинально произнес:

— Милости просим.

— Здравствуйте, дедушка, — дрожащим от необыкновенного ощущения голосом сказала Натали, а Виктор дернул ее за локоть.

Они медленно поднимались по широкой, из белого мрамора лестнице, устланной красной ковровой дорожкой, а сверху к ним спускалась тоже Натали в синем платье, перехваченном пояском, и тоже высокий кудрявый парень в черном костюме.

— Зеркало это, зеркало! — воскликнула Натали и рассмеялась так звонко, что Виктор за руку оттащил ее в сторону.

Они оказались в низком коридоре, вдоль стен которого стояли кушетки.

— А если обратно? — испуганно спросила Натали. — Куда-нибудь в столовую?

— Да я и обратной дороги не помню.

Так они и стояли, пока не услышали звуки оркестра, прошли еще вверх по лестнице к раскрытым дверям.

Большой зал с колоннами и множество длинных окон, занавешенных белыми шторами, музыка, приглушенный гомон, вся необычность обстановки подействовали на Натали возбуждающе.

— Идем, идем, — заторопила она.

Один столик в углу был свободен, и Натали бросилась к нему почти вприпрыжку.

Когда уселись, Виктор, гордый от страха, сказал:

— Нельзя тебя пускать в приличное общество. Манер, как таковых, у тебя нет.

А Натали была готова петь или хохотать — ей нравилось здесь: как в кино! Она вертелась на стуле во все стороны, даже заглянула под стол, потрогала все тарелочки, салфетки, пепельницы, понюхала цветы в вазе.

— Выведут тебя отсюда с позором, — пригрозил Виктор, — и поесть не успеешь. — Он долго изучал меню, поданное презрительным молодым официантом, сокрушенно качал головой, хмыкал, наконец, вздохнул: — Ну что ж, будем питаться.

Ждали не меньше часа. Виктор молча курил, но Натали не скучала, разглядывала танцующих, притопывала ногами, кому-то улыбалась.

— Цып-цып-цып, — сказал Виктор, — дите невоспитанное.

— Давай чокаться! — предложила Натали и так стукнула фужером с минеральной водой о фужер Виктора, что с соседних столиков оглянулись. А она хихикнула.

— Знаешь, это ты невоспитанный, — сказала она почти серьезно. — Сидишь мрачный, со мной не разговариваешь...

— Поводов веселиться у меня нет.

— Ну и что? Я вот про все забыла. Вернусь домой, а там... Вообще! — Она постучала кулаками друг о друга. — Я бы ушла жить в общежитие, но боюсь оставлять маму с этим.

— Я бы тоже с удовольствием остался в общежитии.

— Скажи... неужели ты... будешь жить... вот так?

— Да, вот так, — раздраженно ответил Виктор. — За ошибки надо расплачиваться. Ешь.

Зато уж ела Натали — весело! На переносице выступили капельки пота. Виктор совсем помрачнел и, приступая к компоту, проговорил будто с осуждением:

— Кормят — будь здоров.

Блаженная истома овладела Натали. Она сидела, уткнувшись

локтями в стол, полузакрыв глаза, слушала музыку. Сидеть бы вот так и сидеть...

— Вот что, — резко сказал Виктор, — должен я с тобой поговорить. Ты что, с ума спятила? Одна приехала в Москву, остановиться тебе негде...

— Не надо, — с закрытыми глазами попросила Натали. — Знаешь, как мне хорошо...

— Но соображать-то все-таки необходимо. Существо ты симпатичное, не очень обычное. Привлекательное, — с раздражением говорил Виктор. — И вот попала в ситуацию. О чем ты думаешь?

— Предположим, о тебе, — вырвалось у Натали.

— Я с тобой серьезно разговариваю. Денег у тебя, верно, кот наплакал, а...

— Подожди, подожди, — ледяным тоном остановила Натали. — При чем тут деньги?

— При чем тут деньги! — еще резче продолжал Виктор. — При всем! Знаешь, например, сколько здесь каждый кусок, каждая ложка стоит? Что одна без денег делать будешь?

— Подожди, подожди... Мне так хорошо было, так... Ты тоже считаешь, что со мной может что-то случиться?

— Конечно. Таких дурочек...

— Специально лозят такие, как ты? А потом жалуются, что вынуждены жениться?

И не успел растерявшийся Виктор ответить, как она щелкнула замком сумочки, бросила на стол деньги и убежала.

На лестнице она несколько раз споткнулась.

Седобородый швейцар взглянул на нее понимающими глазами, улыбнулся мудро-плутовской улыбкой, не осуждающей и не прощающей, и чуть-чуть приоткрыл дверь.

Натали выскользнула на улицу, увидела такси и села в кабину.

— Куда прикажете?

— Хоть куда.. Мне прокатиться.

— Понятно.

Машина будто плыла — плавно, без толчков.

— Приезжая? — спросил шофер, и только тут Натали взглянула на него — немолодой мужчина с густыми лохматыми бровями. — А чего в ресторане делала?

— А что в ресторанах делают? Ела. Ничего, вкусно.

— Заметно, что хорошо... поужинала.

— А почему вы на «ты»?

— Потому что старше тебя. Чего в ресторане делала?

— Я сказала: ела.

— Одна?

— А вам что?

— Да так. Откуда приехала?

— С Урала.

— Зачем?

— Москву посмотреть.

— Ну и как? Понравилась Москва?

— Вы знаете... — Натали повернулась к шоферу. — Очень. — Помолчала и повторила: — Очень.

— А ночуешь где?

— Почему-то всех интересует, где я ночую.

Они ехали по узким темным улицам, где почти не было машин, прохожих — даже не верилось, что это Москва, — и лишь в редких окнах горели огни.

— Ночевать где собираешься, спрашиваю?

— Не знаю.

— Интересно.

Машина вылетела на широченную улицу и поплыла в потоке автомобилей.

— Огней-то, огней!

И радостно было Натали, и тоскливо. Даже — нехорошо. Она и не заметила, как перестала смотреть по сторонам, застыла в напряженной позе, вдавившись в спинку сиденья.

— А как тебя одну в Москву отпустили? — спросил шофер. — Ну, я понимаю, если учиться, а то — ресторан... такси вот.

— Ничего вы не знаете, ничего вы не понимаете, — Натали обрадовалась, что шофер снова заговорил. — Понятия обо мне не имеете, а рассуждаете.

— Родители у тебя есть?

— Мама. И отчим.

— Отец где?

— На войне погиб.

— Вот что, — сумрачно заключил шофер. — Мне в гараж пора. Да и счетчик хорошо поработал. Куда сейчас прикажешь?

— С вами до гаража. Мне все равно деваться некуда.

— Выгодный клиент. Первый раз у меня так..

Из гаража вышли уже в первом часу.

— Ну куда ты сейчас, клиент?

— Объясните мне, как добраться до Курского вокзала.

— До Курского вокзала, — проворчал шофер. — Ну девка... Я бы тебя к себе позвал, да сестра у меня... злюка. Да и подумать может черт те что. И отпустить тебя вот так не могу. Девушка ты вроде бы хорошая, а глупостей натворить можешь.

— Почему-то все так считают.

Шофер был невысокого роста, широкоплеч, шагала грузно, опустив голову в мятой шляпе, заложил руки за спину.

— Лучше все-таки глупостей не делать, — сказал он. — Вот я, к примеру, на кой черт связался с тобой?

— Могу уйти.

— А я вот не могу тебя отпустить. Не могу я ночью человека не пожалеть. Я беспризорником вырос. Запомнил, как плохо ночью без крыши... Или вот сейчас... Едешь по Москве ночью и кого только не подберешь из жалости и укаатишь в самом невыгодном для себя направлении...

Вспоминая потом свои приключения, Натали пыталась догадаться, почему она действовала не раздумывая. Наверное, потому, что даже усилием воли не могла убедить себя, что кто-то здесь, в Москве, может ее обидеть.

Они с шофером забрели в какой-то темный переулок, вошли в тускло освещенный подъезд.

Шофер поднимался по лестнице, что-то бормоча под нос.

— Если вам не приятно... — начала Натали, но он даже не оглянулся, топал себе все выше.

Дверь открыла заспанная женщина в коротком халате, улыбнулась испуганно и удивленно.

В кухне шофер снял пиджак, засучил рукава и долго мылся под краном.

Натали стояла у окна и смотрела на крыши, освещенные бледным лунным светом.

— Пошли, — коротко позвал шофер, толкнув дверь плечом.

Комната была большой, почти без мебели, словно сюда еще не переехали или, наоборот, начали уезжать и часть вещей уже отправили.

Женщина переделалась в платье, тоже короткое, открывавшее круглые розовые колени.

— Соня, — она протянула руку и улыбнулась.

— Какая вы красивая, — сказала Натали, а шофер сказал, садясь за стол:

— Ей ночевать негде. — И начал есть.

— А ты есть не хочешь? — спросила ее Соня.

— Она в ресторане напилась, — шофер хмыкнул.

— Тогда я чай поставлю... Я уж спала, — словно оправдываясь, говорила Соня. Двигалась она с ленивой грацией женщины, привыкшей, что на нее смотрят.

— Жалко мне стало эту дурочку, — сказал шофер.

— Места много, — Соня улыбнулась, — устроимся. А мне, — в голосе ее промелькнули тоскливые нотки, — веселее будет.

И Натали вдруг поняла, что эти двое что-то тяжело переживают, мужественно скрывая друг от друга боль.

— Можно я умоюсь?

Она вышла, в полутемноте подошла к раковине, открыла кран и задумалась... Сколько ей внушали отчим и мать, и даже Виктор, что надо бояться людей! А они, люди... В чужом городе, среди незнакомых, чужих, ей легче, спокойнее, чем дома...

Когда она вернулась в комнату, шофер и Соня сидели в тех же позах.

— Ладно, — произнес он, вставая, — мне пора.

— Чаю хоть выпей, — тоскливо и тревожно попросила Соня.

Он прикоснулся рукой к ее плечу, отрицательно покачал головой и ушел.

А она расплакалась.

— Сестры он боится, — сказала Натали, — она у него злюка. Он сам мне рассказывал.

Соня улыбнулась сквозь слезы, вытерла лицо платком, машинально взялась за пудреницу, тут же поставила ее обратно, проговорила:

— О сестре он сочинил. Жена у него злюка.

— Жена? А вы ему кто?

— Если бы я знала, кто я ему. Никто.

— Неправда.

— Откуда ты знать можешь?

— Вижу. Если бы вы никто ему были, он бы не так к вам относился.

— А как он ко мне относится, по-твоему?

— По-моему, замечательно.

Соня вздохнула и, помолчав, сказала:

— Может быть. Давай-ка ложиться.

И только удобно вытянувшись в постели, Натали вдруг разволновалась: а что случилось бы, где бы она сейчас была, если бы не встретила этого шофера?

— Плохо они живут, — донесся до нее голос Сони. — Она больная. Нервы. Конечно, она не виновата. Но уж очень ему плохо.

— А вам?

— Не видишь разве? А он хороший. Заметила? И не может другим быть. Хуже нет, когда вот с таким встретишься... Всю жизнь он мне перевернул... Я его и бросить не могу... а он свою эту... тоже бросить не может...

За окном мутнел рассвет.

Натали слушала тихий, вроде бы спокойный голос и встревожено думала: «А что меня ждет? Я кого встречу?»

— Иной раз я уж спрашиваю себя: может, лучше бы нам и не встречаться было? Не знакомиться? А иногда, то есть почти всегда, радуюсь все же. Ведь меня будто вымыло всю. Будто душу в родниковой воде прополоскала. Стыдно вспомнить, как я сначала смеялась

над ним, считала, что не таким должен мужчина быть. Не действовали на него мои усмешечки разные. А теперь меня не узнать... А жена его... я ее, конечно, ненавижу, но... не любит ведь он ее...

— А она его?

— Вот поживешь — поймешь, что любовь-то иногда хуже злобы бывает. Какая же это любовь, когда она прямо изводит его? На футбол даже не отпускает. Как начнет он мне рассказывать, как у него дома дела обстоят, я потом спать не могу. И знаю: он ее никогда не бросит.

— Почему?

— Вот такой он, понимаешь? Говорит: нельзя человека в беде бросать. Не она во всем, а болезнь виновата, дескать. А мне-то как жить? — видимо, самой себе сказала Соня. — Просила я у него ребеночка... уехала бы куда-нибудь и вроде бы с ним тогда была... И слышать не хочет... Вот сижу я в этой комнате и неделями жду, когда он хоть на пять минут забежит... И кажется мне, что буду я вот как эта комната — пустая... Иной раз крикнуть хочется: «Да что это за напасть?»

— А может, счастье? — спросила Натали.

— Счастье? — удивилась Соня. — Нет. Горе это. Беда. Живая ведь я. Женского пола. Тела у меня много. А чем оно души хуже? Говорят — душа главное. А у меня все истосковалось. И она, и оно. И не знаю, чего тяжелее переносить.

— Но ведь он вас любит?

— Не любил бы, легче бы было... Наше с ним счастье чужой судьбой придавило. Женой этой самой. С фронта он ее привез. И сам счастья не видал, и мне его не посмотреть.

— Ничего я не понимаю, — призналась Натали. — Он хороший, вы хорошая. Любите друг друга. И вдруг... Неужели ничего нельзя придумать? Объясните мне! — горячо попросила она. — Мне обязательно нужно понять!

— А ничего и не поймешь, — сурово ответила Соня, — не поймешь, пока сама не научишься. Вспоминай нас, когда себе судьбу выбирать будешь.

— А это хорошо — любить? — тихо спросила Натали.

— Хорошо, — помолчав, ответила Соня. — Только лучше, когда по-нормальному бывает, просто...

Дни в больнице потянулись совсем медленно, когда Натали разрешили сначала сидеть, а затем — понемногу передвигаться.

Она подолгу смотрела в окно, которое выходило на шумную улицу; с радостью возвращающегося к жизни человека наслаждалась, казалось бы, незначительными мелочами, завидовала каждому

прохожему, мечтала, что скоро сама будет ходить по улицам, садиться в трамвай, пить газировку, шуриться от солнца... И дни ползли.

Однокурсницы посылали ей по пачке писем в день, по несколько букетов цветов и кулечков со сладостями. Натали сначала даже удивилась: ведь половина девочек были искренне возмущены ее поведением, кое-кто был к ней равнодушен, и никто не знал, что же произошло с ней на самом деле. И на первые письма она отвечала с трудом — перечисляла свои новости, пыталась шутить, еще больше пыталась убедить, что у нее все в порядке. Но однажды Натали в письме просто пожаловалась, просто объяснила, как ей плохо, и тогда в ответных письмах засквозила настоящая теплота, от которой на душе сразу стало легче, и Натали уже ждала этих посланий...

Полнейшей неожиданностью для нее был визит отчима. В палату его, конечно, не пустили, и он нацарапал записку, в которой желал здоровья и извинялся, что явился без гостинца.

Она была благодарна ему: почти на целый день он отвлек ее от грустных размышлений и воспоминаний — Натали старалась догадаться, зачем же он приходил? Что ему потребовалось? Ведь не мог же он разыскать ее лишь для того, чтобы справиться о здоровье?

Девиз отчима: «Когда есть деньги, жизнь проста». А вот у нее сейчас нет ни копейки. Ничего, получит стипендию, выкрутятся...

...Подошла нянечка, подала записку и, с осуждением глядя на равнодушную Натали, почти приказала:

— Читай. Я послушаю.

Натали прочла вслух:

„Здравствуй, Натусь! Каждый день звоню главному врачу. Рад, что ты поправляешься. Очень рад. Тебе сейчас, конечно, надо главное внимание сосредоточить на лечении нервов. Не обижайся, но ты должна понять, что с психикой у тебя дело остается по-прежнему неважно. Отсюда и многие твои ошибки. Но что-нибудь — в смысле лечения — придумаем. Денег я достану. Не беспокойся. Вообще, ни о чем не волнуйся. Кстати, вчера меня вызывал шеф и предложил одно место.

Надо прикинуть. Надеюсь, что, вернувшись из больницы, ты наконец-то примешь решение о нашей дальнейшей жизни. Так больше нельзя. Я не понимаю...“

Она изорвала записку, сказала:

— До сих пор не понимает.

— Ждет он там внизу, — возмущенно проговорила нянечка. —

Вежливый. Культурный. Все сестры сбежались на него посмотреть. А он ни на кого и не глядит. Об тебе думает. Переживает.

— Не бойтесь за него, нянечка. Он очень счастливый человек. Передайте ему, что... Поймите меня! — вдруг вырвалось у Натали. — Я в больнице после... а он... «надо прикинуть»! Вы не представляете...

— Представляете, не представляете, — проворчала нянечка. — Упустишь вот такого, жалеть будешь. Что передать-то?

— Что я сплю.

С презрением поджав губы, нянечка ушла. Натали прижалась горячим лбом к стеклу. У нее замерзли плечи, и она положила на них ладони.

Из-за угла вышел Игорь.

Она отшатнулась от окна, не сразу даже и сообразив, что он далеко, внизу, на улице, и сейчас сюда не придет.

Высокий, с непокрытой головой, в светлом плаще, он шагал — как на очень приятной прогулке. И Натали знала: улыбался.

Натали вернулась в палату, прилегла, и воспоминания возникли сами собой...

Когда Натали проснулась, в комнате никого не было.

В распахнутое окно залетал шум города.

Она долго не вставала, пытаясь доказать себе, что нисколько не волнуется.

А на сердце было тревожно.

Откуда она, эта тревога? О чем? Из-за кого?

Может, из-за Виктора? Натали сразу стало тоскливо, едва она вспомнила о нем. Что он теперь о ней думает?

В записке Соня просила ее позавтракать, закрыть окно, уходя, захлопнуть дверь, вечером обязательно приходить. Натали почему-то заторопилась, будто спешила куда-то, будто кто-то ее ждал.

Выйдя на улицу, она, конечно, не могла определить, где находится, и пошла куда глаза глядят.

Москвичи и понятия не имеют об этом удивительном наслаждении — идти по Москве, не зная, где идешь и куда выйдешь, но на каждом шагу обнаруживая знакомые улицы, места и здания.

Натали вдруг вспомнила о шофере, имени которого не догадалась спросить, и остановилась, обескураженная, ведь она не спросила и адреса Сони, не заметила дороги!

Она попыталась вернуться и ушла не туда.

Но Москва быстро успокоила ее. Потом Натали не могла вспомнить, о чем же она думала, бродя по улицам. Просто ей было хорошо.

А к концу дня она вдруг оказалась на Красной площади.

В небе прокатился перезвон курантов, и она сверила свои часы по кремлевским. Многие вокруг сделали то же самое.

Хорошо было Натали и грустно. Она словно была не одна, а с очень близкими друзьями, такими, что не ощущаешь необходимости разговаривать о том, что сейчас переживаешь вместе с ними.

Она вновь испытала светлое и большое чувство Москвы и опомнилась, когда уже шла по улице.

Люди кругом были веселые. Думалось, что они улыбаются именно ей, и Натали улыбалась в ответ.

А — грустно.

Она вспомнила Виктора, громко вздохнула и подумала, что она неумная девчонка, с нелепой жизнью, которая еще неизвестно как повернется... Натали ждала, что сейчас ее охватит растерянность, но ее не было. Наоборот, сквозь ощущение собственной никчемности пробивалась уверенность в том, что все будет хорошо. Вот придет она домой, поступит в педагогический, жить станет в общежитии, мать, конечно, сначала обидится, но потом — все, все, все будет хорошо! А Виктор... нет, она помирится с ним, обязательно помирится! Разыщет его и...

...Шла она, шла, сворачивая то налево, то направо, пока не остановилась у витрины филателистического магазина. Наверное, отец, когда бывал в Москве, заходил сюда.

Она взялась за ручку дверей, шагнула.

В углу стоял длинный дядька с неприятным выхоленным лицом. Выпуклые веки, дряблый рот. На левой руке два перстня.

Перед ним стоял мальчик в безрукавой майке и коротких штанишках. Лицо у него было обиженное и печальное.

— Только посмотреть, — дрожащим голосом попросил он. — Посмотреть только.

— За показ деньги платят, — презрительно бросил дядька, не взглянув на него.

Он смотрел на Натали.

Мальчик не уходил.

Натали видела, как ему трудно и страшно, как ему не хочется унижаться и как он пересилил себя:

— Посмотреть...

Дядька ухмыльнулся, не сводя глаз с Натали, небрежным жестом вытащил из внутреннего кармана пиджака блокнот, раскрыл его и, когда мальчик протянул руки, шипнул:

— Ш-ш-ш...

Опустив руки, мальчик застыл. На лице его было такое счастливое, благоговейное выражение, такой тихий восторг, что Натали с любопытством заглянула в блокнот — марки.

А дядька улыбался, как улыбался отчим — считая деньги. Дядька презирал восторг, радость, благоговение мальчика.

— И убирайся, — приказал он.

— Сколько это стоит? — сквозь зубы спросила Натали.

Дядька смерил ее тем же презрительным взглядом, но уголки его дряблого рта шевельнулись, с наслаждением произнес сумму, улыбнулся.

У Натали похолодела кожа на локтях, в висках застучало. Она раскрыла сумочку, негнушимися пальцами сосчитала бумажки и протянула.

Лицо у дядьки вытянулось, нижняя губа отвисла, обнажив бледно-розовую десну.

— Берите! — почти прикрикнула Натали.

Дядька растерялся. Торговец, он радовался, что выгодно продал товар. Подлый человек, он был недоволен, что купили легко, лишив его удовольствия насладиться чужими сомнениями и нерешительностью.

Взяв деньги цепкими пальцами, дядька тщательно осмотрел каждую бумажку и отдал Натали блокнот.

— Идем, — сказала она мальчику.

Он засеменил рядом с ней. В сквере они сели на скамейку. Мальчик не отрывал глаз от блокнота.

— Возьми, — устало сказала Натали, — это тебе от меня на память. И не считай, пожалуйста, меня сумасшедшей. Как тебя зовут?

— Вовкой, — занкаясь, ответил мальчик и посмотрел на нее, как на сумасшедшую, и чуть отодвинулся.

— Бери, бери, — раздраженно проговорила Натали, — и можешь считать меня психопаткой.

Мальчик робко взял блокнот и оглянулся по сторонам, словно собираясь звать на помощь.

— Я купила их тебе... — начала объяснять Натали.

— Мне?!

— Тебе, конечно.

— Но ведь, тетя...

И тут впервые в жизни она прочитала нотацию:

— Слушай, Владимир. Ты еще маленький. Я очень хочу, чтобы ты вырос хорошим человеком. Добрым. Честным. Обязательно — добрым. И если когда-нибудь ради кого-нибудь ты не пожалеешь хотя бы денег, мне будет приятно. Плюй на деньги. Не в них счастье. Понимаешь?

— Нет, — признался Вовка и виновато улыбнулся.

— Ты думаешь, что если есть деньги, то это все, да?

— Да. На деньги можно покупать. Марки и что угодно.

— Хорошо, — Натали растерянно помолчала, потеряв нить до-

казательств. — Неужели ты способен ради денег на подлость? Можешь ты, например, соврать, чтобы получить деньги?

Мальчик подумал и твердо ответил:

— Могу.

— А я-то... Значит, ты плохой человек, Вовка, и марок этих не заслужил. А я дура...

— Я не... очень плохой. Я честный.

— А говоришь, что ради денег можешь врать.

— Приходится. Я бы ни за что не врал, но... Мама на марки денег не дает, говорит, что это блажь, а на мороженое — пожалуйста. Я и коплю. А сочиняю, что эскимо ел.

— Смешно, — облегченно произнесла Натали. — Но все равно врать не надо. По возможности хотя бы.

Вовка прижал блокнот к груди, спросил:

— Вы богатая, да?

— Нет.

— А...

— Два. Богатый не тот, у кого много денег, а тот, кто плюет на них.

Нет, он определенно считал ее сумасшедшей — улыбнулся и спросил:

— Как же на них плевать, если их нет?

— Подрастешь — поймешь. Ты даешь мне слого, что постарайся быть хорошим человеком?

— Я буду стараться. Спасибо вам. А... не жалко?

— Немного. — Натали встала. — До свидания, Владимир. Ты сейчас счастливый?

Мальчик кивнул.

— Значит, и я счастливая.

Вовка перешел на другую сторону улицы и, не оглядываясь, бросился бежать...

...Грустная бродила Натали по Москве.

А Москва была веселая.

И Натали вдруг поняла, что она одна в этом огромном городе. Одна. Вот он и вот — она. Капля и — океан.

...И дело тут не в Вовке и не в марках, и не в деньгах, а в дядьке, который торгует человеческой радостью.

С Виктором она поступила нехорошо, глупо...

А почему?

Ну почему?

Она вспомнила свет звезд, тряску вагона, стук колес, грустные глаза... как приятно было стоять рядом с ним...

Потом вспомнила — сразу за этим — лицо матери, голос... И поняла — вдруг, ясно, резко, что ей надо немедленно возвращаться

домой. Она побежала к справочной будке, узнала, когда отходит поезд, помчалась в магазины и — на вокзал...

Просто удивительно, как иногда гладко все получается. Когда Натали металась в поисках нужной очереди, по радио объявили, что есть места на ее поезд... А ей показалось, что это не к добру...

В поезде она не спала, не ела, стояла у окна и — ничего не видела. Хотелось выпрыгнуть из вагона и — бежать...

...Едва она сошла по лестнице на привокзальную площадь, взглянула на родной город, как сердце похолодело от тревоги. Натали не стала ждать трамвая, отправилась пешком. И понемногу радость возвращения вытеснила все другие чувства.

В дверь она стучала долго. И когда устала стучать, дверь открылась. Отчим криво и жалко усмехнулся, спросил:

— Так скоро?

Натали вошла в комнату и сразу заметила, что многие вещи исчезли.

— Где мама?

— Сядь, — сухо предложил отчим и сам сел; постучал пухлыми кулачками друг о друга. — Дело в том, что она умерла. Инфаркт. Неожиданно. Быстро.

Слезы не хлынули. Их не было. В горле пересохло. В сердце возник тяжелый холодок.

— Это ты убил ее, — тихо и удивленно сказала Натали, чувствуя, что где-то внутри нее растет боль, пухнет, но никак не может прорваться. — Ты убил ее, — повторила она, — до тебя она была живая. Ты что-то сказал ей грубое, и она умерла.

— Представь себе, — с обидой сказал отчим, — я переживал. Я ведь привык к ней. Сейчас мне, кстати, будет трудно найти новую жену.

— Говори, говори что-нибудь.

— Я уже далеко не молод, — уныло продолжал отчим, — я уже не могу, так сказать, пленить воображение. Но кое-что у меня есть. И вообще, дело не в возрасте. И вообще... я должен тебя предупредить... Сама понимаешь, что, пока я жил с твоей матерью, ты имела право на часть данной жилплощади. Сейчас ты мне не дочь. Почему же, с какой стати я должен заботиться о тебе?

Когда Натали подняла голову, отчим возбужденно семенил по комнате, разговаривая словно сам с собой:

— Не пойми меня превратно. Конечно, если ты обратишься в суд, мне придется... я буду вынужден... Но ты смотри на жизнь здраво. Ты же старишь меня к тому же! Да и кто согласится жить со мной, если здесь ты?

— Иди ты на фиг, — сказала Натали равнодушно, — я тебя презираю.

— Да, да, это вполне естественно, — согласился отчим, — но сейчас разговор не обо мне и не об этом. Я боюсь, что все нажитое мною, моим трудом...

— Не бойся. Я возьму только свои вещи.

— Я уже их собрал.

— А куда мне идти?

— У тебя есть бабушка. Она одинока.

— Хорошо. Вечером я уеду.

— Я закажу такси.

— И дай мне денег. На такси.

— На такси дам.

...Могила матери Натали разыскала не сразу: кладбище было старым, тесным. В небрежно насыпанный холмик был воткнут столбик и на нем наискосок фамилия и инициалы... Натали расплакалась, сев прямо на землю. Теперь она поняла: не могла она плакать при отчине.

Солнце палило.

Натали брала сухие кусочки глины, и они рассыпались в ее пальцах.

«Мама, мама... прости меня за все... нельзя было мне уезжать... А его надо было выгнать сразу... ты не сердись на меня...»

Очнулась она от громких радостных криков — на лужайке за логом появилась компания молодежи с волейбольным мячом.

Вещей набралось два чемодана. Отчим посадил Натали в такси и помахал ручкой.

Лицо у него было несчастное.

Бабушка выслушала торопливый рассказ Натали, спросила:

— Какой у тебя характер?

— По-моему, неважный.

— У меня тоже. А ты что, рассчитывала, что я тебя приму?

— Я ничего не рассчитывала. Просто мне больше некуда. А с ним я не могла ни минуты оставаться.

— А если я тебя не пущу?

Натали пожала плечами.

— Ты гордая, — с уважением заметила бабушка. — Это хорошо. Но и опасно. Кофе любишь?

— Нет.

— Научу.

У бабушки были большая комната и просторная кухня — в старинном доме, с высокими потолками и окнами почти от пола до потолка.

— Нравится? — спросила бабушка.

— Не очень. Пусто.

— Ты неправильно воспитана, — сказала бабушка обиженно, — нельзя так... прямолинейно. Но зато ты естественна. В кого? Может быть, в меня?

Натали освоилась быстро. Бабушка вела музыкальные занятия в двух детских садиках, расположенных в разных концах города; возвращаясь домой, она отлеживалась часа три, выпивала несколько чашек наикрепчайшего кофе и оживала.

Высокая, худая, чуть-чуть сутулая, в старинном платье до пола, она расхаживала по комнате и разговаривала.

— Тебе очень повезло, что ты попала ко мне. Я утверждаю так не потому, что мое самомнение безгранично. Важно — любить, а я полюбила тебя со всеми твоими недостатками. Я даже предчувствую, что в конечном итоге ты пренебрежешь моими советами, и все-таки ты мне нравишься. В этом нет ничего удивительного. Чем больше живешь на свете, тем дороже тебе люди, но тем труднее встретить того, кому захочется отдать сердце. Но уж если отдашь, то... насовсем. Тебе смешно меня слушать, наверное? Ну и ладно. Самоуверенность молодости идет от незнания, от безответственного оптимизма, от убежденности, что все в жизни просто и человек прост. А он... он очень плохо устроен — в том смысле, что умнеет слишком поздно. А почему?

Натали качалась в кресле-качалке, не особенно вслушиваясь в бесконечные бабушкины рассуждения. Да и слушать ее было трудно, потому что она часто, забывшись, торопливо бормотала себе под нос.

Здесь Натали отдыхала. Когда она жила с матерью и отчимом, то находилась в состоянии непрестанной озабоченности, настояренности, а с бабушкой можно было просто сидеть и спокойно дышать.

И спокойно думать. Спокойно о беспокойном. Училась она в педагогическом институте на литературном факультете. Но и здесь, в новой среде, она опять оказалась как бы в стороне, особняком. Опять сверстницы казались ей беззаботными.

В театр или кино Натали ходила одна или с бабушкой, отворачивалась от приглашений на вечера или вечеринки.

Ей приходилось подрабатывать стенографией и перепечаткой на машинке, иначе денег не хватало.

Она была занята с утра до ночи, и все-таки казалось, что живет она вяло. Прислушиваясь к самой себе, Натали с интересом постороннего человека следила, как она живет. Да, внешне жизнь текла спокойно, но каждое движение души, каждая мысль была напряженной. Натали ждала, а что же с ней будет дальше. Даже гордилась: дескать, вот болит сердце, а я — ничего, существую... Внутри

души, в самой ее глубине билась как бы вторая жизнь — стремительная до головокружения, страстная, резкая...

По молодости в глаза бросаются прежде всего отношения той части людей, которые на так называемые проблемы пола смотрят легко. И как естественная реакция на подобное поведение, формируются натуры вроде Натали — внешне замкнутые, отрицающие, казалось бы, самую потребность общения с противоположным полом. Она грезилась о любви, мечтала о ней то возвышенно, то греховно.

Невысокого роста, но сильная, привлекающая внимание странным сочетанием детскости и зрелости, она бы производила впечатление даже красивой, если бы не выглядела — почти всегда — усталой. Это не то чтобы старило ее, а — тускло. В каждой черте проглядывала недоступность, которую многие принимали за высокомерие. Вот никто за ней и не ухаживал, хотя заглядывались многие.

Обостренная придирчивость к самой себе породила такое же отношение и к людям. А люди, тем более молодые, этого не терпят.

А, может, это происходило из-за того, что помнились свет звезд, тряска вагона, стук колес, голубые грустные глаза и негромкий голос...

Однажды Натали улыбнулась, вспомнив об этом.

— Что? — удивленно спросила бабушка.

— Так! — Натали прошлась по комнате, надеясь, что неожиданно охватившее ее волнение быстро исчезнет. — Вспомнила хорошего человека. — И сразу стала грустной. — Но я вела себя ужасно глупо.

Выслушав ее рассказ, бабушка авторитетно заявила:

— Он был влюблен в тебя. А мне теперь все ясно. Когда тебе надоест губить свою молодость за книгами? Все хорошо в меру. А ты еще не влюблялась.

— Откуда ты знаешь?

— Уж я бы заметила.

— А вот и... — и Натали осеклась, потому что против своей воли сказала правду, о которой и не подозревала. Сказав же, поразились, как она раньше-то не могла понять... И он сейчас где-то рядом, может быть, совсем рядом.

— Да-а, — удовлетворенно протянула бабушка, — я, пожалуй, ошиблась.

Натали поспешно оделась, что-то пробормотала и выбежала на улицу. Она нисколько не сомневалась, что сейчас встретит Виктора, что, несмотря на мороз, он будет в том черном костюме, с непокрытой головой... Натали почти бежала. А думалось удивительно спокойно, до того спокойно, что она пошла медленно. Конечно же все это время он не покидал ее, был рядом и смотрел на нее груст-

ными глазами. Не напрягая памяти, она могла перечислить дни, когда забывала о нем. И именно в эти дни она совершала глупые поступки или отдавалась неверным мыслям.

Может быть, все это она придумала только сейчас. Во всяком случае, сейчас даже тоска показалась естественной, обязательной, необходимой...

Вернувшись домой, Натали виновато предложила:

— Хочешь кофе?

— Хочу, — ласково и тоже виновато отозвалась бабушка. — Прости меня, хотя я и права.

— Может быть. Только все это не так просто.

— А я и не утверждаю, что просто. Но излишняя строгость часто кончается плачевно, как и распушенность. Плохо, например, когда выбегают замуж семнадцати лет, но чем лучше, если вздыхают о небывшей любви в тридцать с лишним? А тебе грозит именно последнее.

— Пусть.

— Я за естественность, — продолжала бабушка с воодушевлением. — Девушкам положено влюбляться. Крайности даже в лучшую сторону противоестественны. Точка. — Она отпила кофе, откинулась на подушки. — Когда я умру...

— Бабушка!

— Когда я умру, тебе будет трудно. Ты останешься одна. А с твоим характером это страшно. Как хорошо было бы, если бы ты вышла замуж при мне.

— Так я и сделаю, — насмешливо проговорила Натали.

— Тебе без меня будет очень трудно, — повторила бабушка грустно. — Очень трудно. И замуж ты выйдешь неудачно.

— Почему?

— У нас род такой.

— Но ведь ты...

— Я — исключение. Единственное. Предчувствую твою судьбу. Я ведь многое о тебе передумала. И знаю нашу породу.

В последнее время у бабушки было до того плохо со здоровьем, что она ушла с работы. Целыми днями она читала лежа и лишь к возвращению внучки вставала приготовить немудреный обед.

— Черт побери, — говорила бабушка, — до чего противно, когда ничем не болеешь, а сил нет.

— Ничего особенного, — отвечала Натали, — я и то устаю.

Но сколько бы ни было забот, тоска преследовала ее. Спасением было умение не поддаваться этой тоске, подолгу сидеть над страницей, пытаясь понять смысл строки, сидеть до тех пор, пока тоска не отступала.

Временами казалось, что все переживания — предчувствие ог-

ромной, неотвратимой беды. Она, беда, придет неизвестно когда, но придет обязательно. И перед ней не устоять. Временами же казалось, что тоска — просто спутник нелепо сложившейся жизни.

Натали пыталась привыкнуть, воспринимать все как должное, а может, и необходимое.

«Не хитришь ли ты? — спрашивала она себя. — Разве не бывает просто счастливых людей, понятия не имеющих, например, о том, что такое тоска? Бывают такие. Ну, а что делать, если я по каким-то от меня не зависящим причинам не попала в их число? Это не значит, что я должна признать себя несчастной и опустить руки. Счастье не в том, чтобы пользоваться выпавшей тебе по воле случая удачей, а в том, чтобы найти его в самых немыслимых обстоятельствах. Настоящее счастье — это счастье завоеванное».

Здоровье бабушки было все хуже и хуже. «Скорую помощь» приходилось вызывать почти каждый день. Ночами Натали не высмалась, потому что даже сквозь сон прислушивалась к дыханию бабушки.

Нередко, почувствовав недоброе, она убегала с лекций.

— Если бы ты знала, как мне стыдно, — говорила бабушка. — Никому в жизни я не доставляла столько хлопот.

К лету Натали осунулась, экзамены сдала кое-как, потеряла стипендию, стала раздражительной и однажды так разругалась в трамвае, что застыдилась и подумала: «Тебе самой к врачу надо».

За лето она не отдохнула, потому что пришлось много подрабатывать: с деньгами было худо.

Она уж не помнила, как закурила в первый раз. Кто-то из стенографисток на каком-то затянувшемся совещании предложил ей сигарету. Натали попробовала, ее замутило, вокруг раздалась смехи, и она решила научиться курить.

Сначала курение не доставляло никакого удовольствия, хотя и развлекало. Но однажды, сидя ночью на кухне над срочной расшифровкой, Натали вспомнила, что курение будто бы разгоняет сон, и выкурила сигарету с неожиданным наслаждением.

Понемногу дело дошло до того, что она стала носить сигареты в сумочке. Утешала она себя тем, что может бросить курить в любой момент. Однажды решилась — промучилась целый день и к вечеру полезла-таки в сумочку.

Но вместе с угрызением совести у нее словно появился новый, тайный друг, с которым можно поговорить по душам и который умеет утешать и успокаивать.

Когда от бабушки уже почти нельзя было отходить, Натали подала заявление о переводе на заочное отделение. Узнав об этом, бабушка вконец расстроилась, и Натали изобретательно доказывала ей, что совершила это будто в своих интересах.

— Мне остается сделать вид, что я тебе поверила, — заключила бабушка с виноватой улыбкой.

Теперь Натали бывала в институте только на комсомольских собраниях.

Как-то она опоздала, и ей пришлось сесть в первом ряду. За столом президиума она увидела Виктора. Сначала Натали просто улыбалась, словно они расстались вчера, и вот сегодня договорились встретиться, а она чуть опоздала.

Потом она смотрела на него, не веря, что это он. Или не узнавала его. В таком смятении пролетело около двух часов, пока не объявили перерыв.

У Натали, когда она подходила к Виктору, было такое ощущение, будто она делает это через силу, по чужой воле, но вместе с тем понимала, что сопротивляться бессмысленно.

— Добрый вечер, — выговорила она. — Вы помните меня?

— Глупый вопрос, — ответил он, разглядывая кончик своей папиросы. — Почему ты убежала тогда? Из ресторана?

— Давно это было, — сказала Натали, а сама подумала, что это случилось не далее как вчера. — Зато я очень переживала.

Бывают разлуки, которые сближают больше, чем близость. Они стояли, не глядя друг на друга, почти отвернувшись в разные стороны. И опять ей было приятно стоять рядом с ним, подумалось, что закрой глаза, и раздастся стук колес...

— Живешь-то как? — спросил Виктор. — Не замужем?

И тут она поняла, что эта встреча — и есть та самая беда, которую она давно ждет; ответила:

— Конечно, нет. А ты?

Они встретились глазами, и она почувствовала горечь во рту, сказала:

— Впрочем, помню. Банальная история. Ты где работаешь?

— В горьком комсомола.

— Сын или дочь?

— Андрей.

— Я даже не знаю, что и случилось, — будто себе самой сказала Натали, стараясь, чтобы голос прозвучал обычно. — Была я совсем девчонкой. Цып-цып-цып. Виделись мы с тобой сколько раз? Два. Сейчас — третий. Жили в одном городе и не встречались.

— Я на улице редко бываю.

— Я о тебе вроде бы забыла, — Натали не приняла шутливого тона. — Временами, правда, казалось, что есть кто-то в моей жизни...

— Ничего не понимаю, — растерянно проговорил Виктор. — О чем ты?

— Раньше у тебя глаза были грустные, — с сожалением сказала Натали. — А теперь? Усталые и еще... какие-то.

— Натали Петровна.

— Она самая. Надо нам как-нибудь встретиться. Поговорить на разные темы. Ведь я так тебя и не забыла. Еще бы немного и — влюбилась.

— Ну вряд ли... — Виктор сразу почувствовал себя свободнее, решив, что она шутит. — Запиши на всякий случай мой телефон.

Записала. На всякий случай. И с необычайной отчетливостью подумала, что с ней происходит что-то, доселе незнакомое, лишаящее ее возможности слушать доводы разума, что-то дерзкое, властное, радостное и — беспомощное. Она растерялась и насторожилась.

Бабушка умерла неожиданно, на руках у внучки.

Проснулась утром веселая, сама села в постели, заискивающим тоном попросила запрещенный ей кофе, шумно выпила чашку, погрозила и разговорилась:

— Я, кажется, выкручиваюсь из этой затянувшейся истории, чувствую, что скоро мы с тобой пойдем в театр. Я встану на ноги, а ты отдохнешь от меня. Погуляешь с этим... Чего ты в нем нашла?

— Может быть, он чего-то во мне нашел?

— Он-то нашел, а вот ты...

— Не надо, бабушка.

— Ты молода. Недурна. Больше твоему Игорю ничего и не надо. Он выдрессирует тебя, и ты будешь типичной женой. Он...

— Бабушка, я прошу тебя...

— Я имею полное право высказывать свои точки зрения, — не на шутку разгневалась бабушка. — Я же знаю тебя лучше, чем ты сама. Есть натуры, которые бегут от страданий, хотя бы из чувства самозащиты. А есть натуры вроде тебя. Они сломя голову бросаются навстречу страданиям, словно для того, чтобы лишний раз проверить свою способность сопротивляться им. — Бабушка демонстративно налила еще чашку и — сразу почувствовала себя виноватой. — Советоваться в таких случаях почти не с кем. Повзрослев, встав на крепкие, но малоподвижные ноги житейского опыта, мы с презрением относимся к заблуждениям молодости, к ее ошибкам, ко всему тому, что в свое время творили сами. Нам искренне не хочется, чтобы наши ошибки и глупости повторяли... Не сердись на меня. И не выходи, пожалуйста, за него замуж. Сделай мне такое одолжение.

Вечером был приступ. Когда бабушка перестала дышать, Натали бросилась позвонить и на крыльце встретила с Игорем. И что бы потом ни было, она навсегда благодарна ему за эти дни. Если бы не он...

Он сказал:

— Я останусь. Тебе одной тут страшно.

Да, если бы не он...

А когда вернулись с кладбища и Натали без сил упала на кровать, Игорь прибрал комнату, сварил кофе, до поздней ночи о чем-то рассказывал. Она уснула на диване. Может, это был и не сон сначала, а вязкое полузабытье...

Проснулись они поздно. Натали даже не удивилась, что он рядом с ней.

Болела голова.

— Ничего, ничего, — пробормотала Натали, когда они встретились глазами. Он смотрел виновато, с состраданием. — Не переживай.

Игорь ушел на работу, и Натали осталась одна, теперь уже совсем одна.

Она что-то делала, переставляла вещи с места на место, сидела на кухне, курила и — боялась. Наперед знала, что будет, знала, что нельзя этого делать, знала, что сделает это.

Ждала, когда вернется Игорь.

Он вернулся и предложил ей стать его женой.

— Ну и ладно, — сказала Натали, хотя про себя подумала, что слово «любовь» не было употреблено. Но какое это имело значение? Вообще, она не думала больше ни о чем. Просто пусто было одной-то, совсем пусто. И страшно.

Она вспомнила вяло, без особых подробностей, как познакомилась с Игорем, и даже сейчас не понимала, почему слушалась или, по крайней мере, соглашалась с ним. И Виктора Натали в это время почти забыла. Слишком ей тогда было одиноко...

Работала она как-то в бригаде стенографисток на конференции в научно-исследовательском институте. У Натали страшно болела голова, рези в затылке на мгновения лишали слуха. Видимо, борьба с болью отражалась на лице, потому что Натали заметила, что на нее с удивлением или интересом поглядывают слушатели из первых рядов.

— Терпи, милая, терпи, — сказала старшая, — ничего не поделаешь. Скоро заканчиваем.

И когда Натали показалось, что сейчас она отшвырнет ручку, схватится за голову и убежит, очередной выступающий на ходу к трибуне шепнул:

— Не стенографируйте. У меня полный текст.

Лишь через некоторое время Натали собрала силы, чтобы посмотреть на него. Высокий, весь какой-то отглаженный, отутюженный молодой человек красивым голосом что-то там говорил... «Симпатичный, — отметила Натали, — но очень уж стерильный».

Отдавая ей в коридоре машинопись, он спросил, внимательно взглядевшись в лицо:

— Перепечатывать будете когда?

— К сожалению, сейчас.

— Я подожду. Мне нужно обязательно вычитать, а я завтра уезжаю в командировку, — объяснил он. — Вот вам таблетка. У вас больной вид.

То ли таблетка помогла, то ли она машинально отвлеклась размышлениями об этом молодом инженере, но не заметила, как закончила работу. Вычитав машинописный текст, он сказал:

— Даже опечатки ни одной. Спасибо.

— Здесь нет буфета? — спросила Натали.

— А что?

— А что в буфетах делают? Я хочу есть.

Было в его манере поведения что-то располагающее, естественное. Натали и не заметила, как это случилось, но уже сидела с ним в кафе за столиком. Еще больше удивилась она, когда согласилась выпить рюмку.

— Не подумайте, что я нахально за вами ухаживаю, — весело сказал инженер, — честное слово, я просто пожалел вас. Еще тогда, в зале.

Но ухаживать он, видимо, умел, потому что Натали, опять же незаметно для себя, даже разговорилась, даже ответила на прямой, непринужденно заданный вопрос, не замужем ли она.

— Я тоже, — Игорь (они уже представились друг другу) широко улыбнулся. — Вроде бы компанейский человек, не затворник, а... вот так. Овладел всеми домашними холостяцкими специальностями. Но не горжусь этим, а наоборот. Жаль будет, если мы больше не встретимся.

— Не знаю, — ответила Натали, хотя и знала, что ей все равно, а значит, она согласится с ним.

Жестом руки Игорь остановил ее, когда она взялась за сумочку, чтобы расплатиться, и дал подошедшему официанту ровно столько, сколько следовало, даже мелочь, не ожидая счета.

— Я хорошо считаю в уме, — ответил Игорь на удивленный взгляд Натали. — А чаевых не даю. Принципиально.

Он проводил ее, настоял, чтобы она записала номер его служебного телефона, говорил какие-то необязательные, но полагающиеся в подобных ситуациях слова. Она, конечно, не звонила, и недели через две встретила его у своего дома.

«Сейчас он скажет, — подумала Натали, — если гора не идет к Магомету...»

— Магомет пришел к горе, — сказал Игорь, — потому что гора ему не позвонила.

Ничего неприятного в нем Натали не обнаружила, но с ним было удивительно удобно. Игорь как-то уверенно, но ненавязчиво умел пригласить в кафе или в театр, или в кино. Даже молчание с ним не было тягостным.

Встречались они редко. Игорь появлялся именно в тот момент, когда Натали подумывала, что сейчас она и не возражала бы с ним встретиться.

Отношения их не менялись, не становились более близкими, и Натали это устраивало, хотя иногда в голову и проникала мысль: а почему бы, собственно, нет? Нет, нет, нет!

И вот теперь они вместе. И опять Игорь вроде бы тут, рядом, но она не ощущает его воли, словно бы все делает сама.

Свадьба так свадьба. Пригласила отчима.

Он был очень доволен приглашением, но прийти отказался, честно сознавшись, что с плохим подарком ему являться неудобно, а на хороший — он постучал кулачками друг о друга — он тратить не имеет права.

Слушая его, Натали чуть не рассмеялась: поняла, что на сей раз он сам попал в жесткие руки.

Он попытался подробно расспросить бывшую падчерицу о жене — конечно, с точки зрения финансовой состоятельности — и ужаснулся, обнаружив, что Натали не знает даже его зарплаты.

— Может случиться так, — озабоченно заключил отчим, — что он просто зарится на жилплощадь.

— Вряд ли, — равнодушно возразила Натали.

— Смотри, смотри, — отчим сокрушенно покачал головой. — Как бы... люди очень неискренни...

Он проводил ее до трамвайной остановки. Шел он, опустив голову, часто оглядываясь.

— Что с тобой? — удивилась Натали.

— Понимаешь... — он поморщился. — Моя новая жена... очень уж она... совершенно без души... А с годами, понимаешь, хочется... возникает потребность... необходимость... а я не слышу от нее ни одного теплого слова.

— Но у тебя же много денег.

— Кое-что есть.

— Зачем же тебе душа?

— Как — зачем? Я же живой человек.

— Раньше ты в этом не нуждался.

— А сейчас нуждаюсь... Очень...

И уж совсем удивилась Натали, когда неожиданно для себя самой предложила:

— Заходи как-нибудь ко мне.

— К нам, — поправил отчим.

— Да. К нам.

...Ничего не понимала Натали. Шла по улице и вдруг замечала, какие у нее сильные ноги, как приятно идти, чувствовать себя... Нет, никакого обновления. словно ничего не случилось. Обидно. И пусто.

Она мучительно старалась узнать, что же с ней происходит. Неужели она хочет стать женой только потому, что совершила ошибку? Когда-то и Виктор так женился. Но от него требовали этого, он был отцом...

— Игорь! — почти вскрикнула она, когда он заговорил о свадьбе. — Знаешь... не надо загса. Не надо свадьбы.

— Ты что?! — Игорь рассмеялся.

— Просто будем жить... так.

— Интересно, — он, улыбаясь, разглядывал ее. — Но это же... аморально.

— Не знаю... Сейчас я не могу без тебя. Просто — не могу. Мне страшно одной. Сейчас ты мне друг. Но я не уверена, что мы будем счастливы.

— Да, ситуация. — Игорь пожал плечами, помолчал и начал с удовольствием рассуждать. — Я немного знаю твой характер, я знаю, что иногда с тобой бесполезно спорить. И вот в этой твоей... нелогичности, что ли, в том, что никогда неизвестно, как ты поступишь, и заключается твоя... неотразимость для меня. Но самое главное: я хочу быть с тобой, я уверен, что мы будем жить хорошо. — Он опять помолчал. — Согласен на твои условия.

Так и получилась у них совместная жизнь.

«У меня просто нет силы воли, — часто думала Натали. — Что мешает мне расстаться с ним?»

Или она из тех, которые так много ждут от любви, что боятся ее, не веря в ее существование, торопятся как бы проскочить, перепрыгнуть, что ли, тяжелое время, когда полюбить некого и... оступаются?

— Что с тобой? — спросил однажды Игорь. — Ты плохо выглядишь. Это оттого, что ты не высыпaeшься. Читаешь много.

— И читаю я мало, и сплю я много! — с неожиданным раздражением сказала Натали. — Я глупа!

— Это ты сама себе внушаешь, — мягко возразил Игорь, погладив ее по голове. — Ты излишне строга к себе. Не надо. Не имеет смысла. Понимаешь, человеку необходима способность рассчитывать свои силы и возможности. Нет ничего жалче, чем тщетные усилия. А ты мечешься. Зачем? Во-первых, давай регистрируемся. Во-вторых, переходи на очное отделение. Денег у нас хватит. Я могу еще взять лекции...

— Да не в этом дело! — вырвалось у Натали.

— А в чем? — И раз она не отозвалась, он с удовольствием заговорил сам, как всегда, прислушиваясь к своему голосу: — Радости бывают условные и безусловные. Вот и надо держаться за безусловные. Они — реальность, они гарантированы. Любишь курить — кури. Любишь хоккей — смотри. Наслаждайся тем, что доступно тебе почти без условий. Без риска. А условные радости — те, которые можно получать только при соответствующих условиях... которые сопряжены с отказом от нормального течения жизни. А у тебя все наоборот. Нелепица на нелепице.

Натали было все равно. Она не могла себя заставить хотя бы спорить.

Иногда равнодушие бывало таким сильным, что даже словно притупляло слух. Она не слышала, о чем рассуждал Игорь. А он ничего не замечал.

В нелюбимом легко найти недостатки. Нелюбимого легко обвинять. Натали создавала это и умела сдерживаться. Разве Игорь виноват в том, что она его не любит? А разве она виновата, что так получилось?

И все же она не испытывала особых угрызений совести, уверенная, что беда касается ее одной. Игорь всегда производил впечатление сильного человека, не способного согнуться от неожиданного удара судьбы, и, вообще, искренне презирающего разные там эмоции.

Ничто не могло смутить или насторожить его. Он смотрел на нее восхищенным, удовлетворенным взглядом, щурился глазами.

Как-то она разозлилась:

— А вдруг я уйду от тебя?

— Куда? — Он рассмеялся и спокойно продолжал: — Этого быть не может. — И в голосе его отчетливо прозвучали твердые нотки. — Ты из породы идеалистов. А они попрыгают, попрыгают с тщетными попытками жить как-то не так, как люди живут, потом становятся самыми обыкновенными. — Он усмехнулся снисходительно. — Немного пофантазируешь, помечтаешь, и нас внесут в запись актов гражданского состояния, сокращенно — загс.

— Мне порой кажется, — сказала Натали, словно не расслышав, — что моя жизнь еще и не начиналась. Я еще и не знаю, какая я на самом деле.

— Это инфантильность, то есть детскость, причем очень уж застарелая, не по возрасту. Но я-то знаю, слава богу, какая ты была, есть и будешь.

— Обрисуй.

— А ты не иронизируй. — Игорь оживился. — Ты послушай. Твои книги — книгами, а жизнь — жизнью. В наше время «Библио-

тека военных приключений» и монотонность телевидения более необходимы, чем разная там... литература. Страсти — только в хоккее и чуть-чуть в футболе. И не морщись. Это неприятно, как всякая правда. Все свои знания ты черпаешь из книг, которые читает небольшая кучка людей. В наш-то век стихи? Это удел немногих, тех, кто не ощущает пульса времени. Не морщись, я тебя прошу. Наш век — век инженеров, ученых и спортсменов. Век мозга, мускулов, а не чувств. Мы читаем для того, чтобы отдохнула голова... Теперь о нас с тобой. На первый взгляд, мы довольно разные люди. Нас вроде бы ничего не связывает, кроме... некоторых интимностей. На самом же деле мы будем жить очень хорошо.

— Два вопроса, — равнодушно сказала Натали, уже жалея, что затеяла этот разговор. — Что же все-таки нас связывает и что такое — жить хорошо?

— Жить очень хорошо, — громко, даже торжественно ответил Игорь и полулег на диван, смотря в потолок, — это значит жить так, как задумал. Жить, не боясь неожиданностей. Как в очереди за холодильником! — Он рассмеялся. — Без отклонений. Если поезд опаздывает, это плохо. Если он приходит раньше расписания, это нелепо и тоже плохо. И тоже нарушение графика. Надо, чтобы поезда приходили точно по расписанию. Тогда будет возможность рассчитывать, учитывать, не мудрить, не философствовать, не искать заново смысла жизни. Он давно найден. Человек обязан выполнять свои обязанности перед обществом — раз, удовлетворять свои потребности — два. А свои обязанности и потребности надо знать по возможности точно. Тут главное — не мудрить. Метания — от бессилия, как и неудовлетворенность. Ведь все в жизни предельно просто. Жизнь — удивительно примитивная конструкция. Сначала, еще не умея читать ее чертеж, человек куда-то рвется, фантазирует, идеализирует или, наоборот, отрицает, проклинает. Но потом, разобравшись в чертеже жизни, человек понимает, что — надо жить. Отдавать и брать. Баш на баш. Что тут сложного? Где тут повод для сомнений, загадок? Надо просто уметь смотреть в глаза самой простой правде. Она, конечно, немного цинична, но ведь, чтобы вылечить человека, врачи называют вещи своими именами. Самые честные люди — это циники. Они полностью отказались от всех недомолвок.

— Я спрашивала, что нас связывает?

— Отвечаю. А от запутанного взгляда на жизнь проистекают разные осложнения, даже драмы. Вот ты в глубине души не очень-то любишь людей, потому что требуешь от них слишком многого, требуешь того, на что большинство, наверное, и не способно. Ты отдаешь им больше, чем получаешь. Посему ты ими и недовольна. И рано или поздно ты уйдешь от них в себя. Этот процесс уже

начался. Всего удобнее ему происходить здесь, дома. Я тебе помогу. Ведь я очень удобный — ты не заметила? Обрати внимание: как мало я от тебя требую. Минимум. Я не вызываю тебя на соревнование: чья воля, чей характер сильнее, кто лучше? А ведь именно этим занимается большинство супругов. Я совершенно убежден, что мы будем жить душа в душу. Ты привыкнешь ко мне, узнаешь все мои достоинства и недостатки, успокоишься... Все будет предельно просто. И очень хорошо.

— И очень скучно.

— О нет.

Спорить не хотелось. Спорить было бесполезно. Он все равно бы не понял. Улыбался бы снисходительно.

И она уходила на кухню. Хотя Игорь и не запрещал ей курить, она любила делать это в одиночестве.

«А что мне мешает взять и уйти? — думала она. — Невесть какая трагедия для него. Пока еще не поздно. Почему же я не уйду? Не может быть, что меня удерживает то, что бывает ночью. Когда хоть ненадолго, да забываешься... Почему же я не уйду?.. Жалеть его не за что. Он в этом не нуждается...»

Как всякий одинокий человек, она любила разговаривать с вещами, особенно с бабушкиным кофейником.

«Не сердись, — просила его Натали, когда он отплевывался кипятком, — я отвернулась всего на минутку, а ты... Добрый, а злишься. Вот увидишь, я научусь обращаться с тобой, как бабушка».

И все время вспоминала бабушку, и оправдывалась перед ней.

Игорь постепенно, но настойчиво обставлял квартиру новой мебелью. Исчезали старые вещи, появлялись другие. Натали жалела и старинные расшатанные кресла, и диван с потертой кожей, и громоздкий дубовый стол, и особенно — пианино.

— Может быть, оставим? — спросила она. — Бабушка очень любила его.

— Я не замечал в тебе сентиментальности. Хранить эту бандуру как память? Зачем? Если бы это был великолепный инструмент... Смотри, дело твое.

Натали махнула рукой.

О своей прежней жизни Игорь почти не рассказывал, а Натали и не спрашивала. Отец его разошелся с женой, когда Игорю было десять лет, и сейчас изредка посылал весточки. Мать писала еще реже. Игорь отвечал открытками.

Он был воистину счастливым человеком. Вот уж кто никогда не испытывал ни тоски, ни отчаяния, ни неуверенности. Казалось, в нем есть какой-то ограничитель чувств, не позволяющий им достигать напряжения.

— Ты ведь счастлив? — спросила однажды Натали.

— Очень, — подумав, ответил Игорь. — А ты разве несчастна? — И рассмеялся. — Если ты и несчастна, то по собственному желанию.

Отличительной его чертой была привычка оставлять мысли о работе там, на заводе, не приносить домой в душе ничего, хотя бы отдаленно связанного с ней.

Как всякий жизнерадостный человек, Игорь не был лишен своегообразного обаяния. Иногда Натали, сердясь на себя, против воли любовалась им.

Почти каждую субботу они были в гостях. К этому она привыкла как к изнурительному испытанию, которое надо вынести, не шевельнув бровью.

Пили много, но не напивались.

Ни разу не поругались, не поссорились, даже не повздорили.

Если и спорили, то по пустякам, равнодушно, не особенно настаивая на своей правоте.

Настоящее оживление наступало при обсуждении спортивных новостей.

Главное — чтоб не испортить компании.

О работе — ни слова, разве что мимоходом ругнут дружно какого-нибудь начальника.

Или коротко вздохнут о сорвавшейся премии.

Это были, что называется, порядочные люди.

Игорь — по дороге домой — иногда иронизировал:

— Вот у кого надо учиться жить. Они — воплощение порядка и разумности. Они не могут позволить себе опоздать к принятию пищи и на работу. Они добросовестно выполняют общественные и супружеские обязанности. Все их существование регулируется привычками. Впустую, не по назначению не расходуются ни один грамм энергии.

Натали сидела среди них и думала о своем, машинально улыбалась, когда вокруг хохотали, отвечала на вопросы, если ее спрашивали, хвалила кушанья, платья, книги, обстановку, детей, кошек или собак...

Мужчины за ней легонько ухаживали, женщины — ее не любили в основном за молодость и за поведение.

Иногда они с Игорем принимали гостей. Это было еще хуже. За несколько дней до важного события, каким для него был прием гостей, Игорь составлял список приглашенных, вин и закусок, причем список переделывался несколько раз. Затем он вручался Натали вместе с деньгами...

Потом — нудный вечер, грязная посуда и на несколько дней ощущение пустоты и стыда, словно она принимала участие в каком-то нехорошем деле.

И лучшими часами были те, когда она оставалась одна. Неправда, что в одиночестве человек обязательно грустит. У нее было наоборот. Она оживала, забывалась, становилась сама собой.

И не этого одиночества боялась она, не физического одиночества. Она не могла уйти от Игоря, потому что уходить было просто некуда, везде ее ждала тоска, а тут — хоть привычки появились. Утром надо было вставать, готовить мужу завтрак, вечером — ожидать его с работы...

Непонятно только: дни или мелькали, или ползли? Вроде бы ни одной свободной минуты, а — пусто. Натали все делала без удовольствия, лишь потому, что — надо.

И сколько так могло продолжаться?

— Вот сказка есть, — прошептала нянечка, присаживаясь на койку к Натали. Все в палате спали после обеда, и нянечка низко склонилась. — Пришел как-то мужик к богу и говорит: «Дай-ко мне, старый, другую судьбу, получше этой. Моя-то уж больно нелегкая и неловкая». Бог пожалел чего-то мужика, привел его в склад, где судьбы людские хранились, и велел выбирать любую. А судьба — это мешок заплочный, с ляжками. Скинул мужик овой мешок и давай новые примерять. Ни один не подходит: то легкий, то тяжел, то сидит криво и так дале. Тыщи три, сказывают, мужик мешков перебрал, вспотел весь. Еле-еле подходящую судьбу выбрал. Обрадовался. Да рано. Оказалось, свой же мешок, свою же судьбу сам выбрал, сколь ни крутил... Понятно? Чего ж от своей судьбы отворачиваться?

Она невольно замедляла шаги около каждой будки с телефоном-автоматом. Никогда раньше она не подозревала, что их так много в городе.

Натали опускала монетку, снимала трубку, набирала номер и, когда раздавался голос: «Я слушаю», — мысленно отвечала: «Здравствуй», — и вешала трубку.

Светлая грусть сменялась отчаянием, а иногда и надеждой. Натали любила отдаваться этим чувствам, еще не зная, как они сильны и опасны.

Думая о Викторе, она ощущала себя совсем другой, словно возвращалась на несколько лет назад, когда и не подозревала, что будет такой, какой была сейчас.

...И вот однажды она вошла в будку.

— Слушаю.

— Это я. Здравствуй. Мне нужно тебя увидеть.

Долгое молчание.

И когда она хотела повесить трубку, спокойный голос сказал:

— В семь около почтамта?

— Буду ждать.

А было всего пять часов. И, главное, напрасно она это затеяла. Ни к чему. Зря.

Она стояла в здании почтамта у батареи центрального отопления и чуть не плакала от боли: отходили замерзшие ноги.

«Что мне надо? — испуганно и напряженно думала Натали. — Чего я хочу? Мне надо, чтобы он пришел. Я хочу его видеть».

И это простое желание приобрело огромный, не уместающийся в сознании смысл. Казалось, желание не только в ней, но и — везде.

Все люди куда-то к кому-то спешили, а те, которые проходили не спеша — ждали кого-то.

Потом Натали стало стыдно: ведь все видят, что и она ждет... А чего ей стыдиться?

А потом стало страшно... Слишком уж у него был спокойный голос.

С каждой минутой все глуше хлопали двери, словно звуки вязли в тягучести времени.

Он еще не пришел, а она уже была с ним, говорила ему: «Я знала, что ты тоже захочешь меня увидеть. Ты не мог не прийти. Хотя лучше бы было, если бы ты не пришел. Тогда бы я больше никогда не осмелилась позвать тебя. И что со мной будет из-за тебя?»

— Спасибо, — сказала она, — ты явился на семь минут раньше.

— Идем куда-нибудь, — торопливо предложил он, и они вышли на улицу.

Там было темным-темно. Туман. Фонари не рассеивали, а лишь утверждали морозный мрак.

— Как живешь? — спросил Виктор.

— Плохо, — весело отозвалась Натали, — очень плохо... Куда мы идем?

— Хоть куда. Где народу поменьше.

Скоро у Натали замерзли губы.

— Вон куда мы забрели, — прошептала она, увидев здание железнодорожного вокзала. — Зайдем, погреемся?

Там было чуть-чуть теплее. Виктор молча курил.

— Помнишь, — шепнула она, — как мы в ресторане...

— Помню, помню...

За окнами вскрикивали маневровые паровозы. Прогрохотал состав, и все здание содрогнулось.

И Натали подумала, как сладко было бы сейчас сесть в поезд и...

— Далеко-далеко, — сказала она.

— Что? — недоуменно спросил Виктор.

— Так.

Он продолжал молча курить. Они сидели в углу на холодной лавке.

— Ты чего оглядываешься? — спросила Натали.

— Да понимаешь... — Он усмехнулся. — Я ведь первый раз вот так... на свидании. А лицо у тебя усталое. Ты изменилась. Почему?

— Потому что замужем.

— Поздравляю. Счастлива?

— Как видишь. А ты?

Несколько секунд здание содрогалось — мимо шел состав.

— Не знаю, — ответил Виктор. — История моя тебе известна. Ну... живем. Никакой, конечно, лирики. Да и не до нее. Работа. Сын. Натали закурила. Он равнодушно удивился:

— С каких пор?

— Уж не помню. Сначала баловалась, потом привыкла. Брошу. Хотя одним недостатком меньше будет.

— А много у тебя их?

— У меня, кроме них, ничего и нет.

— Самокритично.

Пусто было на сердце и — тяжело. Странное ощущение: тяжелая пустота. И еще — жалость. Ей было жаль очень Виктора. Она чувствовала, что он скрытен перед ней, что живется ему плохо, что вот она могла бы прогнать из его глаз усталую озабоченность, виноватость, настороженность...

— Да! — вдруг громко сказал он. — Дело не в том, счастлив ли ты лично. Личное счастье — понятие все-таки узкое. Его придумали те, кто хочет отгородиться от большой жизни, уйти в маленький мирок мелких интересов...

— Правильно. — Натали заглянула ему в глаза, он опустил их. — А личное счастье назвали мелким понятием те, кто не способен кого-нибудь сделать счастливым. Личное счастье может быть просто частью большой жизни. Одно другому не мешает.

Виктор молчал.

— Больше я тебе звонить не буду, — выговорила Натали. — А за сегодняшнее прости. Я не подумала.

— Пора, — кивнув, сказал Виктор.

— Да, пора.

И дорогой он молчал.

— Это первое в моей жизни свидание, — удивленно сказала Натали, — и, видимо, последнее.

— Ты не сердись на меня, — сказал Виктор. — Ты пойми. У меня семья...

— А разве я?.. — Натали задохнулась морозным воздухом. — Разве я что-нибудь?..

— Но мы же не дети. Мы...

— Подожди, подожди. — Натали остановилась. — О чем ты?

— Я хочу предостеречь тебя. Нельзя так. Ты понимаешь...

— Ничего я не понимаю! — Натали отвернулась. — Я боюсь только одного... Вдруг я... Мне все кажется, что тебе плохо, а я могу помочь и...

— Не надо. — Виктор пальцами размял огонек папиросы. — Не надо.

И если бы он даже окликнул ее, она бы не обернулась. Да он и не окликал.

Натали пришла домой, не заботясь о том, чтобы скрыть свое состояние. Все будет просто: сейчас Игорь спросит, что с ней, она расскажет, и они расстанутся.

Игорь открыл дверь и убежал в комнату с возгласом:

— Посмотри, что я купил!

В комнате стоял телевизор. Игорь крутил ручку настройки. Ему, конечно, было не до Натали, и она ушла в кухню, чтобы побыть одной, пройти от стены к стене, схватившись за голову руками.

А телевизор гудел, а Игорь кричал:

— Иди, иди сюда, потом поешь! Все в порядке!

«Все в порядке, — подумала Натали, — сейчас я возьму себя в руки. Сейчас я возьму себя в руки».

Хорошо, что свет в комнате был потушен, и Игорь не отрывал взгляда от экрана. Он, хоть и терпеть не мог оперы, на сей раз блаженствовал.

А Натали думала, что вот — а ведь сердиться-то не на кого. Разве что на себя...

Когда к ночи кончились передачи, Игорь с сожалением выключил телевизор и, вытянувшись в кресле, сказал:

— Теперь жить можно... Я имею в виду футбол и хоккей. А не философию. И если у тебя плохое настроение, то телевизор тут ни при чем.

И оттого, что он был прав, она вдруг ощутила резкое, почти физическое желание смутить его, испугать; спросила:

— А мне сегодня, знаешь, что подумалось? Что я не люблю тебя. Как ты на это смотришь?

— Я? — удивился Игорь и, улыбаясь в растерянное, испуганное лицо Натали, ответил: — Во-первых. Бывает категория людей, которые все делают не вовремя. Почему сегодня, когда у меня радость, ты затеяла этот разговор? Почему не вчера? — Он опять улыбнулся. — А о том, что ты меня не любишь, об этом я, право, не думал. Не было поводов. Это во-вторых. И в-третьих. Я знаю одно. Что характерец у тебя... скажем так: сложный. И мне придется над ним немало поработать. Зато потом ты будешь золото. Ну а если гово-

рить серьезно... за меня ты вышла, собственно, в минуту отчаяния. Да и не вышла, а... даже не знаю, как это называется. То, что в твоём возрасте и при твоих взглядах именуют любовью, меня не интересует. А, может, то, что я к тебе испытываю, и есть любовь. Может быть. Я знаю, и знаю твердо: ты мне нравишься, ты у меня первая, ты меня, так сказать, полностью устраиваешь. Это нормальное чувство нормального человека, а все остальное... — Он усмехнулся добродушно. — Все остальное тонкости терминологии. А мы будем жить хорошо.

Он долго, старательно разминал сигарету, закурил, пуская дым кольцами. Ни разу в жизни он не уронил пепла на пол или мимо пепельницы. Только в пепельницу.

— Я бы согласилась жить плохо, очень плохо, — сказала Натали, — если бы от этого кому-нибудь было легче.

— Громкость фразы, Натусь, — сказал Игорь, — прямо пропорциональна ее бессодержательности. — И стряхнул столбик пепла точно в пепельницу.

И это доставило ему удовольствие.

Сегодня в больницу должен прийти Игорь. Натали нервничала: ей не хотелось видеть его. Она почему-то чувствовала себя виноватой, а желания подавить это чувство не было.

Пришла сияющая нянечка, с порога заговорила:

— Тут он, тут! Халата ждет. В простынке отказался. Уж такой вежливый, такой... Все бы такими были!

Вдруг Натали похолодела, напряглась, вслушиваясь, и — бросилась к дверям.

К ней подходил Виктор. С его плечей свешивалась коротенькая простыня. Увидев Натали, он громко спросил:

— Как ты? А?

— Ничего, ничего. А ты?

— Ну что я? — Если бы брови его страдальчески не переломились, можно было подумать, что он раздражен. — Почему ничего не сообщила? Нельзя же так! Я случайно в институте узнал... Ну, что?

— Дочь... была. Вот и все.

Натали смотрела на подходившего Игоря и словно не могла понять, кто это, и почему она его боится.

— Знаешь, — смущенно проговорил Игорь, целуя ее в лоб, — я здесь чуть не час. Халатов не хватает. Пришлось ждать.

Виктор медленно пошел к выходу. Игорь перехватил взгляд Натали, спросил:

— Кто это?

— Знакомый.

— Интересно. Раньше мужа... Ведь я же предупреждал тебя! Тебя все отговаривали! Но почему...

— Это мое дело.

— Конечно, твое. Но что делать мне? Ты спутала всю мою жизнь... Извини, я даже не знаю, как писать в анкетах...

— Ты ругаться сюда пришел?

— Тебе легко...

— Мне легко.

— Ну, я... в другом смысле. Ты пойми: ведь я ни в чем не виноват. — Он искал ее взгляда, а она прятала от него глаза, потому что впервые видела его растерянным. — Я пытался сделать все, чтобы тебе было хорошо. Ты не представляешь...

— Ты пришел ко мне в больницу, — перебила Натали, — я еще больна, а ты все о себе...

Игорь оскорбленно поджал губы, передал ей тяжелый сверток, сказал:

— Я все понимаю. Но нельзя быть такой безответственной. Это я говорю ради тебя же самой. Ты только вдумайся в свое поведение.

— Я устала стоять. — Они встретились глазами, и Натали испытала леденящее желание просто выгнать его. — Я устала стоять, — повторила она. — Спасибо, иди.

— Подожди. Скажи мне только одно: чем я тебе не угодил?

— Ты ни в чем не виноват. И больше не приходи.

В палату она вернулась такой обессиленной, что сразу легла поверх одеяла.

Она не виделась с Виктором месяца три, втайне надеясь, что он, может быть, сам позовет ее.

А потом взяла да и позвонила, да и сказала, что хочет его увидеть.

— Хорошо, хорошо, в семь.

Натали, выйдя из телефонной будки, впервые закурила на улице. Дым показался горьким, она выбросила сигарету и пошла.

Случаются дни, как будто специально предназначенные для неприятностей. Утром она опоздала на сдачу зачета, которого очень боялась. После лекций в институте побывала в женской консультации, там ее не обрадовали — беременность, предупредили, чтобы заходила почаще, так как роды могут быть очень тяжелыми, в ближайшие дни советовали обратиться к профессору такому-то, он и скажет окончательное слово, может быть, придется «прервать беременность»... Оглушенная, растерянная, она зачем-то позвонила на завод Игорю, начала рассказывать, а он перебил недовольно:

— О таких вещах по телефону не говорят.

И, дескать, нечего раньше времени паниковать.

Она пошла домой, чтобы передохнуть в одиночестве, выпить кофе, подумать, но в баллоне кончился газ. Она расплакалась.

И позвонила Виктору.

...А сейчас вдруг оказалась в трамвае. Ее прижали к стенке на задней площадке, стоять было неудобно, но постепенно она отвлеклась, думала о своем, ничего не замечая вокруг. Все понятно. И не зачем обманывать себя. Она любит. А он — нет. И в этом нет ничего несправедливого, страшного. Бывает. Но вот что плохо... любит-то она навсегда.

Вот это плохо...

Трамвай остановился.

— Конечная! — почему-то с отчаянием, хрипло выкрикнула кондукторша. — Дальше не поедем!

Натали вышла из вагона и едва не вздрогнула: она приехала к своему старому дому, откуда после смерти матери ее спровадил отчим.

Шла по знакомой улице, как по холодному пепелищу. Все было, конечно, на своих местах, ничего не изменилось, а внутри, а в душе было пусто, как при встрече с давним другом, который уже и не друг, и никто в этом не виноват.

А когда поднималась по знакомой лестнице, вдруг стало легко и просто грустно, будто насовсем возвращалась домой, а там мама ждет ее. И нет никакого отчима.

Но не могла поднять руки, чтобы позвонить, стояла, будто перед входом на кладбище, когда ненадолго охватывает надежда, что пришла сюда по ошибке — никого тут своих нет.

Дверь открыл отчим, постаревший, худой, только под халатиком смешно и жалко торчал острый животик.

— Это я, — не выдержала она молчания и подозрительного разглядывания.

— Вижу. А зачем?

— Да не бойся. Просто так. Шла мимо. Дай, думаю, зайду.

Отчим недоуменно пожал плечиками, сказал почти виновато:

— Ну ладно. Входи. Только ненадолго. Можешь даже не раздеваться. Посиди и...

Натали перешагнула порог, медленно расстегивала пуговицы пальто, не спеша повесила его, перед зеркалом сняла шляпку, поправила волосы, переобулась в какие-то остатки шлепанцев и сказала:

— Чаем можешь не угощать.

— А я и не намеревался. — Отчим стоял перед ней, уныло свесив голову набок. — Ты похорошела. Да.

— Мебели-то! — воскликнула Натали, войдя в комнату. — Куда столько?

— Что делать? — жалобно отозвался отчим. — В филармонии меня вежливо терпят до пенсии. Вообще, я там что-то вроде затычки. Ни одного приличного концерта. Но я, — он попытался распрямиться и даже выпятить грудь, — я спокоен. Не ахти как, но обеспечен. Гарантирован от случайностей. А ты?

— Я тоже... обеспечена.

— Я сразу заметил. Одета ты... состоятельно.

Натали закурила.

— Ты что? — отчим бросился к ней, выхватил сигарету, заметался по комнате, не зная, куда ее деть; убежал в кухню, вернулся, вытирая руки полотенцем. — Если ты катишься вниз по наклонной плоскости, то умей, по крайней мере, держать себя, ну, как положено. И потом — гигиена, режим, здоровье. У меня все-таки певческое горло.

— Прости, — сказала Натали. — А откуда ты знаешь, что я качусь вниз по наклонной плоскости?

— Куришь, например.

— Курить я начала, когда еще не катилась. Как у тебя с женой? Отчим поморщился, ответил:

— Терпимо. В принципе. Она экономна, изобретательна. Из ничего, действительно, способна сделать кое-что. Сейчас обменивает квартиру, и удачно.

— Ты потому испугался моего прихода? Боялся, что помешаю?

— Да. Мало ли...

— Не бойся. Меняй. Правда, мой муж несколько раз просил меня подать на тебя в суд, но я отказалась. Рассказывай про жену.

Отчим удовлетворенно постучал кулачками друг о друга, оживленно заговорил:

— Больше половины, — он обвел ручкой вокруг, — ее заслуга. Заботится обо мне — требует, чтобы я периодически показывался врачам. Чистоплотна. Порядочна. Но... — он растерянно и недоуменно пожал плечиками. — Что-то не то все-таки. Виолетту Яковлевну я вспоминаю гораздо чаще, чем первую жену. У твоей матери была душа. Она излучала душевное тепло. И было как-то логично: у нее превалировала душа, у меня — разум. Это нас объединяло и создавало своеобразную гармонию. А эта... она... ну и так далее... А как ты?

Натали показалось, что он не сказал чего-то самого главного, решила, что он проговорится потом, и ответила:

— Как? Муж неплохо зарабатывает. Чем-то в финансовом отношении напоминает тебя. Обменивает квартиру. Мебели у нас тоже немало, но она у нас модерн. — Натали подняла вверх указательный палец. — За ней надо бегать, записываться в очереди, заводить знакомства и тому подобное.

Отчим недовольно, даже с завистью покачал головой, произнес:

— Странно. Я ожидал другого. Ты ведь всегда была легкомысленной. Причем предельно легкомысленной. Извини, даже глупой. А тут...

— Может быть, я такая и есть... — для себя самой сказала Натали, взглянув на часы: еще рано. — Но кто объяснит, где легкомыслие, где...

— Только не надо философствовать! — отчим брезгливо помахал ручкой. — Я всегда утверждал, что жизнь проста и...

— Да, да! — оборвала Натали. — Видимо, так оно и есть. Но мне почему-то жалко тебя. Ничего хорошего ты для меня не сделал, а у меня на тебя ни обиды, ни злости.

— Правильно, — удовлетворенно согласился отчим. — Я и плохого ничего тебе не сделал. Я кормил тебя, одевал...

— За это я тебе заплатила. Сполна. — Натали встала. — Больше я к тебе не зайду. Живи абсолютно спокойно.

— О, покой нам только снится. Конечно, мне спокойнее других, но... И вообще... вот зачем ты пришла? Утешь меня, скажи, что не из-за квартиры!

— Нет, нет. Мне даже в голову не приходило.

— А муж твой? Он не может заявить...

— Нет. Я не позволю.

Она прошла в другую комнату и на пороге рассмеялась, да так громко, что отчим бросился к ней с возгласом:

— Что там?!

— Ну, знаешь, не ожидала!

Над кроватью висела картина в под бронзу окрашенной раме. Собственно, это была не картина, а нечто невообразимо бездарное. Написана она была на уровне базарных лебедей, только изображены на ней были люди.

— Идем, идем, — отчим тянул Натали за руку, — это наше интимное.

— Нет, я посмотрю. У меня возник нездоровый интерес.

Изображала сия картина известную библейскую сцену. Голая, с формами невероятных размеров, да еще нарисованная со всеми физиологическими подробностями, баба лежала на траве и держала в руке яблоко величиной с арбуз. Над ней стоял в той же манере нарисованный мужчина, а сзади него на дереве висела змея. Все это поражало не только похабностью, а именно — бездарностью.

— Бедные Адам и Ева, — сказала Натали, — вот как вас представляют себе некоторые нелегкомысленные люди.

— Жене нравится! — отчим всплеснул ручками. — Я настаивал на прикрытии наготы хотя бы у этого субъекта, но жена назвала мое законное требование мещанским и еще... ну... ханжеским. И, действительно, в искусстве это принято.

— В искусстве — да. Но ведь это как на заборе написано.

— А что я могу сделать?! — воскликнул отчим. — Она меня на семнадцать лет моложе. Конечно, я ею руковожу, глава семьи я, но и уступать приходится. В мелочах. В конце концов, мы взрослые люди. Детей у нас нет, так что...

— А почему у вас нет детей? Ты не хочешь?

— Я! Не! Хочу! — раздраженно прокричал отчим. — Это! Трагедия! Я бы все отдал, если бы... Не могу же я жениться в четвертый раз! У меня никогда не будет наследников, я никогда не буду отцом!

— А ты купи потомство. За деньги.

Лицо отчима передернулось, словно сквозь него проскочила искра злости; он сказал, почти не шевеля губами:

— Не смейся надо мной... Лучше спроси, почему у твоей мамы не было детей от меня... Не знаешь? Так узнай. Она мне сказала, как родила тебя. Цезарево сечение!

— Кесарево, — машинально, глухим голосом поправила Натали, приложив ладони к вискам, чтобы притушить боль. — А мне она говорила, что это след от аппендицита.

— Понимаешь, в каком я был положении? — почти торжествуя спросил отчим. — Не мог же я настаивать на повторении. Первая жена была больна. А сейчас? У этой тоже не может быть детей, правда, по другой причине, но мне не легче!

— Все-таки, — Натали достала сигарету, — я выкурю здесь, в коридоре. Значит, не все можно купить за деньги?

— На них можно купить все, что можно купить. С них этого достаточно. И вообще, не тебе меня судить. Лучше объясни, почему ты ведешь такой образ жизни?

— Какой?

— Ну... связанный с курением.

— Брошу. И курение. И образ.

— Ты учти, — отчим старательно разгонял дым ручками, — что молодость проходит стремительно. И особенно разительные перемены в худшую сторону претерпевают женщины. Посему — думай о будущем. Пусть вместе с первыми морщинками к тебе придут...

— Деньги, — подсказала Натали.

— Они, они, — обрадованно подтвердил отчим.

— Когда они есть, жизнь проста, — сказала Натали.

— Когда есть деньги, жизнь проста, — как заклинание подтвердил отчим. — Смотри, не окажись у разбитого корыта. Всегда думай о будущем.

— Прощай, — бросила Натали; ей захотелось докурить сигарету с удовольствием, чтобы отчима не было рядом, но, взявшись за ручку дверей, она спросила через плечо, не сдержавшись: — А разве ты не у разбитого корыта?

— Ни в коем случае. Мне ничего не грозит.

— Кроме того, что ты прожил зря? После тебя — что останется? Кто?

— Мне важно прожить... Кто! Что! — Он плюнул. — Наплевать! — Он сжал кулачки. — По крайней мере! Я! Ни одного дня! Не прожил! Зря!

— Знаешь... — обессиленно прислонившись к стене, прошептала Натали. — А ведь я не замужем.

— Да? — машинально удивился отчим, занятый своими мыслями, потом вздрогнул. — Как? Ты же говорила...

— Я называла его мужем... условно.

— Неужели ты не могла вынудить его...

— Я сама решила так. Я не люблю его, понимаешь?

— Ты дура, — почти ласково сказал отчим. — Ты психопатка. Беги и тащи его в загс.

— Я не люблю его.

— Любовь! Чушь! А ты...

— Прощай. Мне просто надо было хоть кому-нибудь об этом сказать. Именно сегодня.

Хлопнула дверь.

Щелкнул замок.

Звякнула цепочка.

Еще — щелкнул замок.

На лестничной площадке Натали выкурила новую сигарету, положила окурок на запыленную батарею, подождала, пока он сгорит; достала из сумочки зеркальце.

Так и есть: лицо было нездорово-бледным. Большие черные глаза смотрели тоскливо и тревожно.

Она вздохнула, изображение потускнело.

Взглянула на часы — все еще рано.

Натали пошла вниз по лестнице, узнавая каждую ступеньку, радуясь, что не забыла ни одной из них. Сколько она по ним бегала, ступала, легко или тяжело поднималась...

И дверь в подъезде стукнула за ее спиной по-прежнему. И так захотелось Натали побыть счастливой именно сегодня, а не завтра, не послезавтра, а сегодня, сегодня, в семь часов вечера... Ведь это просто: она любит. Это так же просто, как вот — падает снег, дует ветер, завтра будет утро...

И тут же с ощущением обязательности счастья в сердце возникла острая боль: нет у нее счастья, нету! Это нелепо, несправедливо, это какая-то ошибка!

Нет, не ошибка. Нет, все закономерно. Нет, иначе и быть не могло. А почему?

Натали старалась идти медленно, но часто забывалась и — спе-

шила. Было бесполезно приказывать себе: о чем бы она ни думала, она была уже там. В набережном сквере, с ним... И что из того, что она не могла замедлить шаги, разве от этого она была бы дальше от него?

И она побежала. И ей стало радостно: пусть все удивляются, недоуменно уступают дорогу, усмеваются, злятся, завидуют... И даже когда она упала и больно ударилась локтем, и показалось, что кость треснула и что-то внутри оборвалось, Натали было хорошо...

Молодой мужчина с бородкой помог ей встать и спросил:

— На свидание торопитесь?

— Да! — гордо ответила Натали. — На свидание! — И побежала, не стряхнув снега с пальто.

— Завидую тому, к кому спешите! — услышала она за спиной. — Поосторожней на поворотах!

«Дурак! — с неожиданной злостью подумала Натали. — Всегда по дороге обязательно встретится дурак!»

А дурак — к несчастью.

Конечно, Виктор еще не пришел, хотя стрелка больших электрических часов десять минут назад перескочила за семь. Натали впервые заметила, что стрелка на таких часах прыгает — будто вздрагивает. «Под часами надо назначать свидание тогда, — подумала Натали, — когда уверена, что придут вовремя».

Она смотрела на минутную стрелку и иногда вздрагивала вместе с ней.

«Ладно, ладно, — твердила себе Натали, — пусть, пусть...»

Она села на заснеженную скамейку, усталая, будто избитая. И разрыдалась. Сначала Натали и не замечала, что плачет, даже радовалась чему-то — легче стало; и лишь когда щеки застыли, спохватилась.

«Я сама опоздала на десять минут, — подумала она, — значит, он опаздывает пока всего на двадцать».

И показалось ей, что она здесь давным-давно, может быть, несколько дней. Или — лет.

Ни о чем больше не думала.

Летели редкие снежинки.

— Извини, — услышала она, — никак не мог раньше.

— Ничего, ничего, — ответила Натали, не повернув головы, — сама опоздала и боялась, что ты не дождался меня. И очень замерзла. Очень.

Виктор обмел скамейку перчаткой, сел и закурил торопливо, жадно.

— Я ненадолго задержу тебя, — виновато сказала Натали, — холодно да и... Я бы не позвонила тебе, но день выдался больно уж... тяжелый. А кроме тебя, у меня никого нет. Как ни странно.

— Конечно, странно, — озабоченно согласился Виктор. — Извиня, но ты, по-моему, немного...

— Легкомысленна...

— Да. И не обижайся.

— И еще я глупа. Знаю, знаю. А если учесть, что я напрашиваюсь к тебе хотя бы в друзья... — Она усмехнулась, удивившись легкости, с которой далась ей непринужденная манера разговора. — Почему же я решила, что ты?.. — Она резко повернулась к нему и уткнулась в мокрый от снега воротник, оцарапавшись подбородком о крючок.

— Не надо, — шепнул Виктор и чуть отклонился.

А Натали так и осталась сидеть — с закрытыми глазами, подавшись вперед. Ей было неловко и стыдно. Она заставила себя выпрямиться, сказала:

— Опять — прости.

— Мы же совершенно не знаем друг друга, — донесся до нее голос Виктора, — ты должна понять...

— Ты не бойся, — раздраженно перебила Натали, — я больше не буду надоедать тебе. — Она громко передохнула, словно собиралась бежать; ей сразу стало еще холоднее, даже пальто показалось широким — до того она съежилась. — Когда человек тонет, его сначала спасают, а потом расспрашивают. Сначала спасают, — повторила она. — Идем. Тебе в какую сторону?

Оказалось, не по пути.

Тем лучше.

Даже — легче.

— Нет, ты выслушай меня, — потребовал Виктор, а то получается...

— Ничего не получается. Ты ни в чем не виноват. Ты во всем прав. — Каждое слово она произносила с усилием. Раньше ей всегда было уютно и радостно стоять или идти рядом с Виктором, ощущать себя такой маленькой... Сейчас она чувствовала себя ничтожной, мелкой какой-то.

— Нет, ты должна понять меня. То, что простительно девочке, непростительно замужней женщине...

— Никакая я не замужняя женщина, — сказала Натали. — Может быть, это глупо, но я запомнила нашу с тобой первую встречу. Живу ею. Ни с кем у меня не было, как с тобой... Вот я и решила, что... Я ведь ничего не прошу. Я не буду мешать тебе, вот увидишь. — Она вытащила сигарету. — Последнюю. Бросаю.

Дым был горький, и она — сигарету в сугроб. Окурок долго тлел, а на прощание мигнул.

Виктор стоял сгорбившись, опустив голову.

Повалил снег, густой, тяжелый, мокрый.

— Боялся я этой встречи, — сказал Виктор. — Даже приходиться не хотел. Нельзя нам встречаться. Не к добру. Понимаешь?

— Нет, — призналась Натали.

— Возьми себя в руки.

— Ну, возьму. А дальше?

— Не знаю.

— А если я верю, что... что нужна тебе? Что...

— Не надо, — твердо остановил Виктор. — Нам лучше не встречаться. Всего хорошего.

— Погоди, — Натали чувствовала, как от стыда у нее запылали щеки. — Должна я тебе что-то сказать... каждый раз собираюсь и... сейчас ты уйдешь, не беспокойся... надо, чтоб ты знал... Понимаешь... тебе это трудно представить... но это неважно... Словом, я люблю тебя... Я бы даже сумела доказать тебе это, если бы ты захотел... И ничего я у тебя не прошу... Просто мне жалко, что ты живешь... так. Прощай.

Натали долго смотрела, как он уходил. На углу он даже замедлил шаги... И Натали бросилась за ним. А он скрылся за углом.

Тогда Натали пошла, спокойная, сосредоточенная...

— Что с вами, девушка?

— Ничего, ничего...

— Я потому спросила, что стоите вы на самой дороге... Машины...

— Ничего, ничего...

— А то я могу проводить, если...

— Спасибо, спасибо, не надо...

— Только уйдите с дороги...

— Да, да, обязательно...

Случайный разговор привел Натали в себя. Она до того промерзла, что всю дорогу думала лишь о том, как бы скорее дойти до дому, согреться.

— Где бродила? — спросил Игорь, помог ей раздеться и сразу сел к телевизору, через плечо объяснил: — Хоккей!

— Хоккей! — бросила Натали. — У меня сегодня такой день, а ты...

— Не сердись, Натусь, — попросил Игорь, — вот кончится игра, все спокойно обсудим. Не сердись.

«В том-то и беда, что я не сержусь, — подумала Натали. — Надо мне уходить отсюда». Она машинально провела рукой по животу, вздрогнула...

Ушла в кухню, плотно прикрыла дверь, чтобы хоть немного приглушить скороговорку комментатора.

Проще всего — попытаться устроиться в общежитие. На первых порах. А когда будет Настя или Степан — куда?

А может, здесь остаться? Зарегистрироваться и жить? Уйти с головой в работу, утром готовить мужу завтрак и так далее... Вечерами сидеть у телевизора... Отмечаться в очереди за холодильником... Ходить в гости, принимать гостей... За каждую ошибку надо расплачиваться.

— Нагу-усь! — позвал Игорь. — Семь — два в нашу пользу! — Он ворвался в кухню, обнял Натали, чмокнул в щеку. — Рассказывай, чего там с тобой стряслось.

— Я тебе все сказала по телефону. Мне не советуют рожать.

Игорь пожал плечами, ответил:

— Нельзя так нельзя. Можно так можно. Что значит — не советуют? — Он опять пожал плечами. — По-моему, это так называемая туманность, доведенная до абсурда. — Она впервые увидела его раздраженным. — Решай сама. А семья без детей... какая же это семья? У меня была последняя надежда заставить тебя образумиться. Думал, как речь пойдет о потомстве, ты...

— Выгони меня.

— Что за глупость?!

— А как быть? А если со мной что-нибудь случится? Если я умру?

— Ну знаешь... Давай без трагедий. Надо поговорить со специалистами, проконсультироваться... А ты о чем раньше думала?

— Просто я не знала, — заставила себя Натали говорить спокойно. — Не знала о такой особенности своего организма.

— Да хоть что?

— Может быть кесарево сечение.

— Ну...

Лицо у Игоря было и растерянное, и злое. Он уронил столбик пепла на стол и проговорил упавшим голосом:

— Может быть, съездить в Москву, показаться настоящим специалистам...

И ушел досматривать хоккейный матч. Натали просидела в кухне всю ночь, удивляясь охватившему ее спокойствию. И лишь к утру, видимо, от усталости, в душу проникла неуверенность... Натали разволновалась до того, что разбудила Игоря, сказала:

— Я не знаю, что мне делать.

— Что делать? Ночами спать. Это раз. Ну и... посоветоваться с врачами.

— А если мне запретят... иметь ребенка?

— Не думаю. Насколько мне известно, такие операции делают.

Все зависит от тебя.

— А если я откажусь?

— Дай мне хоть проснуться, — попросил Игорь, и на лице его промелькнуло раздражение. — Честно говоря, я еще не обдумал всего

окончательно... Я сам наведу справки... А то ты будешь до бесконечности... Организуй завтрак.

Ел он старательно, сосредоточенно.

Можно было подумать, что еда вернула ему обычное расположение духа, и, беря из рук Натали чашку кофе, Игорь заговорил оживленно:

— Только не надо паниковать, Натусь. Надо все узнать, все взвесить. Я убежден, что и из этого положения есть выход.

В консультации ей сказали:

— Времени подумать у вас было достаточно. Теперь уже назад, как говорится, не повернешь. Будем надеяться, что все обойдется благополучно.

А на улице припахивало весной. Натали вздохнула так глубоко, что закружилась голова.

Может, голова закружилась от радости. А радостно было потому, что Натали чувствовала себя сильной, готовой выдержать все.

Сегодня же она скажет Игорю, спокойно, даже ласково, если, конечно, это получится, что им надо расстаться, соберет вещи и переедет в общежитие. Пусть Виктор не любит ее, она любит — это главное и это надо беречь.

Оставаться с Игорем — значит плыть по течению, отказаться от самой себя. Уж лучше быть одной, чем с чужим, нелюбимым. Скоро она окончит институт, впереди работа, впереди жизнь. Пусть она пока не удалась, вот и не надо ждать от нее милостей, а находить их. Они — есть. Только они не даются бессильным.

Но — не хотелось идти домой. Она долго бродила по улицам, пока не замерзла, и зашла в кафе.

Ее соседом по столу оказался отчим, и сегодня она не удивилась такой случайной встрече.

— Как живешь? — спросила Натали.

— Как? Очень плохо. Видишь ли, я долго не мог приспособиться к привычкам жены, — оживленно заговорил отчим, прямо-таки виртуозно обсасывая рыбий скелетик. — Это, как ты помнишь, осложняло наши взаимоотношения. А потом я поступил по-мужски. Высказал ей свои аспекты. Правда, кое в чем она настояла на своем. Например, чтобы я завтракал и обедал в кафе. А в остальном — все отлично. А ты?

— Я? — она взглянула на свой живот. — Я жду сына или дочь.

— А с мужем? По-прежнему?

— Я уйду от него. Завтра.

— И как вы разделите обстановку? Как с квартирой? Учти, это громоздкое, необычайно сложное мероприятие. Этот дележ. Я пере-

жил подобное несколько раз... знаешь, иногда мерзко. У тебя стремятся все урвать, а ты...

— Я буду жить в общегитии. А обстановка вся его.

Отчим пожал плечами скорее презрительно, чем недоуменно; вытер уголки рта бумажной салфеткой, аккуратно сложил ее и сунул в карман; сказал:

— Но кто возьмет тебя с ребенком?

Тогда Натали пожала плечами.

— Ты плохо кончишь, — радостно заключил отчим, — превратишься в какую-нибудь травинку. А ведь могла бы жить! Почему бы тебе не поучиться жить у меня? — деловито спросил он. — Вот я приближаюсь к периоду — ты можешь стать его свидетельницей, — когда буду подводить итоги. Я горд и спокоен. Мне ничего не грозит. Вот как надо жить. За всю жизнь я не выбросил на ветер ни копейки.

— Хочешь кофе? — спросила Натали. — Я угощаю.

— Спасибо. Я с удовольствием. Изредка можно себе позволить... Я имею в виду неполадки в сердце.

— Слушай, — сказала Натали, — а зачем тебе деньги? Одет ты плохо, питаешься кое-как. Объясни мне. Ты не торопишься?.. Я тоже. Выпьем еще кофе. Я слушаю.

— Вопрос одновременно и примитивный и сложный, — напыщенно ответил отчим. — Примитивный — потому что все ясно, как дважды два четыре. Сложный — тебе все равно не понять. Сначала надо учиться... — Он в поисках подходящих слов постучал кулачками друг о друга. — Надо научиться из копеек делать рубли. Понимаешь, не потратить сто копеек... И вдруг видишь — да это же рубль! А из чего он возник? Из ничего. Не выпил газированной воды несколько раз — не умер же. Прошелся пешком. Полезно. Не роскошествовал за обедом. Ничего страшного. А в результате — рубль!.. А если ты научишься из рублей делать рубли... — Он закатил в блаженной истоме глаза. — Сам процесс этого удовольствия... Мне не о чем рассуждать, мне не в чем сомневаться, мне нечего выяснять. Мне все ясно. Я ни от кого не завишу. Разве это не счастье?

— Нет, я ничего не поняла, — со вздохом призналась Натали. — Муж мой... это я еще разумею. Он копит, экономит, но и тратит...

— У меня все есть. Мне не на что тратиться... Прости меня, я разволновался. Можно еще кофе?

— Конечно. И ты даже в молодости был... таким?

— О, к сожалению, нет. Тенор местного значения, кой-какой успех, немного поклонниц. Я жестоко жалею о нескольких годах.

— Но ведь тебе было хорошо?

— Мне было... прекрасно. — Отчим даже застыдил. — Но потом пришлось жалеть!.. От тех лет не осталось ни копейки.

— А кому останутся твои деньги?

Отчим слизнул с края чашки последнюю капельку кофе, помолчал и ответил:

— Вот единственный вопрос, который меня беспокоит. Некому оставлять. Смешно — не жене, ни в коем случае. Тем более, тебе... Но ведь я не собираюсь умирать. Пусть они будут, — твердо произнес он. — Это главное. И кстати, — сказал он, неожиданно и быстро вставая, — если ты скатишься куда-нибудь вниз, не вздумай обращаться ко мне. Ни за материальной поддержкой, ни за моральной.

Домой Натали пришла усталой, но вытащила два чемодана, с которыми от отчима переехала к бабушке, стала складывать одежду.

Игорь спросил, усмехнувшись:

— Опять? На какой час заказывать такси?

— На четыре, — ответила Натали. — Я хочу сначала выпиться.

— А если я закрою тебя и не оставлю ключ? Не закажу такси?

— Ключ у меня есть. Такси закажу сама... Почему ты даже сейчас... несерьезен?

— Натусь!.. Ну как я могу относиться к этому серьезно, когда все это... несерьезно в высшей степени? Отбросим пока в сторону важные вопросы. Возьмем мелочь. Место в общежитии тебе дали? Нет. А ты знаешь, что тебе его не дадут? И я же буду эти чемоданы заносить сюда вот обратно. Я понимаю, с тобой что-то происходит. Я сквозь пальцы смотрю на все твои чудачества, но ведь рано или поздно... Сколько можно злоупотреблять моим терпением?

— Вот я и решила больше не делать этого.

Игорь включил телевизор, проверил настройку по сетке, приглушил звук и спросил:

— Была в консультации?

— Да. Сказали: назад поворачивать поздно.

— И последний вопрос: какое ты имеешь право отнимать у ребенка отца?

— Я не хочу, чтобы у моего ребенка был такой отец, как ты.

— Ты жестока, — спокойно отметил Игорь, пропуская кольца дыма сигареты одно в другое. — Мне кажется, что именно ради ребенка, ради его нормальной судьбы мы обязаны кое-чем пожертвовать. Ты пока думаешь только о себе. То, что ты нисколько не считаешься со мной, еще ладно... Но ты не имеешь права одна распоряжаться судьбой нашего ребенка. В конце концов, он не виноват в твоей легкомысленности. И учти: если ты уйдешь, то не вздумай возвращаться.

— Ты все пытаешься объяснить моим характером. Да, он не ахти какой... хотя бы удобный. Но что прикажешь мне делать, если я уверена, что обязана исправить свою ошибку? Пусть дорогой це-

ной, пусть с опозданием?.. Я ведь не говорю, что я — сама добродетель, а ты... Я, можно сказать, ни в чем тебя не обвиняю. Сама я во всем виновата. А ты предлагаешь мне пронести ошибку через всю жизнь. — Натали говорила спокойно, и Игорь отозвался миролюбиво:

— Я лишь о том, чтобы не торопиться. Если бы разговор шел обо мне, я бы сказал просто: мне с тобой хорошо. Но если рвать — чего я очень не хочу, — то совсем. Как будто нас с тобой друг для друга нет. И не надо писем, определений, на кого похож ребенок, чей у него носик и тому подобное. Деньги переводить буду до положенного срока... А всего разумнее — давай ужинать...

...На другой день она переехала в общежитие.

...Натали стояла у окна в коридоре. Она не выпалась, побаливало в затылке, а на душе было смутно. И тревожно. Ведь через несколько дней ее выпишут и...

И выйдет она на улицу, и пойдет на берег Камы. Там она сядет на скамейку...

В сердце кольнуло. А вдруг она — не выдержит? Вдруг не хватит сил победить тупое, липкое желание жить равнодушно, привычно, как вниз по течению, а мимо — настоящая жизнь? Позовет ее Игорь, и она вернется и будет вечерами сидеть у телевизора, будет ходить в гости и на работу и не вспоминать о том, как когда-то вела себя... Если бы сейчас у нее была Настя, все было бы проще. Уехали бы куда-нибудь в небольшой городок и жили... Вдвоем. А теперь она одна... Совсем одна...

Она прикрыла рукой вырез в халате на груди, улыбнулась, еще не понимая, как там, внизу, за оградой оказался Виктор.

Он махал ей рукой и что-то говорил.

Натали боялась пошевелиться, словно самым легким движением могла вспугнуть видение. Ей показалось, что она задремала, и вот — привиделось... Но как облегченно вздохнулось... В одно мгновение она освободилась от всего, что угнетало ее.

— Сейчас, сейчас, — прошептала Натали, словно Виктор мог услышать ее, и бросилась бежать по коридору, громко щелкая подошвами тапочек, каким-то чудом не упала на лестнице, рванула дверь...

— Нянечка!

— Да что с тобой?!

— Скорее дайте халат... понимаете, ненадолго... Он пришел!.. Я быстро, никто и не увидит... вы должны понять... я же без него не могу... Вы такая добрая... — бормотала Натали, запутавшись в рукавах халата.

— Я на тебя главврачу докладную подам, — растерянно отвечала нянечка, помогая ей завязывать тесемки. — Где это видано? Да меня из-за тебя в два счета с работы выставят. Никуда я тебя не пушу, психопатка ты ненормальная... — Нянечка, всхлипывая, появлялась ей косынку со своей головы. — Не пушу — и все...

Натали чмокнула ее в щеку и убежала.

Дежурившая при входе медсестра даже головы не подняла от книги.

Прохладный утренний воздух ознобил Натали. Она дышала сквозь стиснутые зубы, словно боясь задохнуться.

Виктор медленно шел к ней. Натали прыгнула с крыльца, сбросила тапочки, чтобы легче было бежать, и остановилась, почувствовав скользкий холод гравия.

— Я уезжаю, — сказал Виктор, опустив голову.

— Ну и что? — прошептала Натали, ища его взгляда. — Я буду ждать... я умею...

— Мы уезжаем, — еще тише сказал Виктор, отвернувшись. — Так лучше. Ты должна понять. Ты обязана... — И закурил.

Натали молча протянула руку, взяла папиросу и — вздрогнув — сломала ее. Выбросила.

— Понимаешь... мне от семьи... не уйти... не могу... не имею права... у меня такая работа...

— А когда?

— Сегодня. Я специально решил хотя бы пройти мимо... и вижу — ты у окна... Потом поймешь, что я был прав.

— Знобит, знобит, — бормотала Натали, пытаясь дыханием согреть руки. — Сейчас... сейчас... я что-то должна сказать тебе... самое главное... и забыла... забыла...

— Наталья! — услышала она испуганный нянечкин голос.

— Тебя зовут, — сказал Виктор. — Желаю тебе...

— Так вот... подожди... подожди... — торопливо бормотала Натали. — Неужели ты не мог прийти... не так? Я не успею сказать... вспомнить... Ведь ты абсолютно неправ... Ты не понял меня... не захотел понять...

— Наталья, Наталья, бежи сюда! Обход начинается!

— Ты не понял меня...

— Это ты меня не понимаешь...

— Не уезжай, а!.. Я не буду беспокоить тебя... ведь мне не за-
быть тебя, как ты не понимаешь!

— Оглохла ты, что ли? — нянечка дернула ее за рукав. — Врачи с обходом идут! Попадет ведь мне через тебя! — нянечка тянула ее за собой.

— Уйдите, нянечка! Уйдите!.. Оставьте нас на минуту, — Натали от волнения охрипла, и перепуганная нянечка попятилась.

— Прощай, — сказал Виктор, — я напишу тебе. Ты можешь простить... босая...

— Нет, нет... так я и не вспомнила...

— Иди, тебя ждут...

— А-а... — Натали прикрыла ладонью рот, чтобы не вскрикнуть. — Вспомнила!.. Ты врешь, ты врешь самому себе... ты всю жизнь будешь врать... даже себе... вернее, особенно себе... а со мной тебе не надо было бы...

Виктор уходил торопливо, опустив голову. Жалко уходил. И Натали, опустив голову, побрела обратно.

Нянечка ждала ее у крыльца с тапочками в руках, сказала просящим тоном:

— Бежи, попадет мне...

Когда Натали бежала вверх по лестнице, ей казалось, что от каждого шага сердце может разорваться.

...Весь день она настороженно прислушивалась к самой себе. Испытывала она какое-то необычное ощущение, которое не соответствовало тому, что она переживала. Она ждала тоски, растерянности, хотя бы уныния, но... Конечно, она несправедлива к Виктору. Она же абсолютно не знает его жизни, его работы... Поразило лишь то, что он жалок. И еще она знала, что переживания будут потом, а сейчас надо разобраться, что же с ней происходит. И только к вечеру она поняла, что просто выздоровела. Значит, завтра ее выпишут. Сначала она посидит в набережном сквере под большими часами, будет долго смотреть, как вздрагивает минутная стрелка. А потом Натали отправится в общежитие. И не будет она ругать свою судьбу, а будет жить.

Нянечка сказала, что внизу ее ждут, и предупредила:

— Жулик, по-моему, какой-то.

А это был отчим, облачившийся в серый парусиновый костюм, с подвернутыми и уже засаленными рукавами.

— Что тебе надо? — спросила Натали.

— Что мне надо! — возмущенно отозвался он. — Что за тон? Мне надо, чтобы ко мне относились по-человечески!

— Кто?

— Ты!

— Я?!

— Да, ты. У меня, у твоего как-никак родственника некоторым образом, несчастье. Крупное. Ты обязана мне помочь, ведь мы несколько лет жили в одной семье...

— А ты меня выгнал.

— В силу обстоятельств.

— А что сейчас случилось?

— О! — простонал отчим. — Случился детектив. Кошмар. Глу-

пость. Чушь. Но я — жертва. Моя жена, эта мерзавка, авантюристка, вампир...

— Тише, тише, — насмешливо попросила Натали. — Она что, бросила тебя?

— Самым подлым образом.

— А при чем тут я?

— Не могу же я жить один. Я стар. И болен. У меня никого нет. У меня даже постирать некому. Вот в какое я попал положение.

— Но у тебя есть деньги.

— У! Меня! — в ухо ей шепотом выкрикнул он. — Нет! Денег! Нет! Она вынудила меня дать ей доверенность на все сберкнижки и... улизнула в неизвестном направлении.

— А картина? — не сдержав смеха, спросила Натали. — Те забытые Адам и Ева?

— Висят! — отчим махнул ручкой. — Я найду покупателя. Продать еще есть что... Я консультировался у юристов. Ничего не получается. Закон, как ни странно, на стороне этой негодяйки. Я прошу тебя! — Он цепко схватил Натали за руку. — Ты не имеешь морального права бросить меня! Это бездушно, бесчеловечно! Я могу, учти, обратиться в газету, в профком твоего института, в комсомол, я потребую...

— Самое странное, — перебила Натали, — я тебя жалею. Мне следует тебя ненавидеть, а я тебя жалею. Почему?

Отчим заморгал, громко проглотил слюну, выговорил:

— Я заслужил... всю жизнь я работал, как лошадь. Я имею в виду не только филармонию, а всю мою деятельность. Экономил каждую копейку даже старой валюты. И — крах. Я думал... — Отчим говорил напыщенно, почти декламировал. — Я думал: не выживу. Несколько дней я лежал, и по моим щекам текли слезы. Я не принимал пищи. Мне хотелось умереть. Смерть уже стояла у моего изголовья. Я слышал, как останавливается мое сердце... Но представляешь, что получилось бы, если бы я умер?! Эта мерзавка стала бы обладательницей моей квартиры и всей обстановки!.. Я встал, пошел в кафе, поел и понял, что я переживу ее, обязан пережить.

— Короче говоря, ты хочешь, чтобы я стала у тебя домработницей на общественных началах?

— Зачем такая ирония? — возмутился и обиделся отчим. — Назови это просто заботой о человеке.

— Но ведь ты никогда ни о ком не заботился.

— Я человек прошлого. Если хочешь, можешь считать меня даже пережитком. А ты человек нового общества. Вас воспитывают по принципу человек человеку, насколько я помню, не волк.

— Всю жизнь, — тоскливо сказала Натали, — ты был бездушен, бессердечен...

— Не надо читать мне нотаций, — отчим жалобно шмыгнул носом. — Откуда мне было знать, что может случиться такое безобразие? Кстати, стоило мне немножко проявить души, как я согласился выдать доверенности на все сберкнижки этой авантюристке... И потом... сейчас у меня нет сил бороться с жестокой судьбой, а ты сильная. Ты можешь все выдержать.

— Да, — задумчиво согласилась Натали, — теперь я могу выдержать все.

— Вот и помоги мне, — он ласково прикоснулся к руке.

Натали брезгливо отдернула руку, сказала:

— Буду давать тебе деньги, чтобы ты мог нанять...

— Нет, нет, нет! — испуганно прошептал отчим. — Не надо все сводить только к деньгам. Мне нужен живой человек, чтобы он приходил ко мне, беседовал со мной, утешал... — Он заплакал.

— Перестань, — попросила Натали мягко, — поздно плакать.

— Обещай... обещай мне...

— Что-нибудь придумаем... Иди.

И вот Натали сидела в набережном сквере под большими часами. Смотрела, как вздрагивает, отсчитывая время, минутная стрелка.

Грустно и светло было на душе.

С Камы прилетел ветер. Натали вздохнула так глубоко, что закружилась голова. Захотелось сказать самой себе: ты еще ничего, ты почти молодец... Она чувствовала, что пережила свои беды, как затяжную болезнь; и — выздоравливает, пусть медленно, трудно.

Вспомнила, как родила девочку, и от радости чуть не расплакалась...

И сейчас — не расплакалась.

1963—1973 гг.

ДУША НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ

Н

а меня слово «женщина» це действует, — задумчиво проговорил Егор, то ли прислушиваясь к вою поземки за окошком, то ли ожидая, что Варвара удивленно вскинет густые, почти лохматые брови. — Без выражения оно, это слово, вроде бы даже и не русское. Вот есть другое слово про то же самое — «баба». Оно хорошее. Его по-разному сказать можно. И выругаться, и приласкать. Так вот, не баба ты, Варвара. Слышь?

— Второй уж час тебя слушаю, — с насмешливой покорностью отозвалась она и, шумно зевнув, повернулась к нему спиной.

— А и ладно, — спокойно сказал Егор, — тебя со всех сторон разглядывать приятно. Хоть так, хоть этак.

Сидели и смотрели в окошко, за которым ничего не было видно.

— Кто ж я по-твоему? — не выдержала Варвара. — Кто, если не баба?

— Черт тебя знает, по правде говоря. Я вот питаю к тебе... ну чувства там всякие. По душе ты мне. Впритык. И все ж таки не могу я к тебе, как бабе, относиться. Впритык-то впритык, душа в душу, а поскрипывают... наши отношения.

— От тебя все зависит, — словно мимоходом посоветовала Варвара.

— Если бы от меня... Ничего от меня как раз и не зависит.

— От меня, что ли? — и даже по ее широкой спине Егор понял, что Варвара усмехнулась.

— Смешно, конечно, — согласился он, — но... это-то ерунда. А вот муторно мне.

Она резко повернулась к нему и сказала, отчетливо выговаривая каждое слово, как глухому:

— Домой иди. К жене. К детям. Нечего тебе здесь делать.

А Егор, помолчав, продолжал свое:

— Вроде бы ты нормальная. Все в тебе женское, то есть вроде бы и бабье. А... и еще в тебе что-то есть. Люблю я, к примеру, с тобой толковать. И не как с бабами, а...

— Иди, Егор, домой. Ждут ведь тебя. Анна волнуется, сердится, нервничает. — И опять даже по спине ее было заметно, что Варвара насмешничает, хотя и не очень весело.

— Волнуется, сердится, нервничает, — не то уныло, не то поддерживая насмешку, согласился Егор. — А ты знаешь, как я на ней женился? Как многие, верно, женятся. Морально. И мучаюсь я из-за того, что кто-то эту самую мораль выдумал. То есть подошло время, скажем прямо, мужчиной стать. Культурно выражаясь, сил во мне было лишка. Кровь кипятком кипела. Мне бы погулять на полной скорости, успокоиться бы... Да разве можно? Да разве положено? Я ведь с детства моральный человек. Мне, брат ты мой, только законный брак подавай по всем правилам. Ну, а раз такое, я уж на весь ихний женский пол с этой точки зрения смотрю. Шелестит мимо платьице, а я думаю: не моя ли будущая законная супруга топает? Тут Анна встретила. А могла бы и другая. То есть тогда-то мне казалось, — уже серьезно говорил Егор, — что я чувство любви испытываю. А на самом деле — потребность плюс мораль минус умная голова, получился законный брак... Одиннадцать годов, как под пилей деревья, повалились. Только дерево-то с шумом падает, а мои-то семейные годы мягко так шлепались. Плашмя...

В черных, навывкате глазах Варвары был тоскливый и напряженный вопрос: «Мне-то зачем это рассказываешь?»

А Егор уже не ей рассказывал, а будто самому себе и смотрел уже не на нее, а в окошко, за которым ничего не было видно.

— Должен я домой идти. Это мораль. Законная мораль. А то, что душа моя, как тракторная гусеница о камень лязгает, это никого не интересует. Ни жену, ни тебя, ни мораль, никого... А ведь горе у меня. Важное горе. Пить если бы я начал или хулиганил, или спутался с какой-нибудь, тут бы меня ублажать стали, перевоспитывать то есть. Чтoб я опять моральным стал... А когда душа не на месте, это никого...

— Чего ж тебе от меня надо? — резко повернувшись к нему, уже сердито спросила Варвара.

— Если бы знал... Тоска меня обглаживает. Поедом ест. Хоть бы Анна меня понимала! Нет. Другого она человек полета. Я ведь не жалуясь, что она плохая. Для меня она не подходит. И я для нее не тот.

— А для кого ты — тот? И которая для тебя — та?

— Человека мне надо бы встретить...

Варвара при всей своей полноте легко вскочила. Глаза у нее печальные, а сказала так:

— Хитришь ты сам с собой. И со мной хитришь. И с Анной хитришь. И ничем я тебе помочь не могу. В таком случае. Баба я всего-навсего. Понятно?

Егор удивленно вскинул рыжие брови, проговорил глухо:

— Ты всерьез? Не ожидал я от тебя такой... точки зрения.

— Я и сама не ожидала. Вырвалось. Так меня тоже понять надо. И у меня, между прочим, душа есть. Да еще в теле.

— Да еще в каком, — мрачно добавил Егор. — Это, представь себе, я понимаю. Только в уме не держал, что ты... — он недоуменно пожал плечами.

— Судить легко, — с обидой и чуть виновато сказала Варвара. — Я бы, может, и рада другой стать, да поздно.

— Другим стать никогда не поздно. Даже в лучшую сторону повернуть можно.

Мимо окошка кто-то проскрипел снегом, хлопнула дверь. Егор через плечо спросил:

— Ты зачем?

Анна неслышно шагнула в комнату, постояла, заговорила, словно успокаивая:

— Ребятишек я спать уложила. Все по дому сделала. Устала. Сажу на кухне. Вдруг вспомнила: замужняя ведь я. Честное слово. Муж ведь у меня законный имеется. Чего это я одна сижу? Непонятно. Пусть те одни сидят, у которых своих мужей нету, — и только тут посмотрела на Варвару.

Варвара спокойно, лениво даже, без усилий выдержала ее взгляд, ответила:

— Я его не держу.

— Выгони, — посоветовала Анна, — пристыди.

— Пробовала.

— А ты еще раз.

— Мне-то что? Пусть сидит.

— Конечно, — вроде бы согласилась Анна, — сидеть-то пусть сидит. Только бы...

— Могу я, — громко перебил Егор, — имею я право хоть вечером свободным быть?

— А я?

— А кто тебя держит?

— Ребятишки. Хозяйство. Совесть, — деловито перечислила Анна.

Егор накинул на плечи полушубок, за шапку взялся, но вернулся в комнату, сквозь зубы заговорил:

— Всё у тебя просто. Я да муж, хозяйство да ребятишки. А у

меня еще другие вопросы есть. Космос, к примеру. Меня вот интересует, какое я место в космосе занимаю? Для чего?

Анна кивнула согласно: дескать, это я понимаю, и спросила:

— А к ней зачем ходишь? Если у нее совсем совести маловато...

— Идите вы оба, — Варвара поморщилась, — надоели.

— А ты... — Егор повернулся к ней, и его красноватое лицо сразу побагровело. — Ты со своей точки зрения побыстрее спрыгивай. И ушел.

Анна радостно улыбнулась Варваре и — следом за ним.

Он шагал в накинутах на плечи полушубке, встречные понимающе ухмылялись: загулял мужик в будний день, не мог субботы дожидаться. Анна отвечала улыбкой: не беспокойтесь, хорошо гуляем, вместе, как видите.

Тяжело ей было за ним поспевать: навздевала на себя сколько налезло — знала, куда шла, нельзя было лицом в грязь.

У самого дома уже Егор остановился, словно раздумывая, войти или не войти, повернулся в сторону поселка, зашептал громко:

— Я ребятишек наших не меньше, чем ты, люблю. Только, видно, другая у меня любовь. Ты чего хочешь? Чтоб они такими, как мы с тобой, выросли? Нет, брат ты мой! — крикнул он. — Не пойдет! Не выйдет! Хочу, чтоб они лучше нас были! Мы в глуши живем, до железной дороги от нас сто шестьдесят километров автобусом! Да еще лошадьми шестьдесят! В нынешнее время до луны вон добраться легче, чем до нас!

— На меня-то чего кричать? — поинтересовалась Анна.

— Тебе хорошо потому что. Твои мечты все — вот они! Дом у тебя собственный. Огород. Корова, будь она проклята. Свинья, чтоб ей пусто было, прорве ненасытной. Радиоприемник. Одета, обута!

— Дом у нас богатый, — весело согласилась Анна.

— А я бы его спалил! Что мне в нем!

— Ребятишки с молоком завсегда. Вот что.

— А если я сейчас головой в прорубь?!

— Ну и дурак... — Анна растеряннo и жалко улыбнулась, чтобы не брызнули слезы, прикрыла лицо рукой, будто от ветра.

— Му-уторно мне, — протяжно пожаловался Егор, закинув голову. — Мутит меня, понимаешь?

— Нет, — призналась Анна.

— Ну поверь тогда, раз не понимаешь. Поверить ты можешь? Можешь ты поверить?

Анна отрицательно покачала головой и заплакала тихо, без голоса, только слезами.

— Почему не можешь поверить?

— Да не верю потому что, и... все.

— Ладно тогда. Я скоро приду.

«Хоть бы в чайную!» — подумала Анна.

А он просто так шел, никуда. В чайную бы — это хорошо. Да не поможет. И пробовать даже перестал давненько, хоть литрами зелье в себя вливай, голова все о том же соображает, а на душе еще муторнее... С Варварой бы — как с бабой, да тоже не поможет. А почему?

Очнулся — стоит он у ее дома.

Коленом открыл дверь, прошел сени, другую дверь на себя рванул, шагнул через порог и сразу услышал:

— Пожалей меня. Не мучь. Уходи.

Егор мотнул головой — шапка слетела, вперед ступил, пошевелил плечами — полушубок на пол.

— Уходи, — Варвара потянулась к нему, но Егор как бы отмахнулся:

— Не гони. Сам уйду, когда надо будет. И сядь. И сиди. И отвернись. Чтoб я глаз твоих не видел. Больно много в них... всякого.

— Тогда... зачем пришел?

— А некуда мне больше... Люблю я тебя, наверно. Очень, к тому же... Да разве в этом дело?

— Человек ведь я, — Варвара вся к нему тянулась, но он стоял так недвижимо, что она только пальцами рук шевелила в воздухе, да и то боязно. — Сил моих нету...

— Жару-то в тебе сколько, — сказал Егор. — Пахнешь вся огнем-то своим... Да нельзя. Еще муторней станет. Потом-то.

Варвара покачнувшись, тяжело отошла к окошку, спросила тоже тяжело:

— Чего ж ты от меня хочешь?

— Не знаю. Раньше вроде бы знал. Можно, конечно, и твоей точкой зрения воспользоваться. Но все равно душа на свое место не вернется. Другое ей что-то требуется.

— Тогда забудь про эту дверь! — шепотом крикнула Варвара. — Уходи! К жене своей!

— Жены моей не задевай, — строго посоветовал Егор. — Ну как ты понять не способна...

Зарыдала Варвара в голос. Всей своей красотой упала на кровать, забилась.

И не слышала, как подошел Егор, долго стоял над ней, ну ровно над могилой, смотрел на голубенькие жилки на белых ногах, долго смотрел — голова заболела.

— Мне, может, тебя сильнее охота, чем тебе меня, — сухим голосом выговорил он, — да... тем пустее потом-то будет. Знаю. Тут мне все известно.

— Выворотень ты, выворотень! — сквозь рыдания крикнула Варвара. — Сам упал и мне жизнь придавил!

Изо всех сил хлопнул Егор дверь, чтобы не унести в ушах плач.

Шагал он по улице, держа в руках шапку и полушубок.

В волосы набился снег, а в распахнутом вороте и на лице таял.

Оделся Егор на ходу, еще больше замерз — там, внутри себя.

Может, и выворотень он. Только — что его корни выворотило? Какая сила его опрокинула?

Мимо своего дома прошел Егор, не заметил. Лишь где-то, уже за поселком, в тьме кромешной, оступившись по колено в снег, опаматовался.

Обратно почти бежал, будто вспомнил о чем-то, торопился рассказать Анне, перешагнул порог, заговорил:

— Уедем отсюда. Дом и живность продадим. В южных местах заживем. Ребятишек виноградом питать будем. Яблоками там разными.

Анна спросила:

— Разлюбил меня, что ли?

Медленно загасла лампочка под потолком — это выключили движок.

— Как же так? — снова спросила Анна, хотя Егор и на тот вопрос еще не ответил. — Все хорошо было и вдруг... — Она машинально разжигала керосиновую лампу. — Моложе она меня, конечно. Это я понимаю. Соком налилась, как помидор в валенке. В фигурах вся. Но ведь мы с тобой сколь годов...

— Выслушай меня по-доброму, — попросил Егор, все еще не садясь. — Только оба уха раскрой. Закрутилась ты в этом... домашнем быту. А не это счастьем называется. Не дом, свинья, корова, муж, ребятишки... Земля-то планета! Она в мировом пространстве вертится! Круглая она! А для тебя она плоская. И на месте стоит, не движется. На ней дом твой собственный. Твоя свинья пятачком ее роет. А вот доживем мы с тобой, предположим, до коммунизма. И дома у всех будут бесплатные, и коровы автоматические, свиньи — тоже автоматы. Что тогда делать-то будешь? Об чем думать? Чем заниматься-то будешь, спрашиваю?

— Сказки твои слушать, — сощури и без того узкие глаза, ответила Анна и резко оттянула бусы на груди, будто душили они. — А этой я тебя не отдам. Уж и не знаю, что сделаю, а...

— Да не о том я, не о том!

— А я о том. Ты с одного бока жизнь разглядываешь... — И не сдержалась Анна, зарыдала. — Корова ему не нравится! Земля у него в мировом пространстве вертится! Свинья ему поперек горла стала! Да при таких, как ты, таким, как я, одна только и надежда: ждать, когда коровы автоматическими будут! А пока мы сами за место автоматов! Белье-то после бани чистое просишь? А постирал

кто? Есть после работы тебе требуется? А кто сготовил? Вот когда ты в чистое переоденешься, у теплой печки сядешь, вот тогда тебя в космос и тянет!

Егор разделся, сел. Думал, вырвелась жена, выкричалась. А она снова начала:

— Нас, баб, уважать надо. И жалеть. Мы на сколь лет раньше вашего снашиваемся? Ты сначала дома коммунизм построй, а потом — в мировом пространстве. Тебе за твой труд хоть доска Почета, а мне за мой — что? Доведут нашего брата, а потом хвост трубой. В космос! И старые мы, и характер у нас не тот. А я тебя спрашиваю, — сухо, без слез уже выкрикнула Анна, — ты меня молодую взял, получше была, чем эта, нонешняя. Где ж все растерялось? Ребятишек я кому родила? Морщины вот эти кто мне сделал? Кому все отдала? У меня в глазах темнится, до того я несчастная! А ты гуляешь себе, вопросы выдумываешь... — и даже голос у нее потерялся, замолчала.

— Не враг я тебе, Анна, — сказал Егор и опустил голову: до того в ней тяжело было. — Беда со мной. У нас с тобой беда.

— Выворотень ты, — хрипло сказала Анна. — Выворотень, и никто больше.

Равнодушно тикали ходики. И давно в доме других часов несколько штук, а эти выбрасывать жалко — все одиннадцать лет семейной жизни оттикали они.

— И ты права, — сказал Егор, вставая, — и я прав. Вот и надо разобраться... Я с ребятишками лягу.

— Я знаю, — сказала Анна.

...Не помнит уж Егор, когда разучился легко засыпать. Раньше-то голова в лежачем положении только о всяких пустяках думала, а сейчас только прикоснется к подушке, и — хоть вскакивай тут же да бегай — до того острые в нее мысли залезают. Или тяжелые — так придавят, что охота голову руками потрясти...

Каждую ночь вспоминает Егор свою жизнь и каждый раз удивляется. И каждый раз не понимает, что такое с ним стряслось? Чего он потерял?

А когда-то характер у него веселый был. И в лес-то работать из-за этого характера пошел: ценят ведь здесь веселых людей, уважают. И еще нравилось Егору не гладко жить, а с закавыкой какой-нибудь, чтоб трудности были и все такое. А уж где закавык больше, как не в лесу?

Поначалу, когда они с Анной мужем и женой называться стали, все с места на место, а потом ребятишки — один за другим, четверо набралось, — стоп. Да и устали кочевать-то. Приехали вот в этот леспромхоз. Лет пять в бараке жили. Потом построил Егор себе дом. Хозяйством обзавелся. Трактористом знаменитым стал. И в га-

зетах о нем печатали. Один раз много напечатали. «Секрет успеха» называлось. И портрет был.

И подумал Егор, что слишком уж он на других людей похож, исправить надо эту неувязку. И в столовой, к примеру, он теперь сидел, как в президиуме, а в президиуме — так вовсе не шевелился. Даже голос свой собственный ему разонравился, пришлось над ним поработать.

Ну, выпивал. А чего ему не выпить? Плясал ведь, не дрался. Пел! Забудет, что он выдающийся, гитару вниз струнами перевернет и такое отчубучит, что жена сама еще в стакан ему подольет.

И умный был. За словом в карман не лез и зря словами не бросался. Уж скажет, так скажет.

Раз в месяц книжку брал в библиотеке на современные темы, брал и технические, и политические, но эти для вида. Сравнивал себя с теми, про кого книжки пишут. Получалось, что он не хуже всех, а иных и лучше.

Об чем было беспокоиться?

Дважды в область на курсы ездил, а пленумы, совещания, активности и — не сосчитать.

Ну и для полноты характеристики: кой-какие грешки случались, но так — мимоходом, больше из интереса, чем по потребности.

А главное — душа на своем месте была. Ничего ее особенно не волновало. Жизнь простой выглядела, как мотор трактора с закрытыми глазами мог ее наладить, если в ней что-нибудь поскрипывать начинало.

Да и привык ко всему. Кому глушь-глухомань, а ему нравилось. Тем более телевизор обещают. Чего еще надо? Если в Москве знаменит, то не каждый, конечно, тебя в лицо знает, а в поселке — каждый пацан даже.

Рыбы в озерах — ведром черпай, если лень червяка на удочку насаживать. В лесу птицы, зверья — только знай, с которого конца ружье стреляет.

Да и вообще — кому что. Кто в академиках, а кто и в лесу должен работать. Тем и другим за труд — почет.

Главное, чтоб душа на своем месте...

А тут — сдвинулась... далеко куда-то. Кто ее вспугнул? Что? Когда?

Одно ясно: надолго.

Если не навсегда...

Вот незадача...

...Егор в темноте прошел на кухню, взял в кармане полушубка пачку, зубами вытащил папироску, на столе нащупал коробок, послушал тиканье ходиков, чиркнул спичкой, прикурил и — увидел Анну.

Она по-прежнему сидела у стола, неподвижная, будто спала с открытыми глазами. Только бусы сняла и перебирала их.

— Чего ты? — испуганно, вздрогнув от жалости, спросил Егор, не ощутив, что спичка сгорела до пальцев, погасла.

— Сижу вот, — тихо из темноты ответила Анна, — сижу, об себе думаю.

— Ложись давай.

— Молчи-ка лучше. Раз сказать нечего.

— Так ведь...

— Не впервой ведь мне. Привычная я к этому.

— Не уйду я от тебя, — еле выговорил Егор, — и думать об этом брось. Уедем отсюда. В новом-то месте, может, все заново.

— Вот сидела я тут, — не слушая, видимо, его, сказала Анна, — и знаешь, об чем переживала? Об тебе. Мне бы об себе, а я... Заездит она тебя. И любить не будет. И обидно мне за тебя. Расстроилась я вся. — Она замолчала. Постукивала бусами.

У Егора замерзли ноги, он грел их одну другой; еще сходил за папироской, но когда прикуривал, на жену не взглянул — боялся, что опять жалость за сердце схватит.

А вместо жалости — стыд кольнул.

Две-три затяжки, и во рту горько стало; раздавил папироску, пальцы обжег.

— Может, не тянуть? — будто саму себя спросила Анна. — Может, выдержу? Вдруг и не так уж страшно? Выживают ведь другие.

— Ерунду говоришь.

— Нет, не ерунду. Раз не кричишь.

— Все к тому свела, что меня будто к другой потянуло, будто бы меня больше ничего не интересует. Неужели все к этому свела? Только к этому?

— Ага. — Анна встала. — Думай давай, Егор, да решай... Я мешать не буду. Бессильная я против. Помогать умею, а больше ничего не умею... Я с ребяташками лягу. — И неслышно ушла в комнату, оттуда шепнула: — Долго-то не сиди.

Рванулся Егор позвать жену, но не позвал. Встал он, сунул холодные ноги в валенки, вернулся к столу, покатал бусы.

Сел.

...Лет этак несколько назад не сидел бы вот он таким методом, в подштаниках, ночью на кухне... И не казалась бы ему Варвара особенной какой-то, миловался бы с ней — долго ли дома соврать, что на сверхурочной работе был? А сейчас — врать разучился... Даже себе врать — не получается. Лето бы если, сел бы на мотоцикл, газанул бы... проветрился. А раньше еще проще — к Таньке, завмагазином, разбудил бы, зеленую «московскую» или белую «столичную» в карман и под огурчик. Ничего ему теперь не надо!

И Варвара его не спасет, хоть ноги у нее белые до рези в глазах.

И Анна не спасет...

Сердце, черт с ним, пусть скручивается, а вот душа не на своем месте, и из жизни столовский шницель получается — это хуже.

Егор пошел, прислонился спиной к теплой печке. Долго не мог согреться. У Варвары в домике всегда жарко. Сама она сюда из южных мест перебралась, а во двор за дровами выходит в мороз, платка на голову не накинет.

А если все это оттого, что голова у Егора пустая? Завелась в ней пара вопросов, и перекатываются они, как в бочке? И ни ответа на них, ни привета.

И опять же, если уж совсем она пустая, голова-то Егорова, тогда чего она напрягается? Гудела бы на здоровье, а то сама себе вопросы задает, мучается.

Вот почему один академиком работает, а другой — в лесу? Не в том дело, у кого зарплата больше, а опять же — в голове. Головы-то ведь разные. Почему моя других хуже?

Проезжал тут один. Работник называется, но научный. Егор еще схохотнул: научный работник — придумают тоже!

Дрова она колола, наука-то, чтобы согреться, — умора!

Но дрова колоть научить можно, а чего научный работник в науке умеет, Егору и не узнать.

Чего ж хохотал?

А приучили.

Передовым называли, значит, он — впереди всех. Приятно. Не зря живешь, значит.

А в душу влезло беспокойство. Нехорошее такое беспокойство, с мутнинкой. Чем же ты лучше других? Написали ведь про тебя в газете, что никакого секрета в твоей работе нет. Весь секрет в том, что ты работу любишь. Да и как иначе-то? Это все равно, что есть, пить и все такое прочее, без чего не проживешь просто, померь.

Мало стало для души такой работы. Голова-то во время ее не особенно занята, прямо скажем. Получалось: работа идет сама по себе, а голова сама по себе об другом думает.

— Ты бы лег, Егор, — услышал он тихий голос Анны, — на смену уж скоро.

— Не спится, — виновато отозвался он, — я отгул выпрошу, у меня их штуки две накопилось.

Спине было жарко, а плечи, ближе к груди, озябли, Егор и повернулся, будто обнял печь.

Серега Пустовалов, тоже с доски Почета, в чайной как-то подсел к Егору и давай орать: мы-де с тобой да мы-де с тобой, уж

такие-то мы, да никто нам и в подметки не годится. Куражился парень — а с чего? У Егора же хмель из головы вон: будто на самого себя со стороны внимательно посмотрел.

То, что Серега работал, как наотмашь бил, ладно. От него на работе пар валил, когда он деревья валил. Красиво, помимо всего прочего, у него получалось. Ну и что?

Выворотень.. стояло, значит, огромное дерево, краса и сила, надо всеми выросло. А под ним бормотал, предположим, ручеек. Бормотал, бормотал сколько-то там лет... Влажная земля стала, рыхлая, еле-еле держатся в ней корни. А ничего — стоит дерево, краса и сила, надо всеми высится. Да вдруг как корнями в воздух. Упало... Живое еще будет лежать, зеленое, а уже мертвое. А ведь ни червоточинки в нем не было. Гнить оно начинает, когда уж повалится...

Нагрелась грудь, аж сердцу тяжело стало... И Варвару-то он заприметил скорей всего для того, чтобы с ней от головы своей спрятаться. Голове там делать нечего, другие детали требуются.

Тосковать он о ней будет много. Она — тоже ручеечек, тоже свалить может. А свалишься — не встанешь.

«Не сердись на меня, — попросил ее Егор, — не сердись. Знаю: не любят такие, как ты, ох как не любят, когда их не любят!»

Сам ты во всем виноват. Позарился на пустяк, а душа большой разбег взяла... Она летать собиралась, а ты ее прыгать заставляешь — с кочки на кочку.

Мимо прошла Анна, запозвякивала рукомойником.

— Спала хоть немного? — спросил Егор.

Волоски в лампочке под потолком покраснели, и она зажглась.

Егор подошел к ходикам и одним движением подтянул гирю до предела.

В голове у него было тяжело и ясно.

— Попроси отгул-то, — сказала Анна.

— Никакого отгула я просить не буду, — ответил Егор, — не работал еще.

1964 г.

СИМКА — СИМА — СЕРАФИМА

К

азалось, на всей земле сейчас была знойная, душная, как здесь, тишина, будто и звуки, даже стрекотание кузнечиков, высохли и осыпались в густые травы.

Но они, густые травы, полные сил, не клонились под плотной жарой, стояли прямо. Высохло и поникло лишь то, что потеряло близкую связь с землей.

Разморенная, усталая — сегодня второпях, через силу, боясь непогоды, докосили самый дальний луг — Серафима не стала ждать машины, одна зашагала в деревню.

Да и надо было ей сегодня подумать кое о чем, и чтоб никто не мешал думать-то...

Кофта на спине скоробилась от пота, высохшего под лучами палящего солнца. Босые ноги со вздутыми венами больно отзывались на каждое прикосновение к тропинке. Юбка облепила колени, и шаги давались неловко, а от этого тело казалось тяжелым и неповоротливым, не бабьим будто.

Хорошо бы — скинуть одежды да по траве бегом... Серафима до того явственно представляла себя летящей по лугу — огромными шагами — каждая клеточка тела охлаждается воздухом, — что придержала нелегкие груди руками, чтобы не мешали.

Она сорвала платок, и толстая коса упала на спину. Сразу быстрее зашагалось, словно груз поудобнее взяла.

Серафима тихонько запела. Слов у песни не было, да это и не песня была: просто из души что-то вырывалось, не ожидая, когда в уме возникнут подходящие слова...

Усталость понемногу если и не пропадала, то становилась до того привычной, что уже не замечалась, и женщина шла, умиротворенная, сощуриив, почти закрыв глаза, потом бросилась с дороги

далеко в траву, припала к земле щекой. Дурманыщим, вперемешку жарким и прохладным ароматом дышали травы, живым-живые в этой суши. С каждым глотком воздуха в тело проникала и копилась там блаженная истома. И совсем недавнее желание остаться одной, чтобы подумать о своей жизни, Серафима забыла, опрокинулась лицом к солнцу.

Смутная радость бытия, неясное, неуверенное ощущение счастья и тут же острая, толчками, тоска по неведомому звали Серафиму подняться на ноги и брести куда глаза глядят. А она лежала, не двигаясь, прислушиваясь к самой себе. Радостно было оттого, что живая она вся и большая, что вот солнце прямо в лицо... тоскливо же — не будем говорить отчего... сил в ней, предположим, больно уж много, девать их некуда, ворошатся они в душе, бередают ее, смущают, зовут куда-то, и — нету покоя. Серафима села, переждала, пока горячая тяжесть из головы стечет в плечи, встала, потянулась, машинально начала закручивать косу, в которой запутались стебельки трав и лепестки цветов, уложила ее вокруг головы, завязала платок по самые глаза, шагнула в сторону леса и знала уже, уловила тайный зов души... Так с ней часто бывало: безо всякого вдруг повода почувствует Серафима себя как будто переполненной до краев, шевельнуться нельзя — расплещется все, но и на месте оставаться нельзя — тянет, прямо тащит ее куда-то, и она медленно, осторожно уходит — уносит себя, бродит по лесу или полю, или в лугах, словно все дороги запомнила... Бродит она, плутает, прислушиваясь, что возьмет в ней верх — тоска или радость; нет, ощущение счастья не терялось, хотя временами и растаивало, оставляя в душе пустоту, но, возвращаясь, тревожило, соседствуя с тоской...

Домой Серафима приходила виноватой, смотрела устало и рассеянно, словно вспоминая, где же это и зачем же бродила.

Семен которое-то время разглядывал ее, усмехаясь не по очень-то добруму, говорил:

— Нагулялась, значит. — Лицо у него оставалось безразличным, а голос заметно твердел. — Тогда я так считаю. Воды в баню наскать надо. Да и бочка в огороде чего-то пустует. — И еще, будто учетчик, нудно перечислял несделанные работы.

Серафима брала ведра, коромысло и шла к реке.

По бабьим понятиям, Семен был хорошим мужем: выпивал мало и редко, без удовольствия, оттого и дружков у него, можно считать, не было, за рублем на виду у всех не бегал, но умел перед праздником съездить в город с бочкой соленых огурцов или капусты, — глядишь, обратно везет жене капроны-нейлоны и разные там разности.

— Балует бабу, — с неодобрением или завистью говаривали ему. — К чему? Не дикторша по телевизору ведь она у тебя.

— Ага, — соглашался Семен не то насмешливо, не то чуть зло

или даже серьезно. — Это чтоб другой кто не баловал. И по телевизору, может, придется об успехах нашей сельхозартели выступить.

Недеревенский он был человек, хотя здесь родился и все, конечно, сельские работы знал; а вернулся из армии, и сразу обнаружилось: дескать, ненадолго я сюда завернул, поживу тут у вас — окажу вам такую милость — и снова в город. Но не уехал: старая мать очень хворая была. Вот пять лет скоро, как похоронили ее, и Семен через два дня на третий бросал:

— В город-то когда?.. Серафима!

Она каждый раз отвечала вопросом, ненужность которого сама понимала:

— А чего нам там?

А Семен охотно переспрашивал, будто только и ждал такого интереса:

— Чего нам там? — и начинал объяснять в который уж раз одними и теми же словами: — Житье, я так считаю, в городе легкое. Я в завод, ты — в торговые сети, предположим. Отробили свое и гуляем себе по асфальтам с газонами. На автомобиль можно скопить или на мотоцикл с коляской.

— Непривычные мы, — вяло возражала Серафима, уже мучаясь ненужностью произносимых ею слов. — Вот как городские на нашу жизнь переделаться не способны, так и мы...

— Поедем, поедем, поедем, — на разные лады повторял Семен. — Ничего меня здесь не держит.

Разговоры эти он начинал как бы мимоходом и вроде бы не настаивал, но каждый раз Серафиму охватывала долгая тревога.

Тревога же и заставляла ее перебирать свою жизнь, искать в ней каких-нибудь ошибок, что ли, несуразностей, оплошностей. Жизнь как жизнь. В кино такую и показывать неинтересно.... Раным-рано вставала Серафима и до ночи спины не разгибала. Работу она любила всякую. Вот даже воду носить с-под горы. Объяснить она не умела, что это с ней происходит, но бралась за работу, предчувствуя что-то неожиданное. Такого, конечно, не случалось, но тяжелые ведра с водой оказывались живыми, и Серафима всем до острой тяжести напрягшимся телом успокаивала их, чтоб не раскачивались. Коромысло сливалось с широкими ее плечами, и будто оно само оплетало плечи и руки, а не руки его. И не просто ноги упирались в землю, а она — земля-то! — стелилась под них, вроде бы тоже работала. Все живое растет, все живое работает. Рост — это и есть работа... И каждая косточка в теле, каждый даже самый маленький мускул жил.

И часто думалось Серафиме: всю бы жизнь уставать вот так, как сейчас, — то ли от работы, то ли от радости, что работа пока легко дается.

Первую такую радость она испытала давно, когда еще Симкой была.

Зима пришла снежная, хорошая. По всем приметам впереди был урожай, но как протянуть до зеленой травки хотя бы... Положение-то с кормами — аховое. Ни разу, правда, не случилось, чтоб их не привезли на фермы к сроку, но в том-то и беда, что случиться это могло со дня на день, и привозили кормов-то в обрез... А тут и это грозило сорваться, тогда и объясняй скотине, что есть надо в меру, и только солому...

Симка сидела в правлении за печкой, грелась и сладко млела от тепла и полудремоты, — только что за восемь километров притащи-лась из школы, где после уроков еще краковьяк к смотру разучи-вали, — временами почти засыпала, но вздрагивала и прислушива-лась, как скандалят с ее отцом, председателем, колхозники.

Потом ввалилась целая компания, промерзшие, злые, уставшие, лучше не тронь. А у Степана Ивановича именно к этому времени и кончилось терпение.

Слово за слово — разматерились на чем свет стоит.

На фермах ни килограмма кормов, все подскребли. Сено возили по глубокому снегу, по сверкающей целине.

— Жилы-то рвутся! — кричали бригадиры. — И у нас, и у скотины!

— Жалеть надо! И нас! И скотину!

Выкричались, замолчали. Дымили сигарками, рассуждали уже степенно, обстоятельно: не впервой выкручиваться-то.

Вокруг в полях была закопана картошка, да не поставили вешек в свое время, прикинули вроде бы с научной точностью: к весне, не раньше картошка понадобится, когда снег осядет.

И вот сейчас чесали затылки. Богатство, спасение лежало под снегом, а где, в каких местах? Какой дурак согласится в чистом поле ковыряться?

— А коровушки-то есть хотят, — сказал кто-то ехидно, — и свиньи, будь они неладны, мордами-то в корыто тыкаются.

Степан Иванович долго ждал, надеясь, что кто-нибудь вспомнит о картошке. Но все, словно сговорившись, толковали о чем угодно, только не о ней.

— Картоха-то есть, — сказал Степан Иванович.

Вдруг один из бригадиров в крике ответил за всех:

— Никто не пойдет! Не найдешь дураков!

— Дураков искать не стану! — тоже криком ответил председа-тель. — Чего их искать? Они завсегда на виду! И базланят еще! А умных вот поискать надо. Без вас найду.

Ругались не потому, что не понимали или не хотели, а просто по крестьянской привычке не могли не поерепениться до поры до

времени, чтоб потом вроде бы милость руководству оказать: дескать, ладно уж, согласимся уж, выручим уж... И Степан Иванович знал о такой привычке, сам таков был, а тут послал всех подальше, обозвал всяко — и остался один.

— Чего это ты? — удивилась Симка. — Покричали бы и...

Отец, соглашаясь, кивнул и объяснил:

— Нерва у меня слабая стала. Особенно на животноводство. Да и неволить их тоже нельзя. Я виноват, мне и отвечать. А к утру кормов... почти негу. Припрятано у меня в одном месте, да этого маловато. Ну пошли. Утро вечера сознательнее.

Сестры Симкины собирались на вечеринку.

— Давеча я вам про картоху говорил, — словно между прочим да о каком-то пустяке сказал Степан Иванович. — К утру найти надо. Такова задача.

Дочери до того громко заголосили, что мать — Манефа Алексеевна прикрикнула:

— Полоротые!

— Кто пойдет? — спокойно спросил отец.

То ли Симка принаряженных сестер пожалела, то ли угрюмого, всегда усталого отца, то ли обеспокоенно смотревшую на всех мать, а скорее всего поняв, что отец в случае чего пойдет сам, но негромко, почти неожиданно для себя ответила:

— Ладно, тогда я.

Одевалась она долго, уже со страхом думала: на что согласилась? Темень, мороз. Вместе с тем в сердце теплилось что-то радостное, даже игривое, неуловимое, — чего бы это?

Выйдя за деревню, Симка встала на широкие короткие лыжи. За ней волочился пучок тоненьких жердочек, привязанных веревкой к поясу.

Мела поземка

Под лунным светом снег был с голубым отливом. Симка ни разу не видела живого моря, но сейчас ей подумалось, что оно, верно, похоже на бескрайнее это поле. Она даже физически ощутила его глубину; казалось, что она идет по-над бездной, как по застывшему морю.

Ветер продувал Симку насквозь, добирался до самых закрытых мест, и только ступням в шерстяных носках да под животом было жарко. Она подумала, что надо бы повернуть обратно, тогда лицо оттает, а потом пойти бы в ту большую избу на вечеринку, в уголке бы с кем-нибудь из парней посидеть; ухаживать за ней, конечно, никто не будет, без нее девок хватает, а все одно голова там кружится...

Бессмысленной и обидной показалась затея искать в море крупинки песка.

«Дура я, дура! — чуть не крикнула Симка. — Всю-то жизнь я дура!»

Ей захотелось замерзнуть, околеть, как пронеслось в голове, чтоб пожалели потом, кого в поле ночью послали...

Ветер, дернувшись несколько раз, вдруг утих. Симка вытащила из пучка жердочку и воткнула ее в снег; прошла несколько шагов, снова воткнула жердочку. Пусто...

Хрустел под лыжами наст.

В голове, в висках стучало.

Почему вот опять на трудное дело пошла она, Симка, а не старшая или средняя сестра? Им погулять охота, да и надо. Их кавалеры ждут. А у нее кавалера нету. И не будет. Никогда... Поплакать бы сейчас в самый раз, но снова ветер задул в лицо. Отца ей жалко — он бы пошел сам. Он такой. Тогда бы Симке было стыдно...

Тут она вспомнила, что голодные коровы сначала мычат удивленно, а потом — жалобно, обиженно, нудно, а потом вроде бы даже тревожно, а под конец — нехорошо как-то... и глаза нехорошие у них, неживые будто.

Симка остановилась и прислушалась. Неведомая, пока еще едва ощутимая сила шевельнулась в ней и повернула ее чуть влево. Пройдя несколько шагов, Симка, разгоряченная надеждой, боясь поверить радостному предчувствию, не сразу взялась за жердочку. А жердочка стала тяжелая, а руки — слабые.

Еще помедлив, Симка проткнула жердочкой наст, прижавшись к ней щекой, и... упала в снег; перевернулась на спину и заплакала. Лежать было приятно, но она всунула ноги в ремешки лыж, кое-как поднялась.

Сзади подкрался страх, Симка бросилась от него дальше в поле. Страх не отставал, словно выбирал момент для удара. И ей подумалось, что пока она бежит, страх ее не нагонит, но если она остановится, страх сожмет ей сердце и проморозит ее всю насквозь. Симка остановилась и едва не закричала, потому что страх сразу же охватил ее и острым холодком начал проникать в сердце. Она оглянулась, прошептала испуганно:

— Срамота... трусиха...

Она сунула шубенки за пояс, дунула на ладони и резко воткнула жердочку в снег. Жердочка уперлась во что-то твердое.

...Домой Симка вернулась, когда родители давно уже легли, а сестер дома все еще не было.

— Ну? — спросил отец, и она уже знала, что после ее ответа он встанет, сядет у печки, покурит. — Сколько?

— Шесть.

Отец прошел до печи, закурил, сказал:

— И то ладно.

Симка хлебала щи прямо из чугунка, давясь, и вся дрожала от радости, будто вернулась с вечеринки, а там за ней здорово ухаживали, ну прямо как за ее сестрами, и такого ей наговорили, что до сих пор все тело горит...

Она забралась на полати и вскоре уже спала, громко и весело посапывая...

Серафима шла по лесу истомленная и зноем, и усталостью, и тоской; отдыхала на ходу, ненадолго опираясь руками о стволы берез. Лесная прохлада никак не могла пробиться сквозь ее разгоряченную кожу, казалось, из-за того, что и тоска тоже жаркая, вроде бы везде она, даже снаружи...

Нет, нет, чего-то Серафима в жизни потеряла, внедогляд обронила, сначала и не заметила, а сейчас поди разберись, чего недостает.

Может, с девичеством рано рассталась? Не успела толком подождать, погадать, посомневаться? Или просто испугалась: этого проворонишь, а другого вдруг не будет? Ведь до сих пор мало мужиков в сельской местности. Кажется, вроде бы и должно их хватать, а нет. Город их, как болото, засасывает. Вон Зойка-то Полыгалова красавица какая была, на всю деревню слышно было, как она над ухажерами насмехалась, выбирала да выбирала, который наиподходящий, а опомнилась, когда в ее сторону мало кто и смотреть желал. Вот и пошла в чайную официанткой, к водочке приохотилась да еще кой к чему. И — нету девки...

Семен на Симу воздействовал самым быстрым образом, не ухаживал почти нисколько, два раза сводил в кино, один раз на танцы и заявил без подготовки:

— Жениться нам надо, я так считаю. Такую мы с тобой счастливую семейную жизнь организуем, что ахнут все. Ну?

— Не запряг еще нукать-то, — испуганно отозвалась Сима и, повременя, убрала его знающие руки.

— Запрягу, — весело и необидно пообещал Семен, и руки его опять принялись за свое приятное дело. — Ну?

Еле вырвалась Сима, рассердиться хотела, ждала, что рассердится, а — обрадовалась, но убежала, долго еще чувствуя, как горели места на теле, к которым он прикасался.

И чего бы еще надо?.. А некоторое время Сима пыталась перебороть себя, хохотала, как подружки научили, ему в лицо, посмеивалась: дескать, зря стараешься, парень. Он же просто все знал наперед, и она видела, что нисколько и не сомневался: приятность даже испытывал, что не сразу полакомится... Чего же смущало ее? Что останавливало? Бог ростом и всем телом не обидел, а малень-

кая — рядом с Семеном. Бойтся она его, но не прямым страхом, обыкновенным, а тем, что потом, через сколько-то лет придет. Это, верно, потому, что как увидела его после армии и не успела еще ничего испытать к нему, а уже поняла — судьба он ее.

Тут она замегила, что подружки-то зря времени не теряют — приспособливаются к Семену, действуют. Сестры, обе уже замужние, про все дела забыли: младшую консультировали, опытом делились.

У нее же смута в душе. Их с Семеном женихом и невестой считают. Девки и бабы завидуют Симе, парни и мужики — Семену. Да и понятно: пара на загляденье.

— Долго еще? — словно мимоходом, но деловито интересовался он. — Вишь, какой я терпеливый? Думаешь, еще долго так-то могу? Надо нам закругляться с этим вопросом. Я так считаю.

От судьбы не спрячешься...

Было в верстах семи от деревни озеро Лесное, его еще и Девичьим прозвали. С давних времен то забывалась, то снова начинала ходить о нем сказка: если подглядит за девкой при купании парень, а купались в озере только голышом, нечего тогда ей о счастье беспокоиться: само оно ее с этим парнем отыщет. Парни, конечно, бегали на озеро, прятались в кустах, изъеденные комарами и паутами, но разве угадаешь, когда девки купаться придут? Вот и не было такого случая, чтобы хоть кому-то повезло. Однако купание в Лесном, к тому же связанное с явным риском быть осмеянной, отдавало чем-то греховным, заманчивым, острым и — тянуло.

Пришла Сима на ферму, сказала:

— Кто со мной на Лесное? Может, последний раз девкой обмакнушь?

По тропинке в лесу шли медленно. Впереди — безрадостная Сима.

— Счастливые, — вдруг выдохнула она. — Жалко мне с вами расставаться, поверить не можете!

В ответ раздался хохот, принужденный, правда, и голоса:

— Оставайся! Никто не гонит! Куда торопиться! Просто так, для гигиены скупнемся давай!

И снова невесело посмеялись, а у Симы и на невеселый смех сил не хватило.

Застыдились девки, когда впереди блеснула гладь озера. И хотя знали они, что на несколько километров вокруг не найдешь сейчас ни одного человека, раздеваться было страшновато. Они скинули одежды, замерли от непривычного ощущения своей наготы, — не баня ведь здесь, а природа...

— Стойте, стойте... — шептала Сима, — не торопитесь... авось чье-то счастье из кустов зенки пялит.

И — разом все, с визгом, подавившись дыханием, бросились в озеро. Не скоро вода охладила разгоряченные тела.

Дальше всех заплывла Сима — до другого берега, еще вдоль него не спеша проплыла, и силы стали уходить из нее: зря старалась, не сбылась сказка в самом начале... ну и не надо!.. Перевернулась Сима на спину, отдыхала, полужакрыв глаза, вздыхала глубоко и увидела в кустах Семена; стоит наблюдает, покуривает, улыбается.

Вскрикнуть даже не смогла Сима, визга даже не получилось, нырнула она, захлебнулась от стыда и обиды, представив, как мелькнули над водой ее бока, спина и все прочее...

Подружки ждали ее уже одетые, а она боялась выйти из озера, сидела у берега на корточках, отдышаться ей требовалось.

— Водяной поблазнил, — прошептала она, пытаясь рассмеяться, а перед глазами Семен: улыбается, сигареткой попыхивает, в нее смотрит, в Симу...

Вечером она боялась выйти к нему. Он же сидел за воротами, посвистывал.

— Спровадь давай его или с ним посвистывай, — сказала Манефа Алексеевна и вытолкала дочь из избы.

А Сима глаз поднять не могла, стояла перед Семеном, ровно тогда, на берегу, горячая вся была, а знобило, да и стыдно еще...

— Ну? — спросил он и, подождав совсем немного, ответил: — Согласна, я так считаю. Поломаться тебе самую малость осталось.

От него хорошо пахло табаком и им самим. И — пропади все пропадом... На ласки его она еще не отвечала, но уже не противилась.

Ночью, растеряв сон, Сима сидела на крыльце, иззябла вся, думала почему-то о том, что глаза у Семена маленькие и глубоко в лицо вделаны, откуда-то издалека смотрят, не поймешь сразу, чего они выражают, чего тебе сулят...

И еще ей думалось, что, может, и не Семена она остерегается, а бабьей доли. А доля эта, куда ни повернись, со всех сторон одинаковая.

Выросла Сима в среде, где на всю жизнь смотрят простодушно, откровенно; судила о своих потребностях и обязанностях по-женски, а не по-девичьи, и знала, конечно, и в подробностях представляла, какая трудная начнется после свадьбы жизнь, навсегда трудная; в деревне, как говорится, за редькой и то нагибаться надо, а дети только после десятого сами растут и заботы не требуют...

Немного не угадала Сима свою замужнюю жизнь. По хозяйству дружно работали в четыре руки, да и не уставала она особенно, обязанности еще не вошли в нудную привычку, а отдавали новизной. Пять годов пролетели незаметно, троих дочерей родила Серафима. Рожала она легко, тело ее мало изменилось, пополнила только да и то в местах, к этому предназначенных.

Бабушка с печи накаркала:

— Недоброй у ты муж-от.

— С чего это ты? — будто бы насторожилась Серафима, хотя давно ждала подобного упрека от кого-нибудь.

— Равнодушной какой-та.

— Да говори, бабушка, не тяни.

— Говори, говори... Да-к мужик, а на мужика не похожай, — опять загадкой ответила старуха.

— Мухи, видать, тебя обкусили, вот и злишься, — огрызнулась Серафима. — Мужик как мужик. Еще получше других.

— Не-е-е... Че это? Не пьет. Не гулят. Не побил ты ни разу. Одно дело — робит...

— Ну и хорошо.

— Хорошо-то, хорошо... Да не наш он. Не деревенской.

Права была бабушка. В общем.

А вчера Семен сказал незнакомым голосом:

— Осенью в город переберемся. Без разговоров. Дом я подыскал. Место хорошее. Трамвай и автобус ходят. Вода рядом. Школа недалеко. Баня. Кино. Огород — как раз нам хватит, без надсады.

И Серафима поняла, что на этот раз он не предлагает, а приказывает, и ответила неуверенно, вся сжавшись:

— Не поеду я... и не думай.

Он проговорил спокойно, даже равнодушно:

— Поедем. Здесь нам делать нечего, я так считаю. Хватит.

Сима видела: старался, изо всех сил старался привыкнуть.

— Не получилось. С души воротит. Понятно? — в голосе его зазвякало что-то похожее на злобу. — Нам не тысячу лет жить отпущено. А пожить охота...

Из леса Серафима вышла неожиданно — подняла голову и глаза от солнца закрыла, прислонилась к холодному стволу березы, обняла его.

По плечам проскользнул холодок. Неохота домой. Чего она там Семену скажет? Уж побил бы, что ли, может, и поняла бы чего-нибудь. Не побьет... Серафима усмехнулась, но усмешка замерла на половине. Чужой он стал какой-то, и случилось это незаметно. За спокойствием его и уверенностью разглядела она равнодушие и самоуверенность; и подарки, и даже ласки — как она долго не замечала? — отдавали чем-то обидным: дескать, обрати внимание, сколько я для тебя стараюсь, цени это. Во всем его поведении присутствовало что-то привычно деловитое, будто за все он собирался деньги получать... И вот муть какая: чем больше примечала Сера-

фима в муже чужого, неприятного, тем сильнее тянулась к нему, воспринимая его поведение, как беду...

Сказать, что муж не любил ее, она не могла.

А она его?

Помнится, до ночи в правлении телевизор смотрели, чего-то там про иностранную любовь показывали, не очень и понятное, но жалобное — не оторвешься.

Серафима первой заметила, что мужья — те и выпить успели, и про любовь зарубежную посмотрели, и посмеяться тут же время нашли, а жены так просто урвелись все, взьелись на мужиков своих в том смысле, что не видели от них любви-то такой вот, какая у этого гражданина в телевизоре была, и браги потребовали.

Мужики даже протрезвели малость, давай жен успокаивать.

— Какая така любовь тут может быть в сельском-то хозяйстве? — миролюбиво спросил Степан Иванович, привыкший за многие годы председательства говорить первым. — Я вот не успел толком побегать молодым, а сразу — пахать, сеять, убирать. Отвоевал и опять — пахать, сеять, убирать. Некогда, товарищи бабы, некогда заниматься нам с вами всякими там этими... ну... сами понимаете, сознательные.

Манефа Алексеевна, крупная, громкоголосая, в пятьдесят с лишним лет не утратившая охоты поплясать, повыкрикивать с повизгиванием частушки, под гармошку и перестук каблуков, словно не замечавшая в работах и заботах своего возраста, сказала:

— Не все же ночи пахать, сеять, убирать.

Хотели все посмеяться, да не получилось. Тогда Степан Иванович строго и важно, как доклад на отчетном собрании, начал:

— Наша жизнь трудна, но почетная, товарищи. Она...

— Не на правлении ведь, — вдруг перебил Семен. — Ты вспомни, как другие живут...

— Это про кого?

— Все одно людей в город тянет. Тех, которые поумнее.

— И ты бежи! — чуть ли не рывкнул Степан Иванович. — Смаывайся! Глаза у тебя на тракт косят!

— Уедем, уедем, не беспокойся, — угрожающе пообещал Семен. И ушел.

Серафима не пошевелилась.

Через которое-то время Манефа Алексеевна сказала:

— Иди давай. Позлила мужика, и хватит.

— И не злила я, — тоскливо отозвалась Серафима. — А чего вот мне делать прикажете, если он в город давно собрался? И дом там присмотрел, а потом, говорит, и квартира будет... со всеми удобствами.

Загудели тут односельчане, кто за Семена, кто против, а Сте-

пан Иванович разорался. Дескать, а кто велел такого в мужья выбирать? Уж лучше бы в девках оставаться да хоть в разгул, чем...

Манефа Алексеевна выждала, пока у него в горле пересохло, и заговорила, когда он взялся за стакан:

— Ты бы хоть единова не орал, а прикинул, что к чему. Потолковал бы с ним. Дело-то ведь серьезное.

Когда Серафима пришла домой, муж не храпел как обычно, а мурлыкал почти, радостно так спал, будто жена под боком. И до того ей не захотелось даже прикасаться к нему, что она, раздевшись, долго сидела на табуретке, пока не замерзли ноги; не успела в темноте до кровати дойти, как озябла вся. Тело-то у нее большое, холоду в себя много взяло, пришлось ей на печь забираться, отогреться. Потом Серафима тихонько перелезла через Семена, спиной прижалась к стене, а он привычно искал правой рукой жену, мурлыкал почти, а не храпел, как мужику после выпивки положено.

Серафима — не зареветь бы! — вдоль стены отползла, колени поджала и — заплакала. И стыдно ей было невероятно, надо же до такого довести, чтоб не хотела своего-то... Да не дал муж поплакать вдоволь, к обязанностям склонил, черт...

Утром он грубо сказал:

— Разговаривать со стариками об этом больше не будем. Я так считаю. Чего гусей дразнить? Просто уедем. Документы вот только бы оформить.

— Да не поеду я! — вдруг вырвалось у Серафимы. — Да ни за что не поеду! Отца с матерью не брошу! И хватит тебе! И кончай эти разговоры! Не поеду!

Семен не ответил. Не счел нужным.

...Вот и жалась сейчас Серафима к березе, больно жалась к холодному стволу, будто надеясь, что прикосновения эти отвлекут ее; о чем бы угодно думать, только бы не о том, что словно каленой занозой засело в затылке... Зачем со мной так? Живут же люди обыкновенно, и я так хочу, а не получается. Любую, верно, из деревни в город помани из молодых, конечно, и уговаривать не придется, поревет немного — для родителей, подмигнет подружкам и... А я не могу, не могу я... Или от телевизора все это? Пока его не было, жить проще было. А в нем столько интересного показывают, что иной раз страшновато делается: жизнь-то, оказывается, какая большая и разная!.. И чего только на земле-то не происходит! А как домой после телевизора придешь, думать надо, вспоминать. И про себя, и про мужа, и про детей, и про всю жизнь... Но ничего не успеешь придумать, спать надо — вставать-то чуть свет да и за работу. Права у нас с мужем, конечно, одинаковые, но обязанностей у меня больше... Вот задумал сейчас мне жизнь поломать — и ломает, не беспокойтесь! И ничего мне тут не придумать... Опять же

правильно говорят, что жизнь куда лучше стала. Кой-кто в деревню возвратился. Хор свой завели в новом клубе. Лекторы ездят. Кино каждую неделю. Специалисты с образованием появились. И все одно — город где-то там маячит, утягивает к себе...

Лет десять, что ли, назад, приезжала к ним тетка, городская матерна сестра... Нет, не десять, а поболее лет назад...

В день приезда Манефа Алексеевна повела сестру в баню, шепнула на всю избу:

— Девоч моих посмотришь.

Она предложила это с такой же гордостью, с какой потом приглашала (но сестра не пошла) смотреть живность, что и покорило городскую родственницу и о чем она и заявила вслух.

— А чего? — невозмутимо отозвалась сестра. — И то живое, и это. Хозяйство. — И сама смеялась своей шутке.

Трое дочерей ее — рослых, налитых молодостью, здоровьем, избытком женственных сил — с деревенской откровенностью подшучивали друг над другом, хлестались вениками, хохотали, пронзительно визжали, вскрикивали — как под ножом, охали, ахали, кричали. Когда же они устроили на полке возню, мать разогнала дочерей крепкими шлепками, приговаривая весело:

— Замуж вас, дур, надо, — замуж!

— Хотя сейчас! — крикнула старшая, схватила мать в охапку и опрокинула на полку. Манефа Алексеевна сама разыгралась и не успокоилась, пока сестра не сказала:

— Пора домой. Устала я. Да и не угореть бы.

Девушки сидели в предбаннике красные, разомлевшие, примолкшие, исподтишка разглядывая тонюсенькую тетку, которая рядом с ними походила на девочку.

— Чего вытаращились? — весело спросила мать, которая тоже не торопилась одеваться. — Брысь отсюда!

Симка осталась помогать матери.

— Ведро кваса сейчас выдуют, — с гордостью сказала Манефа Алексеевна. — Едят как лошади. Соков набирают. Симка, не слушай! Не девки, а прорвы. Э-э-эх! — она похлопала себя по широким крутым бокам. — Больно уж худа ты, Глаша. Болееешь чем?

— Нервы в основном.

— Бездетная ты, оттого и нервы или как там... У вас кто неспособный-то? Чего отвернулась? Обиделась?

— Неудобно об этом... да и не к чему... теперь.

Вечерами их навещали многочисленные гости, приходили поглазеть на городскую. Телевизора тогда не было, автобусы до города и до станции не ходили и, слушая тетку, Симка дивилась: город казался местом, где все создано только для того, чтобы доставить человеку удовольствие или развлечение.

Отец уходил из дому еще в темноте, возвращался ночью. Иногда он приносил бутылку водки, и они распивали ее вдвоем с женой.

— Зачем ты это делаешь? — спросила Аглая Алексеевна.

— А чтоб ему меньше досталось, — простодушно объяснила сестра. — Ему пить-то не очень... можно. А мне все одно, что воду, что водку. И не пьянею, и здоровая. Девки-то в меня. Вон какие богатырки.

— Почему же ты не запретишь ему совсем выпивать?

— Мужик ведь он. Да и работа у него — сама видишь. Тот хлебушек, который ты в магазине берешь, знаешь, если не забыла, как нам достается. Мы со Степаном с весны, веришь ли, до зимы почти — спинами друг к другу спим.

Симка видела, как морщилась тетка Аглая, все ее здесь раздражало, тяготило, «всякое место у нее разболелось тут», как выразилась мать, и выдержала тетка до неприличия недолго.

На станцию ее отвозила Симка.

— Приезжай к нам в гости, — несколько раз за дорогу повторила Аглая Алексеевна. — В театр сходишь. Картинная галерея у нас очень хорошая. Словом, поймешь, почему мне у вас не... очень понравилось. Странно, выросла я в деревне, а в душе от нее ничего не осталось...

Добрела, оказалось, Серафима до Лесного озера. Вон куда ее тянуло. Села она на берегу, в тени, опрокинувшись на спину, задремала вдруг...

Болела голова, когда Серафима открыла глаза. Лежала она уже на солнцепеке. Но вставать не хотелось — сладко поспала, без снов. В затылке ныло, а думалось хорошо, без усилий. Никуда она не поедет. И Семен никуда не поедет. Что он, детей бросит?! Да кто ему позволит?

Тихо здесь. Лес вокруг озера высокий, ветров сюда не допускает, и водная гладь, что темное зеркало. Если смотреть на нее, прищурив глаза, то и не разберешь, где живой лес, а где его отражение... Позвать надо было сюда Семена, повспоминать, авось расшевелит душу ему, оклемается она от натуги бежать в город... А вдруг у него, как у тетки Аглаи, ничего в душе не осталось деревенского? Она, Серафима, вот без этого озера жить не может, у нее из-за этого озера — семья, дети, муж. А он-то о ней как думает? Или только себя в виду имеет?

И если бы она сейчас крикнула: «Не-е-е-ет!» — эхо бы трижды повторило, с каждым разом все глуше... И вся-то любовь его, мужа-то, будто эхо: что-то сначала в ней вроде бы звонкое было, а потом все глуше, глуше...

Безо всего этого, чем она живет, Семен преспокойно прожить может. Вот что! И взял-то он Серафиму за себя только потому, что рядом тогда никого пригоже не оказалось. Не уехала бы до его демобилизации Верка Антонова, ее взял бы, она бы ему детей нарожала, ее сейчас бы в город тянул... Да при чем тут город! Случись так, что жизнь в деревне легче, предположим, чем в городе станет, и Семен из города в деревню сбежит. Нету корней у него нигде. Баню деревенскую и то не уважает. В город поедет — две сены белья ему подавай, там любит мыться. А была Серафима как-то в городской-то мойке, тосковала над тазом: и воздух там гниловатый, и пар не пар, и на баб глядеть — какое удовольствие? Да и срамно как-то перед чужими-то... Вот дома-то попариться — душу отвести... Или детей своих отшоркать!.. И тело-то в нашей бане совсем другое — после первого же пару будто годы из кожи уходят, и даже кости будто моложе делаются... Эх!

Серафима плавала с распущенными волосами; выныривая, убирала их с лица; надышавшись, снова ныряла. Пришел бы, дурак, сюда со мной, наигрались бы, натешились, не то что в твоём городе.

Она лежала в воде у берега, вылезла, когда начала зябнуть, сполоснула одежды, бросила их на кусты сохнуть. «Баба, ты баба и есть, — подумала Серафима, опять вспомнив о муже; вздохнула, оглядев себя, — лишка отросло кое-где. Так уж лучше лишка, чем невдосталь»...

Хорошо ей было под солнцем. Сначала напекло плечи и меж лопатками, тогда она перекинула волосы за спину, и они, влажные, прохладные, даже заставили ее несколько раз вздрогнуть... Ничего, ничего, еще, может, все образуется.

От воды несло прохладой, и Серафима зябко ежилась под горячим солнцем, вспоминала, как она однажды очень мерзла...

Симка приехала в город рано утром. Всю ночь она крепко спала, сжав ладони коленями, лежа на верхней багажной полке, где было светло и душно.

Город оказался холодным. После вагона в туманном воздухе дышать приходилось сквозь стиснутые зубы, и даже зубы мерзли, когда губы приоткрывались.

Но Симка повеселела, вспомнив, что не напросилась в гости к городу, а он сам позвал ее.

Никак только она не могла сообразить, почему так морозко: вроде бы кругом дома большие, в них тепла много, а на улице — окоченеть можно. Перебирая в памяти наставления отца, Симка читала таблички с названиями улиц, номера домов и почти бежала, не сбиваясь с пути, будто уже не однажды побывала здесь.

Ей совсем не хотелось встречаться с теткой Аглаей, но мать очень просила остановиться у своей сестры: «Глаша-то в городе совсем захлахла, развесели ее, гостинцы вот передай, может, ей пищу переменить надо, да про нервы не забудь спросить».

Войдя в подъезд, Симка долго стояла, успокаивая сбитое морозом дыхание, ожидая, чтоб оттаяло лицо; вдруг она почувствовала, что трусит, и по лестнице подниматься стала медленно, раздумывая, не повернуть ли обратно. У дверей она еще постояла, долго и старательно поправляла платок, проверила почему-то, на все ли пуговицы застегнуто пальто.

Стук в тишине показался ей громом, и она отпрянула от двери. Неужели до сих пор спят?! Она сняла шубенки и постучала так, что задрожал на двери почтовый ящик; послышался рассерженный, сонный голос:

— Кто здесь?

— Да я это! — крикнула Симка уже в нетерпении. — Тетя Глаша, это я!

Щелкнул один замок, потом второй, еще что-то скрипнуло, звякнуло, опять щелкнуло, и дверь открылась. Тетка Аглая в длинном полосатом халате жестом пригласила войти, повозилась с замками и лишь после этого сказала:

— У нас есть звонок.

И Симка остро пожалела, что послушалась матери. Она сразу почувствовала себя одинокой здесь, ей неприятно и обидно было, что ее почему-то жалели, и жалость эта отдавала презрением. И все дни Симка мучилась, что не может набраться решимости и сбежать от тетки жить в гостинице с новыми знакомыми.

С утра до вечера молодые животноводы были заняты: слушали лекции, заседали, ходили на экскурсии, смотрели научные фильмы, встречались с передовиками.

А как-то пришли в театр. Сначала Симке там не понравилось: она стеснялась и своего цветастого платья, и новых туфель на неизменно высоких (от непривычки) каблуках, будто ходила по частоколу и иногда даже руками взмахивала, чтобы не упасть. И в то же время туфли заставляли ее держаться прямо, собранно, словно какая-то сила приподнимала и вела ее.

С удивлением и неприязнью разглядывала Симка нарядных и красивых женщин, краснела, увидев голые руки или вырез на груди.

Подошли знакомые девушки, надоумили купить мороженого, и, оказавшись среди своих, Симка повеселела.

Места у них были близко от сцены. И едва Симка оперлась о потертые бархатные ручки кресла, как в душе потеплело, по предплечьям пробежал морозец — так бывало в детстве, когда готовилась перед сном слушать бабушкину сказку.

Темно-малиновый, в светлых складках, даже с виду тяжелый занавес, нестройные загадочные звуки инструментов, говор зрительного зала и боль в пальцах от новых туфель — все было необыкновенно.

А когда погас свет, на Симку пахнуло прохладой, и она опять как будто слушала сказку. Ни разу в жизни не видела она такой красоты, такого движения красок, не подозревала даже, что бывает такое на свете...

Утром инструктор обкома комсомола, выдававший билеты, объяснил, что будут показывать балет, то есть такой вид искусства, в котором не говорят, не поют, а только танцуют.

Сначала вроде бы все это нравилось, но танец сменялся танцем, артисты странно размахивали руками, бегали из угла в угол, неестественно таращили глаза, и Симка мучительно ждала, чтобы кто-нибудь на сцене хоть вскрикнул бы, что ли...

И стыдно было, будто голые все, видно все... Зачем так?

Сказочность, очарование исчезли.

Симка не заметила, когда что-то с ней произошло, и она, вытянувшись вперед и прижав руки к груди, слушала оркестр, вернее, не слушала, а чувствовала то, что он хотел рассказать ей, и это находилось в удивительном соответствии с тем, что происходило на сцене.

Симка поняла незамысловатый сюжет балета, поверила в него, убедилась, что не нужен здесь человеческий голос; театр завладел ею, как он умеет завладевать неискушенными, доверчивыми, наивными сердцами.

И когда занавес медленно двинулся к середине сцены, Симка устало откинулась на спинку кресла и лишь тут заметила, что до этого все время мысленно танцевала...

Она сбежала от знакомых и, спускаясь по лестнице, обнаружила, как легко и даже привычно идет на высоких каблуках. Глядя в темное окно, она дышала громко, словно после взволнованного разговора, боясь, что кто-то может вспугнуть. Ей казалось, что за окном та самая ночь, когда Симка одна шла по полю и падала в снег. И не верилось, что сейчас, когда она здесь, кто-то работает...

Домой Симка шла неторопливо, чтобы сохранить в душе то, что она пережила в театре, а ближе к дому — почти побежала, чтоб не исчезла решимость сообщить тетке, что будет жить в гостинице.

— Понравилось? — небрежно спросила Аглая Алексеевна.

— Очень, — неохотно, даже с усилием ответила Симка, вдруг внезапно вспомнив то мгновение, когда в театре ей подумалось, что сейчас она может поверить во что угодно, хоть в черта; так бывало, когда ее, маленькую, бабушка приводила в церковь, — было тоже страшно и сладко, холодно и жарко; кругом тесно друг к другу дышали люди, а все ее существо переполнялось неведомым...

— Словом, обслуживают вас неплохо, — сказала тетка. — Теперь ты представляешь, почему люди не хотят менять город на деревню?

— А зачем менять? — удивилась Симка. — Кому что. Мне вот домой охота, в деревню. Вам здесь лучше пришлось...

— Я не собираюсь тебя уговаривать, — тетка усмехнулась толсто и ярко накрашенными губами. — Я как раз согласна с тобой, что каждый волен, конечно, выбирать, где ему лучше жить и работать. Но ты моя родственница, ты мне симпатична, и я обеспокоена твоим будущим.

— А чего?

— Ты закончила всего восемь классов...

— Ходить далеко! — резко оборвала Симка. — На будущий год, может, в техникум пойду. А утром в гостиницу переберусь.

Утром тетка даже поплакала, долго отказывалась отпустить Симку, не открывала дверей. Симка молчала, потела, закутанная в теплый платок, но выдержала характер до конца: как она потом рассказывала, «отпотела свое и смылась»...

Серафима натянула волглые еще одежды, долго искала тропинку, не нашла и побрела почти наугад. Думалось вяло, равнодушно. Сколько же времени проплутала она? Ноги стали зябнуть, а сапоги она оставила на покое, наказав прихватить.

...Вот не понимает он, как ей отца с матерью жалко. Сразу, чуть ли не в один день, постарели они оба, особенно отец. Семена-то они невзлюбили с первых, можно прямо сказать, взглядов, когда он демобилизовался и начал к Серафиме пристраиваться.

Да и то вспомнить: а кто в деревне к Семену по-душевному относится? Уважать — уважают, как всякого крепкого хозяина. Механик он — золотые руки. А вот друзей у него нету. Чужой он здесь, всем чужой. Потому что крути не крути, а у деревенского человека обида горькая в душе возникает, когда ему городом в нос тычут. А тут еще вроде бы свой, с хозяйством — всем бы такое, от колхозных благ заимел — и вот на тебе.

Тут ведь главное в душе, в самой ее глубине, а без души чего добьешься? И сколько их, городских, на селе прижилось? Почти никого...

И думала об этом Серафима лишь потому, чтоб о другом забыть. Что вот она вскорости мужу своему по этому вопросу выскажет? И шум уже на всю деревню, кое-кто озлился даже. А Семен — как будто все это не про него.

Вчера Степан Иванович заходил, по-доброму старался поговорить с зятем, весь свой характер будто с собой не взял, дома оставил, в глаза старался Семену смотреть, а у того в таких случаях гла-

за совсем глубоко уходят, ничего в них не видеть. Отец вздыхал, вздыхал и признался, а по всему видно было, что делать ему это он как не хотелось; выговорил так, будто каждое слово прямо в сердце застревало:

— Не знаю, руки опускаются... от земли бежать... детей отрывать...

— А я уж за избу задаток взял, — сообщил Семен, — и в городе задаток внес. Задерживать вы меня здесь не станете, я так считаю.

Жалко было смотреть на отца. Серафима впервые видела его униженным и унижающимся.

— Внучки, — бормотал он, — дочь... а к чему?

— Да как тебе не стыдно? — крикнула, подбежав к нему, Серафима. — Ты бы еще ему в ноги пал!

— И это не поможет, — уже нехорошим голосом сказал Семен, даже усмехнулся недобро. — В городе квартиру получу. С разновсякими удобствами. Со временем, конечно. И дров не надо. И вода по трубам двух сортов. Газ к тому же.

— И у нас все это будет, — жалобно и угодливо как-то произнес Степан Иванович. — Тоже со временем, конечно.

— Когда? — только тут Семен повысил голос. — И не дети мы малые, чтоб вы, папаша, в нашу жизнь вмешивались.

— Сима-то дочь мне... внучки мои... и ты нам не чужой человек. Отрываться-то зачем, а?

Семен, встретив злой взгляд жены, переборол себя и попытался довольно терпеливо повторить, что от него слышали много раз:

— Я ведь не от работы бегу. Нужна мне работа, я без работы не могу. Не мартышка я, а человек. Но мне нужна работа, которая мне подходит. Мне! А чего я тут у вас не видал?

И совсем обессиленный переживаниями, Степан Иванович ответил без надежды:

— Природа у нас...

Не рассмеялся Семен, и за это ему спасибо. Правда, губы в усмешку кривить начал. Серафима чуть ли не за руку увела отца со двора, привела Степана Ивановича в его избу и вот там на глазах у матери разревелась.

Манефа Алексеевна молчала, будто происходившее мало ее беспокоило, потом бросила в сторону дочери холодные слова:

— Сама-то не прогадай.

— А я-то что могу? Его не отговорить.

— Тогда и поедешь. Муж он тебе. А ты ему жена.

Степан Иванович уже просто удивленно проговорил:

— Голова даже толком не работает, не укладывается в ней, никак не укладывается...

— Уложится! — обрезала Манефа Алексеевна. — Теперь уж луч-

ше вид подать, что с нашего, как говорится, благословения все делается. Не могла раньше на мужика во всю силу воздействовать, теперь его слушайся.

До ночи Серафима и Семен ругались в сарае. Впервые муж замахнулся на нее — слова подходящего сразу подыскать не мог, вот и сработала рука, взлетела и замерла, но было поздно: испуг и омерзение Серафима успела пережить.

— Ты... это... сама напросилась, — пробормотал Семен. — Сама. Вон и мама уже, можно сказать, согласна. Все нормально будет.

— Всегда говорили, что замах хуже удара. А мать притворяется. Ей нисколько не легче отца обо мне да о детях переживать. Сердце кровью обливается, как подумаю, что мы с тобой вроде каких-то переселенцев. И отцу как с людьми говорить, если его родная дочь... — она всхлипнула.

— И мы с тобой пристаримся когда-то, — миролюбиво, хотя и с опаской сказал Семен, властно обнимая ее, — умел он это делать, метод у него такой был, — так неужто детей своих к себе привяжем?

Отвергая его ласки, Серафима говорила:

— Не поеду... нечего мне в твоём городе делать. Отца с матерью не брошу.

— Да я все организовал! — Семен начал сердиться. — За тридевять земель, что ли, уезжаем? — Он выкурил торопливо, но мелкими затяжками почти целую сигарету. — Соображать надо! Я все узнал! Про все перспективы нашей артели. Никакого газа в ближайшие десять лет твой папаша пусть не сулит. А у нас с тобой есть возможность, понимаешь, есть возможность устроить свою жизнь лучше. Кому какое дело до этого? — Семен знал, к каким местам прикоснуться надо, чтобы Серафима слушалась его, но она высвободилась рывком, тогда он как отрубил: — Не будь дурой!

— Не против я твоего города, — вся сжавшись, заставила себя разговаривать Серафима. — Но высохну я там. Понимаешь? Ты-то отвык от деревни, тебе-то меня не понять.

— Да привыкнешь постепенно!

— Да не хочу! — Серафима сама удивилась решительности своего голоса, до того удивилась, что вдруг поверила: добьется она своего, но проговорила мягче, как будто для пробы: — Уж если тебя так приперло, уезжай один.

Семен дернул плечами, опять закурил, ответил:

— Одному мне уезжать никакого смысла нету. На новом месте еще и анонимку получить можно. Все испортить. Дескать, от жены и от детей деру дал. А я бросать тебя и не собирался. Но учти... Последний раз я с тобой...

Он замолчал, а она тщетно искала взгляда его глубоко упрятанных глаз. Они смотрели прямо в ее глаза, и — одни далекие зрачки,

больше ничего, ни черта в них больше не увидишь, хоть твои собственные лопнут от напряжения.

— Больше я тебя уговаривать не буду, — вроде бы даже задумчиво произнес Семен, глядя в потолок. — Мне надоело, а тебе это во вред. Человек свою жизнь устраивать должен. И об детях думать. А не так... как вы.

— Не знаю, Семен, — тяжело выговорила Серафима, — вернее, не понимаю. Не хочу я устраиваться. Отец мой никогда не устраивался, ты знаешь. Мать всегда с ним рядом.

Семен цепко и больно взял ее за локоть.

— Дураками они прожили, это тебе понятно? Председателем твой отец был, а чего нажил? Что? Я не хочу вот так жить! Не хочу за твоей редькой нагибаться! Покупать ее хочу!

...Шла она лесной дорогой, до того в тени прохладно было, да ноги еще босые, что вскоре, отдохнув от жары, Серафима прибавила шагу. А совсем ей торопиться было ни к чему. Вот скрыться бы где-нибудь, переждать, а потом уж и домой, а дома муж и дети, отец с матерью в гости пришли, и никаких таких перемен не заметно и даже не предвидится.

К избе Серафима пробиралась огородами; завидев кого-нибудь, пряталась, чтобы избежать расспросов, советов да и упреков, обидных и жестоких; но как ни таилась, углядела ее соседка, бросилась к ней прямо по грядам, но Серафима с неожиданной для себя легкостью перемахнула через изгородь и тут только остановилась, чтобы передохнуть. Соседка звала ее, и Серафима села в высокую траву. Огород у них большой, обихоженный, с ягодами. Сам Семен немало здесь пота пролил и вот — бросает. Значит, все рассчитал? Значит, выгодней меня с детьми бросить, а редьку в городе на рынке покупать?

Она зашла в баню, разделась, окатила лавку холодной водой, легла на прохладные доски раскаленным телом, пригоршней плескала на себя воду, вздрагивала сначала после каждого плеска, потом почувствовала, что мерзнет, и села. Лавка широкая, потолок высокий, места много, впятером мыться можно...

Серафима долго отмывала ступни ног, особенно пятки, твердые и в трещинах, старалась оттянуть то, что так быстро приближалось, от чего стало больно сжиматься сердце. Она даже подняла рукой левую грудь и растерла под ней. Серафиме показалось, что она отчетливо слышит, как гулко колотится ее сердце. Понимала она, что окончательное, бесповоротное решение в ней еще не созрело, и это-то и мучило ее.

Она долго убирала за собой, неторопливо и тщательно вытира-

лась; уже одетая, сидела в предбаннике, чувствуя, как усталость возвращается в нее, и неохота ей бороться с этой усталостью, ничего неохота... сидеть бы вот так. Главное, девчонки-то, дочери-то, непонятные еще, рады уехать. Им-то как доказать, их-то как убедить? Прямо вот сейчас, — иначе потом никаких сил не хватит, а то и сердце лопнет, — сейчас должна она решить... А болеть уже что-то внутри начинает, когда она об этом думает. Придумать-то ничего нельзя! Ну, останется она здесь и не женой, не вдовой будет. А ехать с Семеном туда... не лежит у нее душа к городской жизни. Не подходят они друг другу. «Помру я там! — чуть не крикнула Серафима. — Не привыкнуть мне там!»

Растравила она себе душу до того, такая тоска навалилась на Серафиму, что требовалось завывать в голос, чтоб дочери и отец с матерью сбежали бы, чтоб устыдился муж... Она вдруг на некоторое время до того поверила в это, что встала и вышла из предбанника, но, еще открывая дверь, горько пожалела, что поторопилась, не была еще одна, спугнула надежду...

В огород заходили какие-то незнакомые люди — двое мужчин (почему-то оба бородатые, хотя и разных лет) и с ними длинная, плоская, в резиновых сапогах, с большим, будто испитым лицом женщина. Увидев Серафиму, она удивленно уставилась на нее цепким взглядом совиных, неподвижных глаз, спросила подошедшего к ней Семена:

— Жена, что ли?

— Она, она, — торопливо и как бы одновременно глядя на Серафиму и эту женщину: на жену почти с неприязнью, на женщину почти подобострастно, — ответил он. — Сколько можно смотреть? Все сосчитано. Передумывать все равно поздно, — сейчас Семен смотрел только на жену и уже вроде бы заискивающе. — Задаток взят...

— Лишний раз посмотреть товар никогда не поздно, — сказала женщина, и Серафиме показалось, что у нее даже и губы при разговоре не шевелятся. — Деньги плотим. Немалые. В порядке все содержится. Хозяйство ладное.

— Чего тогда второй раз приехали? — стоя боком к ней, продолжая смотреть за женой, недовольно спросил Семен. — Тогда обо всем ведь договорились. Задаток опять же...

— Засомневались мы, — сказал тот, что постарше, задумчиво почесывая прямую, лопатой бороду. — Сели тут на днях все это обсуждать и... — он виновато развел руками, а тот, что помладше, уточнил:

— Подвоха какого-нибудь бы не было.

И все трое пришедших вслед за взглядом Семена уставились на Серафиму вопрошающе и уже с опаской, а муж — вроде бы предостерегая. А ей все они вместе с Семеном показались как бы случай-

ными здесь, зашли вот и о чем-то, что ее не касается, интересуются.

— В избу, в избу пошли, — заторопил Семен. — Перекусить с дороги, да и если сомнения есть...

Мужики бородатые, те сразу к избе и направились, а женщина не двинулась, проговорила, почти не шевеля бескровными губами:

— Будем на днях переезжать или другое место найдем.

— Это вы с мужем, — еле произнесла Серафима. — Я уезжать не собираюсь. У меня отец с матерью здесь. Нельзя их бросать. Внушек от них увозить нельзя. И все мне здесь жалко! — вдруг призналась она, пожалела об этом, помолчала, но все-таки добавила: — Вот каждую травинку здесь жалко.

— За каждую травку и уплотим, — опять же не шевельнув бескровными губами, сказала женщина и пошла к избе.

Оттуда доносился степенный говор покупателей и дергающийся голос Семена. Серафима знала, о чем спор: муж просит подождать до осени. А эти — покупатели — ждать не хотят и не будут. Пусть Семен выкручивается.

А в ней — удивительно легко, как что-то само собой разумеющееся, ничем не опровержимое, естественное до того, что она побежала в избу накрывать на стол, — росло и росло ставшее наконец ясным решение: никуда она не поедет. В ней не было ни протеста, ни злости, она просто бежала сказать, что не поедет отсюда, сказать это так же приветливо, как, например, предложить гостям-покупателям закусить с дороги...

1969 г.

МАМИНО СЛОВО

Ж

ачать, пожалуй, придется с того, что я не поздравил маму с днем рождения — и как потом оказалось — последним ее днем рождения.

Верно, это — самый горький рассказ из всех, какие я написал и еще напишу, но и самый необходимый, по крайней мере, для меня.

В который уж раз заново переживая все, я мучительно ищу и в конце концов нахожу настоящие причины и неумолимый, ясный смысл многих, может быть, самых главных событий моей жизни.

Занятие это подобно оперированию без наркоза, но зато в итоге всегда приносит исцеление. Ведь если даже с большим опозданием поймешь, что непоправимо ошибался, острое сознание вины сменится уверенностью, что таких ошибок у тебя теперь не будет.

И надо обязательно много страдать, чтобы кому-то, хотя бы одному человеку, помочь преодолеть страдания или миновать их.

Тем более, надс много верить, чтобы кому-то передать хотя бы часть этой веры.

Рука плохо слушается. Она пытается бежать по бумаге в ритме моего бухающего сердца. И буквы из-за этого получаются большими, словно я пишу эскиз плаката. И еще мне кажется, что будто пишу не я, а кто-то другой и взрослее меня, и откровеннее...

Да и весь рассказ непривычен. Я долго прятался от него, избретал всяческие причины, чтобы он не появился на свет; предчувствовал я ту высокую цену, которой расплачусь за необходимость поведать о своей беде.

Но понял: надо разорвать грудную клетку, показать другим, какое неизбывное горе в твоём сердце — для того, чтобы хоть кого-то спасти от этой операции.

Так вот, я не поздравил маму с днем рождения. Когда я уже вернулся из Москвы, спросил о мамином здоровье, просмотрел скопившуюся за полмесяца почту — я все еще не поздравил, все еще забывал...

И тут мне напомнили и сказали, что этого простить нельзя.

Конечно, почти до утра я не спал. Лежал и думал: как же так получилось?

И — непростительно...

Понятно, с какими чувствами я шел назавтра к маме. В голове вертелись и стукались друг о друга десятки самых нелепых оправданий, самых убедительных неправд и примитивных лжей.

Особенно мне мешала коробка московских конфет, которая, конечно, была ни к чему.

Ведь мама лежала на исследовании в онкологическом диспансере. И в эти самые дни решалась ее судьба: рак или нет?

А я...

Ведь я действительно просто забыл о ее дне рождения! И это мне тогда казалось таким несусветным, каким сейчас кажется предельно понятным.

Мама, когда я протянул ей коробку конфет и начал что-то бормотать о своей забывчивости или что-то врать со стыда, остановила меня жестом: дескать, пустяк, сынок.

А около шеи, возле плеча, приклеен кусочек марли — отсюда и брали ткань на исследование, на смертный приговор.

Но мы тогда ничего не знали. Мы узнали другое: выписывают!

Даже предчувствия беды не было. Даже в голову не приходило, что небо будет, что солнце будет, что мир будет, а мамы — не станет!

Видимо, я решил напомнить своим рассказом, что матери смертны? Ведь многие забывают об этом. Все собираются сделать их счастливыми, да все не успевают...

И я до последнего момента не верил, что моя мама может умереть, как потом долго не верил, что ее нет. И ничто не могло меня долго разубедить, даже то, что я сам слышал ее последний вздох, даже то, что сам еще в утро похорон забил крышку гроба, чтобы никто не видел маму страшно изменившейся, даже то, что сам видел и слышал, как об эту крышку стучали комья мерзлой глины...

Помню радостную маму, которой сказали, что у нее катар верхних дыхательных путей или что-то вроде этого.

А нам сказали: рак левого легкого.

И еще сказали: будьте актерами, играйте роли людей, у которых дорогой человек страдает не раком левого легкого, а катаром верхних дыхательных путей или чем-то вроде этого.

Я привез маму к себе на новую квартиру. И суждено было этой квартире стать больницей для мамы, а мне и близким — сиделками.

И очень помню: за двадцать девять дней до смерти, в мой день рождения, мама как будто бы и не болела...

Потом стало хуже и хуже...

Окружат меня на кухне мамыны старые подруги, спрашивают:

— Что с ней?

А я вру.

Отец спрашивает:

— Так что же с ней?

А я — вру.

Мы держались тем, что не верили в смерть. Пусть было худо, жутко, неумогу — не верили. Иначе бы не выдержали.

Днем мама еще понемногу спит, а ночами — нет. И надо всю ночь разговаривать с ней. А ночь одна за другой, а ночь одна другой длиннее, а дышит-то мама с трудом, она умирает, — и о чем говорить?

Вот тут впервые в жизни мне пригодилась моя профессия: уж сколько я сочинил в эти ночи!

И не только я, все, кто был рядом, ни одной ноткой голоса не выдали страшной тайны.

А внутри все то обрывалось, то перевортывалось, то застывало.

— Летом в деревню поедem, — говорит мне мама, — там я, конечно, поправлюсь.

«Да какая деревня?!» — хотелось закричать.

— Давай подышим, — говорит мама, и я подаю кислородную подушку.

Сигарету не удавалось выкурить целиком. Только затянусь несколько раз и — бегом из кухни: удушья наступали внезапно.

И как-то ночью я вспомнил тот ноябрьский день, когда забыл поздравить маму с пятьдесят восьмой годовщиной ее жизни.

Удивительно: в Москве лил дождь. Я мог бы бесконечно описывать этот день: до того я его запомнил.

Я бродил по улице Горького, не заходя в магазины (денег у меня не было), и не понимал, что мне мешает вернуться в гостиницу, где в номере шумят молодые поэты; думал о том, что вечером позвоню сестре, спрошу о маме...

И вдруг понял: пока нельзя уходить из-под дождя. Дело в том, что рождался рассказ, тот самый, который давным-давно жил во мне, неясный, далекий, но — жил. И вот сейчас, в совершенно неподходящей обстановке, он начал рождаться. Да так стремительно, что я ускорил шаги. Будь у меня карандаш и бумага, я бы тут же, под дождем, написал этот рассказ.

В голове складывались фраза за фразой — как плата за долгие месяцы, когда я изводил себя и домашних нелепым поведением, сам не зная, что меня-то изводит рассказ.

А я давно не писал рассказов, был уверен, что больше мне и не написать...

А тут...

Обо всем этом я повествую не с целью оправдаться, теперь это никому и не надо. Я о другом.

Рассказ-то был о смерти, о том, как у одного хорошего человека умер самый близкий человек... Вот оно как.

И не написал я рассказа, который родился под ноябрьским дождем на улице Горького в Москве, а пишу вот этот...

Мама, конечно, ничего не знала о том, что произошло со мной в ее последний день рождения, но, как всегда, сказала: не волнуйся за меня, думай о себе...

А как много сил мы тратим, требуя к себе внимания, скрупулезно подсчитывая, где и сколько мы его недополучили! И даже любовь бывает такой, что только успевай ей доказывать, что любишь. А то и друг идет, и уже знаешь: сейчас дружбы требовать будет... Душевного бескорыстия не хватает нам на каждом шагу. Мало еще отдаем, не прося взамен ничего.

Пока это умеют делать только матери.

...Уколы, микстуры, таблетки, порошки, пилюли — для того, чтобы продлить мучения. А помогали лишь кислородные подушки.

Мама таяла и таяла.

Седая, старенькая, лежала она передо мной, руки уже невесомые, сухие, ласковые... И как хотела жить! И я думал: в сырой подвал, на хлеб и воду — если бы выжила! И на черта мне сдалась эта квартира, эти удобства...

Мамина жизнь заново проходила передо мной в ее подругах и сослуживцах по разным работам. Явится человек, вспоминаешь — а, это во время войны они с мамой работали. А этот из «Союзпечати»... этот из книготорга... из библиотектора...

А мама принесенные ей яблоки отдает внукам, компоты там всякие ей больше не нужны.

Ничего ей не нужно было, кроме обыкновенного воздуха.

Таяла и таяла...

Обидно: ко времени, когда мы начинаем замечать женскую красоту, мамы наши успевают постареть. Помню, я с удивлением обнаружил, что моя мама была красивая. Но узнал я об этом по фотографиям давнишней давности.

К чему все это вспоминаю я — понятно. Но для чего я об этом пишу? Для кого? Может, для сына? Для всех сыновей? Может, хочу высказать обыкновенную, всем известную истину — цените, любите мам?

Главное — берегите...

Я не берег.

И хорошее для нее делал, и любил, но — не берег.

То времени не находил, чтобы забежать хотя бы ненадолго. А то и позвонить будто бы было некогда. (Не хотел бы я, чтобы мой сын относился ко мне, как я иногда к маме.)

А ведь каждый день я мог прибежать к маме и услышать то, чего больше никогда не услышу:

— Здравствуй, сын...

И сам я больше ни разу в жизни не скажу:

— Здравствуй, мам...

Кто-то и не поверит, но рядом с умирающей мамой, когда она ненадолго засыпала днем или ночью, я писал. Мне так хотелось закончить новую книгу при ней!

И я успел.

И даже тут мама осталась мамой. Читать она уже не могла, а мою рукопись осилила. Читала она понемногу, несколько дней; перевернула последнюю страницу и сказала только:

— Прочитала.

Заставила себя прочитать, сколь трудно ни было. Да и не читала, а просто водила глазами по строчкам...

Тогда я подумал впервые, что мою нелегкую, не больно уж и удавшуюся профессию подарила мне мама. Она ведь всю жизнь, как теперь говорят, работала с книгой. Иначе откуда бы могло взяться, будь оно неладно, непреодолимое желание писать? Книги я в детстве любил до того, что воровал их в мамином магазине. В жизни меня пороли трижды и два раза из них — за воровство книг. Уму непостижимо. Дома-то книг всегда было много.

...Мучается мама, так мучается, что и я временами начинаю хватать воздух, словно и мне его недостает.

И начал приползать страх ко мне. Всегда неожиданный, короткий и холодный.

Укол страха...

А вдруг как сорвется с ее языка слово какое-нибудь, горькое для меня слово?

Или упрек?

Как же я жить останусь, если услышу от нее сейчас то, в чем я действительно виноват? Ведь поводов для этого достаточно...

Вот тут-то меня и колот страх.

Любила она меня по-всякому. И светлой была ее любовь, и жертвенной, а иногда и горькой: все знают, что материнские чувства и прозорливы, и слепы...

...А болезнь пошла в последнее наступление.

Лежать мама могла только на правом боку.

Задышалась все чаще и чаще.

Помутился рассудок.

Это жутко, когда ничем не можешь помочь.

Не представлял я раньше, что это так. Привык ведь к ней, к живой.

Держимся мы с ней за руки, и — ни единой жалобы, ни одного упрека... Нас слишком часто и много ругают, слишком часто перечисляют наши подлинные и мнимые ошибки, не прощают... Вот тут-то и спасает нас мамино слово.

Я не услышал от нее последнего слова, да его и не надо. Я его знаю. Каким бы оно ни было, оно — мамино. Значит, доброе.

И когда мне бывает трудно, совсем трудно, когда никто не хочет или не может мне помочь, я вспоминаю о том, что я потерял; и мне хочется стать лучше, чем я есть. И ко мне возвращаются силы.

И во мне все сильнее растет любовь к маме, та любовь, которую я не успел отдать ей...

1964 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Заваруха. Рассказ	5
Елена — рыжая ведьма — графиня — Витькина сестра. Рассказ	10
Любовная драма у нас в бараке на Промплощадке во время войны. Повесть	22
Самое длинное мгновение. Рассказ	64
Никифоров. Рассказ	67
Случайный спутник. Рассказ	69
Возьми ее с собой... Рассказ	72
Мама Надя, Ленька и я. Повесть в рассказах	75
Всегда втроем. Рассказ	95
Жора Суслов и его красивые женщины. Рассказ	100
Старик и его самая большая любовь. Рассказ	116
Натали Петровна. Повесть	126
Душа не на своем месте. Рассказ	199
Симка — Сима — Серафима. Рассказ	210
Мамино слово. Рассказ	233

Лев Иванович ДАВЫДЫЧЕВ

Повести и рассказы

Редактор И. Лепин
Младший редактор Н. Семенова
Художник Е. Нестеров
Художественный редактор Н. Горбунов
Технический редактор А. Карасев
Корректор Л. Рубцова

ИБМ №384

Сдано в набор 21.XII.1977 г. Подписано в печать 13.III.1978 г. Формат бумаги тип. № 2 84×108¹/₃₂. Печ. л. 7,5 (усл.-прив. л. 12,6); бум. л. 3,75, уч.-изд. л. 15,668. Темплан 1978 г. Изд. № 21. Тираж 30 000 экз. Цена 1 р. 20 к. Пермское книжное издательство. 614000, г. Пермь, ул. К. Маркса, 30. Книжная типография № 2 управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 614001, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 57. Зак. 1552. Первый завод 5000 экз.

Д13 Давыдычев Л. И. Повести и рассказы. Пермь, Кн. изд-во, 1978.

240 с.

В сборник вошли ранее издававшиеся лучшие лирические повести и рассказы.

Д 70302—32
М152(03)—78 21—78

Р2